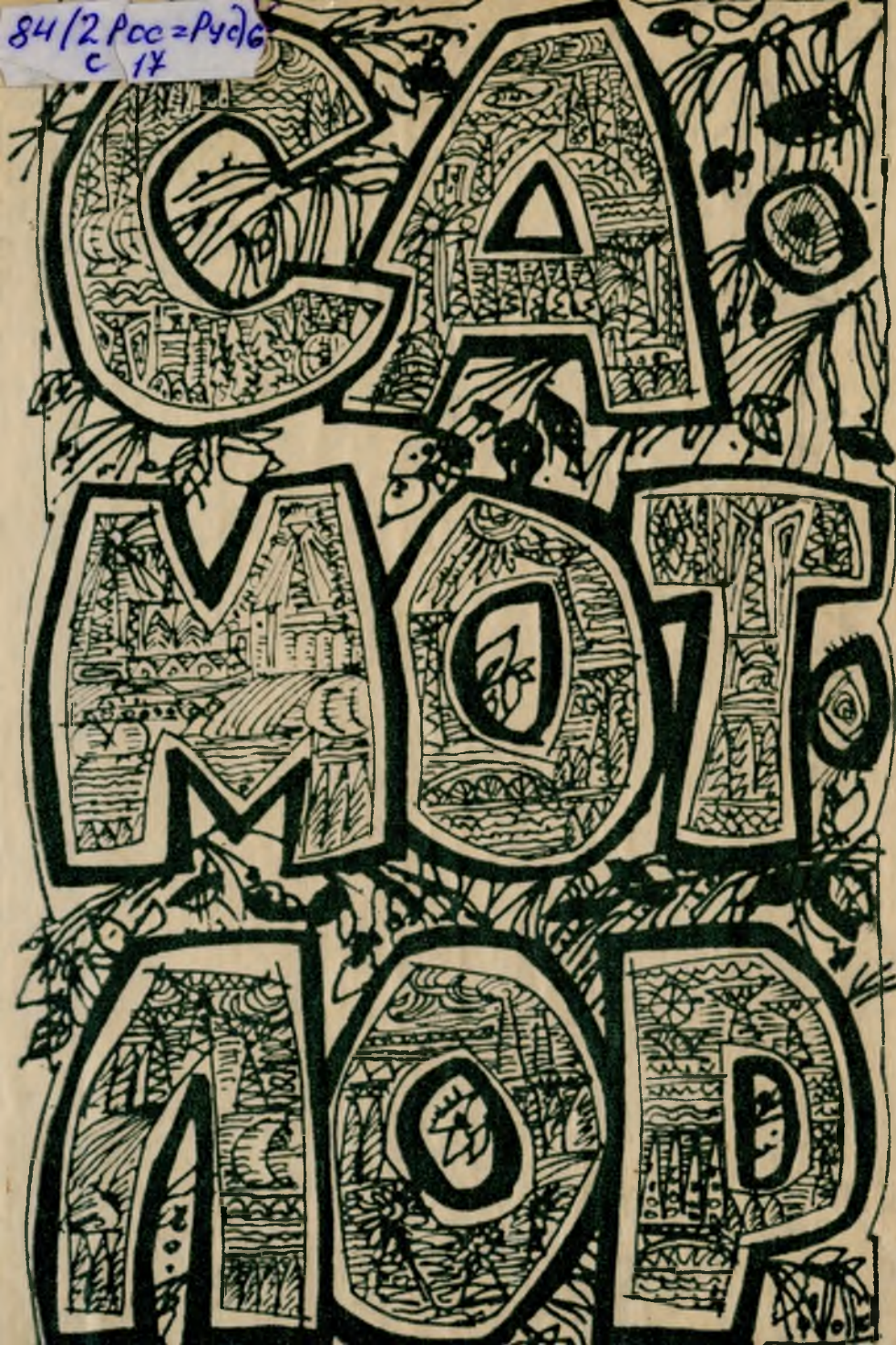


84/2 Pcc = P4d/6  
c 17



**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА**

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.

17-12, 640  
30.12.51





198  
707

СПИ  
ХИ·РО  
МАНЬ·РАС  
СКАЗЫ·ПОВЕ  
СПИ·ПОЭМЫ  
ОЧЕРКИ  
СПИ·ПЬ  
ЮМОР  
СКИ

- 5152 -  
✓  
ЖЕ

# САМОТЛОП

1975

914

0

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. В. Денисов (составитель), В. Н. Клепиков, А. С. Кукарский,  
К. Я. Лагунов (ответственный редактор), Л. В. Лапцуй, Г. К. Сазонов.



Издатель: Тюменская писательская организация, 1975.

РОМАН РУГИН

## ОГНЕДЫШАЩИЙ КРАЙ

Не лгали, значит,  
Прадеды и деды,  
Земля как будто  
Выбрала момент  
И рывкнула,  
Как тысячи медведей,  
Плеснула в небо  
Пламенем легенд!

И даже там,  
Где северных сияний  
Вовек не загоралось  
В знойной мгле,  
Услышали земли моей дыханье,  
Узнали вдруг  
О пуровской земле.

Наверно,  
Небо с облачным навесом  
Поднял над Пуром  
Газовый фонтан,  
И горизонт,  
Который был за лесом,  
Сместился за далекий океан.

И прошивают небо самолеты,  
Как будто нельмы —  
Облачную сеть.  
У них теперь прибавилось работы,  
И некогда им даже посидеть!

А вертолеты,  
Хищными орлами  
Тяжелый груз,  
Как жертву, закогтив,  
Пониже —  
Над столетними лесами  
В небесный устремляются разлив.

И в мелком Пуре  
Глубже стали воды,  
И по нему,  
Куда не кинешь взгляд,  
Не только баржи,  
Даже теплоходы,  
Как хонпат юх\*),  
Легко теперь скользят.

А где ютились домики факторий,  
Поселки современные встают.  
И на зверином пуровском  
Просторе  
Машины  
По-звериному ревут.

Там, где в лесах легли  
Оленьи тропы,  
И там, где даже зверю не пройти,  
Готовы изыскатели  
Сквозь топи  
Железную дорогу провести.

В тайге и в тундре—  
Всюду вышки встали,  
Пугая набегающих зверей.  
Уходят вышки  
В северные дали,  
Как сказочный отряд  
Богатырей.

О край мой!  
Огнедышащий!—  
То слово

---

\*) Хонпат юх—ледяные палки, применяемые в  
игре, при броске—легко скользят.



Пугало наших предков,  
А для нас  
Наполнилось то слово  
Силой новой  
И превратилось  
В нефть оно  
И в газ!

О Родина!  
Ты братьев к нам прислала!  
Они ключи волшебные нашли,  
И за грядой Полярного Урала  
Открыли нам  
Сокровища земли!

О край мой обновленный!  
Буровые  
Не зря гудели и в мороз,  
И в зной!  
Раскрыв стране  
Земные кладовые,  
Теснее край мой  
Слился со страной!

И вижу я,  
Как Обью полноводной  
Гудит наш газ  
В артериях страны.  
Потоком дружбы  
Льется он сегодня  
Из нашей заполярной стороны.

И мы должны  
Людей припомнить смелых,  
Кто по полгода  
Жил в полярной мгле,  
Кто много лет  
Ходил в метелях белых,  
Тепло души  
Отдав моей земле!

О, мой народ!  
Ты был песчинкой спрятан,  
Но гром «Авроры»  
Грохнул в Октябре,  
И ты, объединившись  
С русским братом,  
Подобен стал  
Подоблачной горе!

О, край родной!  
Ты—островок,  
Но в братстве—  
Ты материк,  
Которому цвести!  
Своим ты  
Огнедышащим богатством,  
Как будто солнцем,  
Мир весь освети!

Перевел с хантыйского **Л. СОРОКИН.**

АННА НЕРКАГИ.

## АНИКО ИЗ РОДА НОГО

(Главы из романа)

\* \* \*

Волк чутко вслушивался в угрозы бурана, но вой ветра и гул, шорох снега мало трогали его. Он не боялся и не мерз. В снежной берлоге, приготовленной с вечера, спокойно. Вот в животе пусто. Глаза ушли в проруби глазниц, как говорят ненцы, на расстояние крика. Волк затих, положил морду на худые лапы, подобрался. Время от времени тело его вздрагивало, и он крепко жмурил глаза. Видно, ему хотелось уснуть, и все попытки были упорны, будто ото сна зависело очень важное. Впрочем, выспаться ему было необходимо. Он знал, что волки, сбившись в стаю, сейчас делают облавы на стада, но те усиленно охраняются людьми в непогоду. И собаки... и ружья... все, что душе угодно.

Старый волк никак не мог понять, почему его сородичи, которым не откажешь ни в разуме, ни в холодной храбрости, могут так глупить и рисковать.

— Это же верная смерть?!

А он вот поспит, немного погода поднимется и на зимнике без особого труда разделет не одного обессиленного оленя, насытит теми оленями, которых люди оставляют до утра, до конца бурана, потому что животные не в состоянии дойти до стойбища. Рядом с полумертвым оленем сооружают пугало в образе человеческом, но волк только удивляется наивности людей, нелепости их повадок.

И вообще у него особые отношения с людьми. Какие и не понять всякому.

Он не раз пытался понять, по какому такому закону зверь на двух лапах убивает зверя на четырех. А тот не может даже зубы

ему показать, не успевает и гибнет. Ведь всякому дана одна жизнь, и каждый хочет прожить ее до последней капельки. А тут вдруг приходит человек и горло тебе перережет или еще, что опасней, из-за сугроба или дерева ударит из ружья. Смерть. Грызня понятна у зверей, тут свой мир и законы тоже свои, и счеты. Захотел убить, так выйди открыто, не подличай, как это вытворяет рысь. Ну ладно, у нее душа грязенькая. Но ведь остальные-то живут на земле, как все: и на четырех лапах, и на двух, и без лап, и свыше получили позволение скалить друг на друга зубы.

Внезапный звук, похожий на хохот человека, прервал мысли волка. Он насторожился. Морда уродливо скосилась, и обнажилось множество рубцов и шрамов, вплоть до шеи. Хохот, часто заглушаемый стоном вьюги, повторился:

— Зверь на двух лапах!

Ненависть! И не просто, а злобу, самую горячую, обжигающую злобу — вот что почувствовал волк. Глухо зарывав и вскочив, он туго собрал тело. Бока, худые и дряблые, как проезжая дорога, подтянулись. С тепла на холод — не очень приятно, и волк, содрогнувшись, чуть не упал. Три лапы, не четыре. Но пир будет!

Что-то вроде усмешки появилось на разодранных губах, но стоял он недолго, не спеша заковылял на запах. Человек хохотал редко. Буран, видно, делал свое. Они с волком давнишние друзья — буран с дороги собьет, а тот подберет. Лапу волк потерял уже будучи немолодым. Тогда у него было логово и волчица, и широколобые детеныши — все как полагается. В один из своих озабоченных, счастливых дней он, возвращаясь и спеша увидеть голодных малюток, не заметил капкана, что люди ставят обычно на глупых и тщеславных песцов. Капкан-то небольшой. Можно было утащить его за собой, но тот, проклятый, был так крепко насторожен, что пришлось возиться с ним всю ночь, а под утро остро и опасно запахло человеком. Смерть!

Умирать счастливому трудно, и он перегрыз лапу.

Вот о чем сейчас думал волк, уже в который раз с болью принимая свое уродство.

— Люди — сильнее! — об этом думалось каждый раз при встрече с ними. Бежать трудно. Намело сугробы, к тому же совсем постарчески ноют суставы.

\* \* \*

Стойбище затаилось в тревожном молчании. Ночь постепенно уходит, а вот буран нет. Здесь, в тихом ущелье, похожем на глубокую морщину, он не так страшен, а ветер со свистом пролетает выше, оставляя за собой белесый снежный хвост.

На первый взгляд, стойбище кажется сохранившимся от перво-

бытности, таким далеким, будто нигде не поднимаются города, и вот-вот из-за чумов появится мамонт в бурой и дикой, как тундра, шерсти.

Чумов всего пять. А может их быть и десять, и даже больше. На зиму охотники стараются разойтись по тундре, так выгодней. Большое стадо зимой охранять трудно, да и с пастбищем легче. И потом — что за охота таким скопом? Зверь-то ведь по тундре гуляет, а не под носом вертится. Вот и стараются люди уйти как можно дальше друг от друга. Забиваются, как мыши-лемминги, в самые укромные уголки тундры, в распадки гор, будто соперничая — кто подальше да получше спрячется. Здесь же зима собрала пять чумов. Люди привыкли жить годами одни, и их не особенно тянет друг к дружке. Только уж если сильно голодуха по живому человеку заточит. Каждый чум стоит в окружении туго упакованных нартов с домашней утварью. Есть и порожня, только сейчас они полны снега.

Два чума стоят близко друг к другу, на расстоянии нескольких шагов, а куча хвороста кажется общей. Здесь жгут только сухой хворост, а когда он кончается, то в очаге дымит карликовая березка, выедает дым глаза.

Три чума подальше. Нартов поменьше, и шкуры, укрывающие их, победней, особенно у того, что с краю.

Совсем недалеко от стойбища, на заснеженном урочище, рассыпалось стадо. Еще вчера встревоженный пастух, как только приметил, что лоб хребта Саурей хмурится, пригнал оленей в глубину ущелья, поближе к людям. Мало ли что может случиться? И он не ошибся.

\* \* \*

В столах бурана, шорохе снега, в жестких толчках ветра прошла ночь, и наплывало утро, и стало посветлей, но тяжелое небо низко нависало, и все на земле оставалось сумрачным и неприветливым. В такую непогоду, видно, никому не хотелось шевелиться, и хотя разгорелось бледное утро, дымки из чумов не поднимались. Пробежал хвостатый ветер, льдисто прошуршал по чуму, качнул его и будто разбудил, и оттуда вышел человек, а вскоре и второй, из другого чума. Вслед за ними, потягиваясь и зевая, вышли собаки. Тот, кто вышел первым, мужчина лет под 50, а может и с лишком. Скорее всего с лишком. Росту небольшого, к тому же видно, как тяжелая болезнь погнула когда-то гордую осанку, оставила ему следы на бледном лице, ископытило тело, отчего он выглядел гораздо старше своих лет. Глаза серые, что редко встречается у ненца. Они устали и тревожны, а синеватые отеки под ними — то бессонная непокойная ночь.

— Сильный был буранище,— подумал Себеруй с беспокойством.

И тот, что вышел из второго чума, тоже не спал — попробуй оставь в такую погоду стадо одно, без человека. Без оленей нет жизни в тундре. Вот они с Алешкой, с соседским парнем, и кружили всю ночь вокруг стада. Пасса выгладит намного моложе Себеруя, хотя они одного возраста и росту он тоже небольшого, но в плечах шире, и ходит твердо, четко рассчитывая все движения, тогда как Себеруй часто опирается на палочку, будто подгоняя себя хореом, и поэтому Пасса над ним подшучивает, но так, чтобы не обидеть друга.

Пасса большой авторитет в стойбище, ко всем внимателен и добр. Қарие небольшие глаза глядят ясно, хотя несколько строговато. Как охотник он мудр. И люди тянутся к нему, зная, что Пасса умеет вовремя и осторожно, без назойливости помочь, а главное — понять. Пришел к Пассе — считай, полгоря с души спало. Он ярый сторонник всего нового, и не только в своем стойбище, но и среди оленеводов других стад. Если кто-то не хочет ребенка в школу отдать, Пасса спешит к нему и принимается ругаться. Да, да, ругаться. А после покажет, что ученье свет, а неученье — тьма. Делает это он следующим образом: заставляет закрыть глаза и спрашивает: «Темно?» Получив ответ, продолжает — «Теперь открой. Светло? Вот! Бумагу знаешь, считай, с глазами ходишь, а нет — слепой». И пастухи его слушались. Смеялись над его объяснением, но ребятишек отдавали. И еще этот человек отличался умением верить. Во что? Да во все и в первую очередь всем, а после в удачу, в бога и во все другое, во что не всякий и осмелится верить.

Утро чем-то встревожило обоих — и того, и другого.

Себеруй медленно, будто сонно, бродил вокруг да около своего чума, наткнулся на ягушку (это малица, повернутая мехом вверх), совсем занесенную снегом, и только небольшой ее кусочек виднелся из сугроба.

— Не надела ведь вчера,— подумал он, и на сердце вдруг стало больно, но как-то по-особенному, не так, как ночью. Тогда была надежда, что жена, вчера уехавшая в поселок с маленькой дочкой за продуктами, вернется к утру. Утро-то пришло, а вот ни жены, ни дочки. Себеруй опустил на нарту-легковушку. Думать было страшно, а не думать — не получалось. — Может, с дороги сбилась и сидит теперь где-нибудь в сурробе, дожидается, пока не рассветет совсем. Или в поселке осталась? Ведь не девушка уже, знает, что буран сердца лишен.

Подошла огромная широкогрудая лайка.

— Не спится, Буро? — спросил Себеруй, лишь бы не молчать, о чем-нибудь да и говорить.

Буро будто понял что-то, умно посмотрел на хозяина, потом на небо: — глянь, мол, что делается.

Себеруй продолжал вопрос:

— Как твой ум ходит, а? Где хозяйка?

Буро отвернулся, словно видом своим говоря: «Откуда я знаю, прицепился тоже». Хозяин иногда раздражал его: «Пристанет и ведет разговоры. Все понимаешь, а ответить не можешь — не лаять же. Ударит еще».

Но Буро зря опасался, хозяин любил его и никогда не был груб с ним.

Подошел Пасса. Недолго, но внимательно смотрел на друга и опустился рядом.

— Кого ты запряг передовым, Себеруй?

Себеруй не удивился, он не заметил, как тот подошел. Он уже привык, что Пасса умел вдруг взять и появиться.

— Тэмуйко. Олень умный, сам знаешь, и дорогу понимает, — хотел еще что-то добавить, но замолчал, вдруг поняв, что не всегда добрый олень спасает хозяина в черную пургу.

Пасса перестал спрашивать. Да и зачем? Нет женщины и все. Голый факт. Себеруй достал табакерку из мамонтовой кости, буро-желтого цвета, будто из корня листовницы. Сложил пальцы так, что большой подогнутый упирался в указательный и насыпал на ноготь щепотку табака. Пасса, оставаясь верным своей привычке делать всё немного погодя, тоже понюхал табаку. Нюхал он только в исключительных случаях, когда волновался или желал непременно сделать человеку приятное. Сейчас было и то и другое.

Больше не говорили. Мужчины в тундре особенно мало говорят.

Ветер стихал. Небо будто полегчало, а метель уже несмело и задумчиво ползла, запинаясь о сугробы и замерзшие одинокие кустики.

\* \* \*

Чай пили неторопливо, как всегда. То, что Некочи еще не вернулась, немногих тревожило. И ничего странного и недоброго не было — решила переждать буран, только и всего.

Но Себеруй знал нетерпеливый характер своей жены. Знал, что в ней живет привычка вечно торопиться домой, будто без нее чум развалится или все в нем остынет. Иную женщину домой и арканом не затанешь — все бы ей у соседки сидеть да болтать. А Некочи любила свой чум, каждую пустяковину в нем, и прибиралась каждое утро, как девушка, которая еще полностью не познала, что такое доля женщины. Тяжелая, с редкими радостями, однообразная. А Некочи умела обрадовать себя. Возьмет и засветится от какой-нибудь мелочи, и потом весь день маленькими доль-

ками раздает всем свою радость. Кому улыбнется, а то доброе слово скажет, и совсем невзначай, ласково и тепло или соседку позовет к себе чай попить, что-нибудь такое не всегдашнее придумает.

Вот и вчера. Могла выехать. Ну что ты? Буран, а ее нет. Еще и чум занесет.

\* \* \*

Напившись чая, занялись обычными делами. Себеруй, как ни было ему тяжело на душе, зажав в зубах свежую сосновую стружку, вытесывал новенький, очень изящный и легкий хорей.

Для дочки. Как-никак невеста растет.

А в школу Себеруй ее не отдаст, нет, не отдаст, обрусее, как та, старшая, и некому будет продолжить род. Нет ничего хуже и недостойнее, когда некому дальше корни в землю пустить. Заглохнешь, как звук, в одиночавшей от безлюдья долине.

Себеруй вспомнил о дочери. Да, у него есть еще одна дочь. Он, да и не только он, но и все в стойбище уже не помнят, сколько ей лет. Должно быть, лет так 19, а то и 20. Себерую не работается, ровно как и всем другим. Люди стали собираться кучками, о чем-то тихо говорят, поглядывают на Себеруя, видно, их тоже тревожит отсутствие Некочи. Солнце уже высоко поднялось, тускло пробиваясь в мутном небе.

\* \* \*

Алеша после ночного дежурства долго спал, и мать ходила на цыпочках, боясь, чтобы не скрипнули длинные чистые доски, заменяющие зимой пол в чуме. Разожгла огонь и повесила над ним чайник. Детей, а у нее их еще трое мальчишек, кроме Алеши, вы проводила из чума. А то сидят и стучат камнями—они заменяют им игрушки. Покупает им Алешка и зайцев, и собак, пистолеты... и всякую всячину. Ничего не признают—подавай им камни и все. И красивые ведь подберут, которые с белой полосочкой посерединке, а какие с мудреным шаманьим рисунком, а есть и совсем черные.

Мать собрала камни, аккуратно сложила в мешочек и спрятала. Пусть поищут, а то не дадут брату поспать.

— Устал сынок. И пришел-то весь мокрый. Снег все равно, что вода. А где же Некочи? Сама-то не замерзнет, а вот девчонка!

Сынишка, просунув внутрь чума только лишь голову, крикнул:

— Ма!

— Тише. Что?

— Пасса велел брата будить.

— Зачем?

— Не знаю. Пусть выйдет.



— Дурак! Уйди!— кончил он истошным криком и пропал очень быстро, видно, один из братьев дернул его за ногу.

— Не дадут поспать. Будто Алешка один,— заворчала мать, но вспомнив, что у Себеруя болит спина, Иван и Елесак поехали еще два дня назад в соседнее стойбище по какому-то неотложному делу, стала будить сына, но осторожно. Алешка просыпался с трудом, мучительно и долго, и сейчас спал бы не только день, а добрых три.

— Что, ма?

— Пасса зачем-то зовет.

— Некочи приехала?

— Нет.

Алешка встревоженно сел. Симпатичное лицо с густыми, как у покойного отца, бровями, стало сосредоточенным, чуть ли не злым. Мать подала сухую малицу и кисы. Алешка вышел, а она, жалея сына, принялась снова ворчать, и Алешка даже с улицы слышал ее недовольный голос.

Сразу подошел Пасса:

— Поспишь потом. Некочи не вернулась еще...

— Мать говорила.

— На моей нарте поезжай по дороге, по сторонам хорошо смотри. Собаку не забудь взять.

— В поселок заезжать?

— Обязательно. Если там ее нет, расспроси, когда ее видели и с кем. Когда она выехала и не была ли пьяной. О том, что едешь, никому не говори. А матери можешь сказать, что ночью олень отбил от стада и его надо искать.

Алешка кивнул.

— Чай-то попил?

— Нет, успею!

— Обязательно попей. Кто знает, сколько придется искать.

От последних слов обоим стало нехорошо, и они постарались скорей разойтись.

Напоследок Пасса напомнил ему о ружье.

\* \* \*

Себеруя уже не мог сидеть и ждать. Что-то случилось! На жену это не похоже.

Одевшись, попросил, чтоб пригнали оленей, степенно досадуя на Алешку, согласился с ним.

И вдруг...

— Смотрите!

Себеруя вздрогнул. Кричали дети, указывая на дорогу.

Кто-то ехал.

Женщины и дети высыпали из чумов. Собаки запоздало за-

лаяли, желая оправдаться перед людьми. Только Буро, насто-  
роженно подняв уши, еще колебался: «Стоит ли позориться?  
Вдруг то хозяйка?».

Себеруй пристально, до рези в глазах, всматривался в упряжку.  
На сердце начало холодеть.

— Нет, не она. У Тэмуйко не такой бег. Вон как ноги выбрасы-  
вает. Этот неопытный, да и рога... Человек со словом торопится. С  
каким только?

Ноги в коленках мелко задрожали, и Себеруй опустил на  
нарту, не спуская глаз с приближавшейся упряжки. Ехал Алешка.  
Теперь это отчетливо было видно.

Пасса всматривался в нарту за спиной Алешки и лицо его стало  
бледнеть. От наступившей тишины тянуло чем-то недобрым.

Алешка на всем бегу резко остановил упряжку. Олени тут же  
упали, безумно вращая глазами. Все бросились к нему. Теперь  
уже всем понятно, что приехал он не один. На нарте кто-то лежал,  
прикрытый шкурами. Алешка, бледный, растерянный, с расширен-  
ными глазами, молча прошел через толпу. Свернул, было, к Себе-  
рую, но, закусив дрожащие губы, направился к Пассе. Тот на него  
не смотрел.

— Нашел,— выдавил Алешка и пошел прочь. Но словно найдя  
в себе силы, вернулся к Себерую. — Отец... пусть сердце у тебя  
будет больше неба.

Себеруй не слышал его. Он стоял, неловко согнувшись и упря-  
мо смотрел на нарты, а ветер шевелил край шкуры и пытался  
сорвать ее, будто пытался показать, что лежит под нею. Потом  
нетвердым шагом он подошел к нарте и сделал то, что не мог или  
боялся сделать, ветер. Пасса сделал шал к нему, но тут же пере-  
думал, подошел к Алешке, который все еще был ошеломлен и ра-  
стерян.

Буро, до сих пор угрюмо следивший за всем, вдруг огромным  
прыжком оказался около хозяина, сбил с ног толстого мальчугана.  
Суетливо, тревожно забегал вокруг неподвижно стоявшего Себе-  
руя, который совершенно не замечал его. Поняв, что от того ни-  
чего не добиться, подбежал к нарте и, вдруг ощетинившись, заляз-  
гал зубами: Никто ничего не понял, но это было страшно и  
жутко. Рычит Буро и глаза его—замерзшая тундра.

Женщины торопливо попрятали малышей под полы ягушек.  
Буро продолжал рычать.

— Тя-тя-тя,—ласково позвал Пасса, но тот и ему показал зубы.  
Сел на задние лапы и завыл. Протяжно, со стоном. Собаки под-  
держали его. А потом уже вой смешался с плачем женщин и де-  
тей, сдержанным плачем мужчин. Всегда возникает страшная ти-  
шина, когда твое сердце переполняет боль. Чем измерить ее?

Себеруй продолжал стоять. Голова его была опущена.

Алеша и Пасса осторожно положили на шкуры покойницу. Девочка лежала в люльке, как и день назад. Только опухшая ручонка резко выделялась поверх одеяльца. Как лучик луны на уснувшем озере.

Тело Некочи трудно назвать телом. Это остатки ночного пиршества волка. Лишь голова в пятнах крови на губах и щеках осталась нетронутой.

Буро продолжал выть, и Себеруй, словно очнувшись, поднял голову.

— Буро. Или сюда... — прошептал он, а сам не мог оторвать глаз от шкур. Буро замолчал, лег у его ног и сделался тихим.

Пасса склонился над останками. Опытный глаз его увидел то, что было недоступно другим.

— Он! Трехногий!

Пасса знал след зубов этого волка. И в тундре ему часто резал дорогу трехногий, нервно запутанный след. Видно, и сейчас скрестились их думы.

\* \* \*

Кладбище рода Ного находится недалеко от священного места, которое во веки вечные почитается ненцами, и одним краем упирается в зимник.

Место то хмурое, потаенное, густо заросшее лесом в бородастых елях, спутанных мхах, где тонет след и эхо. Кладбище древнее. С незапамятных времен хоронит здесь своих соплеменников род Ного. Жертвенной кровью оленей и пламенем костров освящено то место. Богам, свирепым и мудрым, как земля, страстным ненасытным духам здесь приносит жертву ослабевший человек.

Некочи не стала исключением. Уходит она в подземное стойбище в хороший день. Утро ясное, и ветер не задиристый, не обжигает каленой стужей. На похороны приехало соседнее стойбище. Многие сидят у нарты невозмутимо-покойные, неторопливо нюхают табак, щепотку развеивают над костром, над угольями. Видно, ей на память, да и не обижалась чтобы, и там, перед богом слово сказала за оставшихся на земле. Тихо. Утомился ветер, и люди затаили дыхание. Умершую не поминают пока ни плохим, ни добрым словом. И не потому, что она недостойна ни тех, ни других — слишком неожиданно на стойбище свалилось горе. А в таких случаях слова плохо идут. Не нужны они, мелки и пусты, как рыбий пузырь и упавшие рога быка.

В самом логове священного места Пасса, Алешка, Елесак и только что приехавший Иван бьют траурных оленей. То олени покойной. Жены их тут же разделявают и разводят костры. Скоро поведут туда и Некочи.

А пока она лежит в своем деревянном домике. Последний дом на доброй и чудесной земле, где она была любима, где берегли ее, где Себеруй отдавал ей редкую, но томительно странную сказку, и тогда она улыбалась тихо и просторно, как крик лебедушки, когда она кладет яйцо.

Ее приодели во все новое. А как это удалось женщинам, так приходится только удивляться. Лицо Некочи почернело, обуглилось головешкой, скулы выступили. И совершенно никакого выражения, даже маленькой мысли, словно в момент смерти она ни о чем не думала, и ничто земное ее не беспокоило. Зато лицо девочки страшно. Черты искалечены, сморщены. Все маленькое принимает только тепло.

Из нарты, что поодаль, бабушка Недко, мать Пассы, и Окне, — его жена, разбирают вещи умершей. Котелки, ножи, чашки, старенькие часы и ягушки. Все это предварительно разбитое, разорванное кладется в гроб.

Женщины тихо разговаривают.

— Ты иголку нашла?

— Вот возьми эту. Видишь? Да не потеряй. Там ей все понадобится. Обидится она еще.

В гробу оставляется все, чем пользовалась умершая.

Себеруй постарел, ростом будто стал меньше, и к тому же новая длинная малица (последняя работа жены) делала его самого почти незаметным. Посмотришь повнимательней, покажется, что малица сама без человека ходит. Будто ветер и земля несут малицу.

Себеруй не смотрит, как убивают оленей. Каких?! Сколько?! Люди сами все знают. — Не обидят, Ни его, ни умершую жену с дочкой.

— Доченька...—дальше он не мог договорить. Не представлял себе, что ее не будет и между тем знал, что уже нет.—Тепло ли они их одели?—перешел он на более доступные мысли. И он подошел к Окне, спросил:

— Ты тепло их одела?

Ему казалось, что ничего не стоит задать этот вопрос, но, услышав собственный голос, он отвернулся и, не получив ответа, быстро пошел прочь.

Плечи его дрожали.

Пасса машинально ударил оленя, который и так уже не двигался и, передав топор подвернувшемуся Алешке, пошел по свежей тропе, протоптанной снующими людьми.

— «Сколько крови сегодня пролилось. Да! Такого черного дня давно не было в стойбище, да и во всей тундре, пожалуй. Трехногий! Его работа. Некочи не была глупой женщиной. Могла бы не

замерзнуть. А ребенок? Ребенок замерз. Да! Ведь Тэмуйко там был. Он-то куда ушел? Алешка сказал, что олень не было. Тэмуйко-то не должен так ни за что пропасть. Придет, если живой. Но когда?».

Успокоившись, Пасса искал глазами Себеруя. Тот снова сидел на нарте.

— Смотрите!

Пасса вздрогнул. Из-под лучей поднимающегося солнца, гордо неся голову, шел олень. Тэмуйко?

Да, это Тэмуйко. Он шел, как всегда, легко. Еще издали заметил стадо и чумы, но торопился к людям. От нетерпения ноздри его раздуваются. Люди ближе. Вон Себеруй, а вот тот, что однажды так больно хлестал, и еще много знакомых лиц, но где Мать? Неужели никто не помог ей вчера?

\* \* \*

Тэмуйко вспомнил вот о чем. Сбившись с дороги и поняв, что искать ее бесполезно, Некочи распрягла оленей, зная, что они никуда не разбредутся в такую погоду, грудясь табуном, держась за тепло другого.

Запах волка словно взорвался рядом, и разлетелись олени в разные стороны.

В упругости бега, повернув голову и скосив глаза, Тэмуйко уловил, что совсем близко распласталась серая злобная тень. Лязг зубов, словно скрежет льдины, ломкий и жесткий, резко толкнул оленя в сторону.

Волк туго и мощно пролетел мимо. Немного погодя, Тэмуйко взглянул в ту сторону, откуда ждал нападения. Там ли? Да, он не ошибся. Но волк медлит, как-то нелепо и смешно пристраивает тело к прыжку, передней лапой скребанув по насту. Серый мучительно боролся с собой—прыжки всегда трудно давались ему, к тому же сейчас его пожирал азарт. И это мешало ему.

Сильный порыв ветра спас оленя. В то время, как волк распластался в рассчитанном прыжке, ветер ударил так резко, что Серого отшвырнуло в полете на несколько метров, и он грохнулся на бок. И сейчас Тэмуйко успел подумать о Матери. Он огляделся вокруг, видно, его волновала участь упряжки. Пусто, значит, ушли.

Серый продолжал лежать, подняв тяжелую морду, раскосо прищурив глаза. Он начинал со злобой понимать, что ужин уходит от него, как вода в высохшую гальку. Олень сильный, здоровый, и Серый пристально, словно выпивая, смотрел на Тэмуйко. Тот стоял залитый дуной—спокойный, выжидающий. Трехногому даже показалось, что олень улыбается. Серый вскочил.

От бессилия хотелось выть.

Тем временем Тэмуйко обдумывал смелый план. Ему было жаль Мать, только он никак не мог понять,—почему она хохотала. Как будто и невесело совсем. Ну, да теперь: не до этого.

Он внимательно оглядел волка. Одна нога Серого висела, не касаясь земли, похожая на вырванный из земли, обломанный корень. И стоял он криво, набок. Видно, бесцеремонное разглядывание разъярило Серого. Он, как-то странно раскрутив тело, бросился под ноги оленя. И именно это решило встречу. Не рассчитав, он туло ткнулся мордой в огромное копыто оленя. Бой Тэмуйко решил не принимать, а увлечь волка за собой. Тэмуйко то ускорял бег, то неподвижно затихал, тяжело раздувая бока. Казалось, он совсем не может идти. Серый же, обманывая себя и понимая ложь Тэмуйко, плелся за ним. Ушли довольно далеко. Потянуло теплом жилья, и Тэмуйко, тряхнув головой, стремительно рванулся. От ярко вспыхнувшей мысли, что он уже стар и дряхл, волк бессильно присел. А когда поднял тяжелую, словно каменную, морду, то во взгляде прорывалась тоска—голодная, желчная тоска умного, гордого зверя, потерявшего дух поединка. Серый завыл, но вдруг, вспомнив о чем-то, деловито замолчал и через минуту кособоко мчался назад по свежему незаметному следу.

\* \* \*

Люди ждали Тэмуйко. Окне, взяв корку хлеба, пошла ему навстречу. Но он прошел мимо, вошел в груду людей и умно оглядел их всех.

Нет.

Ее нет.

Ощущая непонятную тревогу, осторожно шагнул и споткнулся. Какой-то ящик. Тэмуйко поднял копыто, оно повисло в воздухе.

Перед ним было лицо Его Матери.

Тэмуйко обрадовался, лизнул дорогое лицо, но оно ничем не отвечало ему. Тэмуйко поднял голову, словно спрашивая: «Что это? Как это понимать?».

Что люди могли сказать ему?

Себеруй встал. Боком, пытаясь скрыть слезы, подошел к оленю. Тот вздрогнул, но, узнав, обдал теплом его ладонь и опять наклонился. Тэмуйко, единственный олень умершей, который еще не заколот.

Пасса подхватил топор, собрал в кольца тынзян и позвал Алешку.

— Пойдем, поможешь.

Подошли к Себерую, молча отстранили его.

Тэмуйко не двинулся.

Пасса ловко накинул петлю.

Тэмуйко не удивился. Тряхнул головой, чтобы петля удобней сидела на шее и не врезалась в нее.

— Возьмись.

Суров закон белой земли.— Кто уходит из жизни, забирает все свое. Не отдашь, покойный придет за своим. Бывало, что целые стойбища забирал.

Боль сдавила горло. Тэмуйко замотался, жадко, непонимающе, лова глазами убегающую из-под ног землю.

Себеруй отвернулся, но через минуту, задыхаясь, крикнул:

— Стойте!!! Не надо. Она грудью кормила его. Пусть живет. В нем кровь наша.

Пасса словно ждал этих слов. Быстро выпустил аркан, крикнул:

— Отпусти!

Тэмуйко медленно поднял голову.

\*\*\*

Похороны кончились. Себеруй устал и теперь, сидя за спиной у Пассы (они спали на одной нарте), старался забыться, но все напрасно.

— Один?!

Человек понимает это остро лишь тогда, когда действительно остается один. Без корней и без листьев.

— Я один!— шептал Себеруй и сказанное прозвучало настолько ясно и глубоко для него, ясно до обнаженного режущего испуга, что он ошеломленно замер и, пожалуй, только сейчас понял, что случилось страшное, никогда, никогда не поправимое.

Смерть жены и дочери. Значит, нет ни прошлого, ни будущего. А если у человека нет будущего, он опирается на прошлое и долго-долго живет им. И вдруг темно и впереди и сзади. Сделаешь шаг назад— больно. Шаг вперед и идешь... Но как темно?! Как и для чего дальше жить?

\*\*\*

Что-то случилось — это Тэмуйко понял. Было тревожно, плохо. Он думал и дни и ночи. И до такой степени, что круглые бока его ввалились, а глаза только и делали, что спрашивали: где она? Этот вопрос нельзя было не заметить, но люди молчали, а главное, старались не замечать Тэмуйко.

Сегодня Себеруй забыл дать хлеба, и когда Тэмуйко напомнил о себе, тот рассеянно сказал:

— А это ты?— но тут же забыл о нем и Тэмуйко нисколько не стало легче, потому что он так и не получил хлеба.

Тут невольно вспомнишь прошлое. «Куда же она ушла?»— Тэмуйко лег и несколько минут не мог удобно уложить свои длинные ноги и ход его мыслей прервался. «Ведь всегда брала с со-

бой?— уже который раз спрашивал он себя, ибо спрашивать больше было некого.—И почему она в этом ящике молчала?».

Да, есть о чем подумать Тэмуйко. Еще ничье исчезновение он не принимал так близко, как своей Матери.

Не стало и все. Тэмуйко с обидой вспомнил день похорон. Его потом выгнали к оленям и Матери он больше не видел.

Первые дни он не мог успокоиться. Бесцеремонно врывался в чум, все еще надеясь увидеть, найти ее. Что-то милое и светлое рождалось в его душе. Но Матери не было. Когда пригоняли стадо, Тэмуйко мчался впереди с высоко поднятой головой, осматривал жалкие жилища, загон и все, что мог охватить его взгляд. Он тосковал. На земле ничего не изменилось, если не считать ягеля. Его стало больше, потому что стойбище откочевало глубже в горы. Здесь в теплых и удобных тайниках можно найти такие душистые ягеля, что некоторые тут же переели.

Вторую неделю Тэмуйко не работает. Ест, пьет, а в основном, думает. Когда делать нечего, пожалуй, надо думать. Много, основательно, глубоко. И Тэмуйко думал обо всем, но чаще о Матери. Днем еще ничего, его отвлекают поиски ягеля, но вечером... Вечером приходит Мать. Смотрит ему в глаза и, погладив его по шее, спрашивает:

— Устал, мой Тэмуйко?—и тут же ласково предлагает кусок хлеба с солью.

Детство Тэмуйко, в отличие от других оленят, прошло по-суматошному, необычно и для людей, и для оленей. Тэмуйко считал Некочи своей Матерью. Это довольно странно, но правда.

А произошло это так. Некочи осталась кормящей матерью. Сын умер. Дети у ней умирали почему-то. В ту же весну, в последнюю, пожалуй, в самую яростную пургу родился Тэмуйко. Красненький такой малыш, с любопытной мордочкой и красивыми длинными, может, даже чересчур длинными ногами. Он даже не мог разобраться, которая его мать. Ходил, тыкал мордочкой воздух и привязывался ко всем, таким же длинным и слабым оленятам. Оленихи отталкивали его, боясь за своих детенышей. Но Тэмуйко никогда не плакал. И ему, видимо, доставляло большое удовольствие смотреть, как оленята раскрывают рты и твердят: «Аф-аф». И он всем своим видом говорил:

— Какое ничтожество.

Себеруй часто смеялся над ним. Но смех, конечно, смехом, а мать Тэмуйко имела плохую привычку. Отобьется от стада, оставив его спящего, и он, бывало, ревет от голода. Все-таки плакал, всю глотку прокричит, а она идет к нему спокойно, гордая своим непутевым материнством. И доигралась ведь. Серый, а может, и кто другой, украл ее.



Это ночью было.

Себеруй проснулся от толчка. Он дежурил. Нарта под ним крутилась волчком. А стадо летело прочь. Себеруй вмиг сообразил, в чем дело. Да и соображать было нечего. Серая тень резкими прыжками рассекала стадо. Пока Себеруй целился в волка, тот успел отделить важенку и гнал ее. Все дальше и дальше.

Важенка вела себя странно. Все порывалась к одиноко стоящему кусту ольхи, металась из стороны в сторону. Было видно, что уже выбивается из сил. Олени в упряжке запутались, и Себеруй с досады плюнул: «Угнал, собачий сын.— И тут же вспомнил о кусте ольхи.— Что там ей надо было?».

А там, раскинув ножки, опрокинув далеко назад лобастую головку, спал Тэмуйко. Любимец Себеруя. Теперь уже сирота.

Себеруй тяжело вздохнул. Сирота-олень в таком возрасте никуда не годится. Разве только на мясо. Да какое тут мясо?! Одни кости. Сноровистый был бы олененок. Был бы олень. Пастух присел на корточки. Внимательно осмотрел спящего. Да, был бы олень!

Тут Тэмуйко проснулся. Оттянул ножку и, совсем беспечно подняв головку с фиолетовыми глазками, вскочил и отбежал. И насколько умел, подозрительно оглядел стоявшего перед ним. «Что это за «олень»? Зверь какой-то?». А «зверь» любовался им, и сердце его сжималось от жалости. Тэмуйко плакал. Важенки ходили растерянные, но покормить сироту никто не решался. И Себеруй тоже не торопился его поймать, все надеялся: прикормит какая-нибудь добрая, примет сына.

Утром подошел Алешка, дежуривший ночью и, глядя в сторону стада, сказал:

— Кончай ты его, дедушка. Никуда не годится. Всю ночь лежал и плакал.

Себеруй ничего не ответил. За чаем Некочи была рассеяна. Прорыскала на пол сахар и чуть не уронила стакан.

— Ты что?

— Поймай Тэмуйко.

— Зачем? У нас ведь мясо еще есть.

— Не на мясо. Не примут важенки Тэмуйко. Я попробую его приучить к ухе, а потом ко всему привыкнет.

Некочи понимала, что это трудно. Маленький олень чаще всего не принимает людскую пищу, для него грубую. Шанс спасти его очень невелик.

Но Себеруй знал жену, и поэтому в полдень Тэмуйко поймали. Некочи привязала его у постели. Наскоро приготовила уху и, радуясь тихому поведению олененка, поднесла к нему миску с ухой, но не тут-то было. Есть Тэмуйко не стал.

Пришла ночь. Голодный олененок не утихал. Ворочается и Не-

кочи, снова пробует дать уху, но все напрасно. Полночи, наверное, прошло, когда Некочи сбросила ягушку и расстегнув ворот платья, закрыла ладонью глаза олененка. Тот даже не пошевелился. Тогда Некочи поднесла ему грудь и Тэмуйко взрогнул. Затем, помочив слюной сосок, весь подобрался и втянул в себя молоко.

— Себеруй!

Тот поднял голову и обомлел. Тэмуйко, сирота, не признанный сын стада, сосал грудь, упершись тонкими ножками в пол.

Уснули на рассвете. Тэмуйко, укрытый ягушкой и ласковой рукой своей новой матери, видел сны, потому что несколько раз подымал голову, и уже не плакал, а что-то говорил в негустые сумерки чума.

Некочи кормила его неделю, а, может, немного больше. Сама, конечно, похудела, но ходила веселая и добрая. Потом Тэмуйко все-таки привык к людской пище. Но мысль, что женщина, выкормившая его, была ему Матерью, накрепко засела в сердце оленя. да и у людей осталось такое же мнение.

\* \* \*

Себеруй копошится у огня. Вечером в чуме темно и кажется очень пусто. Это, наверно, от того, что плохо на душе.

— Давай, Буро, поедим.

Себеруй часто говорит с собакой, не молчать же все время. Буро отвечает ему большим вниманием. Он привык, что у них всегда было как-то по-особому тепло и уютно, а теперь вот они одни. Впрочем, Буро ошибается. Если внимательно присмотреться, то на шкуре маленького олененка, лежащего в центре постели, можно заметить Идолов. Их двое. Один ростом сантиметров в 20. Судя по одежде, это женщина. На голове платок из кусочка красной материи, шею украшает ожерелье из разных бус, колечек, старых монет. А ягушка уж очень красиво отделана. Это Некочи. Второй совсем маленький. Идоленок, короче говоря. Его чуть-чуть заметно под малицей.

Буро поближе подвинулся к огню, наблюдая внимательно за хозяином. Себеруй поставил перед идолами небольшой столик. У пенцев так, — не я хожу к столу, а он ко мне. Налил три тарелки супу, одна из которых очень маленькая, видимо, принадлежащая Идоленку. Рядом с тарелками положил по куску хлеба.

Ели молча, сосредоточенно. Умерший продолжает жить в кругу родных ему людей в образе идола, и главное занятие его состоит в молчаливом лежании на постели и в составлении компании во время еды. Кроме того, его почитают, меняют ему ягушку и малицу, если умерший мужчина. Он обязательно участвует во всех праздниках, просто сидит за праздничным столом, имея свой стакан спирта, который потом выливают или выпивает кто-нибудь.

Себеруй, не всегда признававший обычаи, на этот раз с радостью согласился выполнить все, что требовалось. И вот жена и дочь с ним. Он искренне верил этому и готовил всегда на троих, думал тоже за троих.

Чум свой не разобрал, хотя Пасса несколько раз уговаривал его перейти к ним.

Кстати, вот и он.

— Что делаем, старики?

Старики — это значит Себеруй и Буро. Пасса весел. Еще бы. Три солнца пришло, как родился сын. Быть слишком счастливым рядом с Себеруем как-то жутко и неприлично, и Пасса, чуть нахмурившись, опустился рядом. Потом подбросил сушняка в огонь и, внимательно поглядев на друга, негромко сказал:

— Ты меня не один день знаешь. — Он, видимо, боялся поранить друга, сказать не так, и поэтому слова его прозвучали уж как-то слишком осторожно.

Себеруй насторожился. Он почувствовал, что будет разговор.

— Подожди, что за беседа без чая.

Пасса не ответил, что-то обдумывая.

Себеруй поставил чашки. Торопливо вытер их чистым полотенцем. А руки дрожали. Пасса, заметив это, нежно посмотрел на старого друга. То была нежность суровая, никогда не высказываемая и поэтому мучительно-сильная.

Первую чашку чая кирпичного цвета выпили молча. «Разговор будет крепкий, как багульник», — решил Себеруй, изредка поглядывая на Пассу. Он почти с нетерпением ждал, что скажет этот самый близкий ему человек.

— Пусть говорит, — думал он. — Поможет разобраться во всем. — Но тут же перебил себя. — А в чем, собственно, разобраться? Ведь нет у меня ничего и никого.

— Себеруй, у тебя ведь есть дочь — Анико?!

Тот вздрогнул. Чай в блюдце плеснулся. Он ожидал любого вопроса, только не этого. Мысли об Анико, о далекой дочке стали его новой болью и радостью, и надеждой. Он берег их. Боялся выдать. Никому, даже Пассе, не говорил. Это было так больно. Очень больно. Кто знает, вернется ли к нему дочь? Помнит ли отца?

— Да. Была у меня дочь.

— Почему была? — внутренне содрогнувшись, спросил Пасса.

— Прошло 15 лет, а может, и больше. Мы с ней не виделись. Как взяли ее в школу. Помнит ли она меня? Да и нашу жизнь не представляет, наверно. Вот я и думаю — не нужны мы ей. — Эти слова были страшны ему, но он говорил их, словно хотел приучить к ним свое сердце.

Анико, незнакомая дочь, была для отца не только единственным

представителем рода. Нет! Чувства, которые он питал к ней, были куда больше и сложнее. Пасса недовольно крикнул.

— Нехорошо ты думаешь. Человек никогда не забывает свой дом.— Пасса говорил медленно и тихо.— Она к нам вернется. Но ей надо об этом сказать. Вот я тут...

И достал из кармана рубашки сложенный вчетверо конверт, лист бумаги и карандаш.

Себеруй, взволнованный короткой речью друга, смотрел на все эти вещи с такой детской надеждой, словно эти незнакомые, но должно быть добрые и хорошие вещи, сделают для него чудо. Но тут, к своему огорчению, вспомнил, что не знает, на каком боку земли живет его дочь.

— А я и не знаю...

— А я знаю.

— Как?

— Узнал,— и подробно рассказал, что ездил в сельсовет.

— А там как знают?

— Сам не понимаю. Старый Езынги ведь не дурак. Вот он говорит, чтобы ей написали сами...

— Говорящая бумага, наверно,— предположил Себеруй, поднося к глазам письмо, написанное Пассой.

— Какие-то прутики, черные, корявые, будто куропатка прошла по снегу,— подумал он про себя, и, конечно, ничего не поняв, осторожно передал письмо другу.

— А это?

— Это ум говорящей бумаги,— деловито объяснил Пасса, замачивая слюной конверт. Тот прилип к бороде и раскачивался. Увидев болтающийся домик говорящей бумаги на бороде друга, Себеруй засмеялся.

Засмеялся и Пасса.

— Вот послушай, как я написал: «Дочь, Анико! Живу я один. Мать и твоя маленькая сестренка умерли. Приезжай...».

Дальше речь шла об оленях, о Буро, о людях стойбища. Пасса не поленился, поработал на славу. Хотя ошибок сделал целое стадо. Себеруй одобрил письмо, попросил добавить, чтобы она приехала в малице, а то замерзнет. Откуда ему было знать, что дочь его давно забыла о таких вещах.

Дело сделано. Стало легко. Улыбаясь, заклеили конверт. А потом, словно вспугнутые чем-то, притихли и сидели, не глядя друг на друга.

Костер горел бойко, брызгал искрой, озорно освещая обветренные лица ненцев.

— Приедет ли?— тихо спросил Себеруй, сторбившись над застывшей чашкой.

— Приедет,— твердо, насколько мог, сказал Пасса, поглаживая рукой белый конверт.

\* \* \*

«Помру, наверно»,— думает старик Як. На скуластом удлиненном лице живет только один глаз. И то злой. Другой закрыт повязкой. Этот потерян в молодости. Уж слишком много черных дел было, и вот конец очень-таки печальный — грязная тряпка. Старик лежит неподвижно уже не один месяц, и давно не видит то, что творится за пологом чума. Ухаживает за ним мать Пассы, старушка Недко.

Вся жизнь его теперь замкнулась в бесконечно-тягучих думах о прошлом, о людях. Именно о людях, а не о стаде, и богатых красивых шкурах, которые остались после жены, уже неизвестно которой по счету, и умершей недавно. Не так думал умереть старый богач. Не так. Мечтал ведь о всех почестях. А теперь...

Ум умирающего беспощаден, ежечасно напоминающая о прошлом.

И все чаще ехидный голосок нашптывает ночами.

— Виноват ты, брат, перед людьми. Каждым днем своей жизни виноват. И на гроб-то не заработал. Ну вспомни... вспомни...

...День подходил к концу. Огромное стойбище, состоящее из бедных и богатых родственников, а также из его пастухов, кричит и гудит.

Под копытами тысячного стада Яка земля содрогается и, кажется, глухо стонет. Тяжело, наверно, было земле носить на себе этого человека.

Стойбище собирается кочевать. Убраны чумы. И длинные аргиши уж готовы к долгому пути. Все!

Як взмахнул хореем и аргиши тронулись. В этот же миг кто-то крикнул: «Подождите!!!».

Все недоуменно остановились. Як вскочил с нарты и раздраженно подскочил к кричавшему. Это был его пастух.

— Это ты кричишь, собачий сын?— и не поленился пнуть стоявшего на коленях (Як был очень толст).

— Вот...— Не мог выговорить ничего пастух и дрожащей рукой показал на землю.

Там, в куче шкур, под худенькой ягушкой лежала старая nenka. Она плакала. Но совсем тихо. Глаза ее смотрели умоляюще, а старческая беспомощность, с какой она размазывала слезы, была невыносима, и люди отворачивались.

— Отец Себеруя (тот, что стоял на коленях) растерянно смотрел на богача.

Больную мать было некуда положить. Когда здоровой была, шла пешком все кочевание, но теперь... она не могла даже двигаться, не то что идти.

— Як, помоги. Дети будут пешком идти, но мать-то... Сам видишь, нарта одна.

— Ты хочешь, чтобы я положил эту старую гниль себе на нарту?— взревел Як, словно его укусили.

— Нет... я не это... я хотел...—но богач не дал ему договорить. Размахнувшись арканом, невесть как попавшим к нему в руки, он ударил пастуха по лицу.—Собака, хочешь умереть, ешь кости этой ведьмы. И щенятам своим не забудь по косточке кинуть — и захохотал, довольный и всеильный. Широко расставив ноги, он долго закатывался смехом.

Лежавшая на земле слабо пошевелилась, и сын принялся жалко и торопливо поправлять лохмотья, которыми он смог кое-как прикрыть голое, уже посиневшее тело матери.

— Сынок, оставь меня. Вам жить надо. Успокой детей.

— Как я тебя оставлю? Не могу... Нет... Нет...—повторял сын с беспомощной нежностью, а кровь из раны заливала лицо.

Голос матери неожиданно окреп:

— Нет, слушай мое слово. Останетесь со мной — умрете! А это...— она показала на Яка, который, ехидно улыбаясь, слушал ее.— Это собака. И весь его род был собакой. Пусть дети это знают.

Як уже не улыбался, собрал в упругие кольца аркан и чуть ли не разбежавшись, ударил старуху. Та закрыла глаза, но не застонала.

— Поезжай, сын. Да не плачьте,— вскрикнула она на внучат, поцеловала сына, который все пытался поймать неверными руками ее маленький, крепко сжатый кулачок.

— Оставь меня,— попросила она усталым голосом. Помолчав, совсем, тихо добавила:— Разговор у меня к земле есть.

Сын встал. Горбясь, прошел к нарте, и аргиши тронулись. Старушка долго смотрела им вслед, потом слезы застлали глаза, и не стало видно ни сына, ни неба. Прошло немного времени. Старая nenka повернулась к земле, лицом вниз, и долго что-то шептала ей. Доверительно, тихо, ласково, как дитя малое...

Як боялся людей. Ему показалось, что рано или поздно они напомнят обо всем. А напомнить было что. На улице раздалась громкие голоса Себеруя и Пассы.

Як вздрогнул. И вообще он теперь часто вздрагивал. Затянувшаяся боль прошла по сердцу и где-то у самого горла остановилась комком.

— Скоро помру,— опять подумал одноглазый, но теперь он испугался своей мысли и долго, неподвижно смотрел вверх, где в узкой проруби чума виднелось синее небо.

Стойбище почти месяц живет ожиданием Анико. Горе Себеруя стало общим, а радость тем более. Старушка Недко, например, вызвалась шить ягушку Анико, и по утрам она шьет узоры, а вечером обрабатывает шкуру. Окне мастерит женскую сумочку. То работа хлопотливая, тонкая, требует много терпения и мастерства.

А о Пассе с Себеруем и говорить нечего.

Дни Себеруя стали сплошными заботами о дочери. Он весь подобрался, помолодел. Все в нем радовалось, от какого-то не совсем понятного ему ожидания. В эти дни его можно было видеть везде. То он подбирает дочери оленей на обыденную упряжку, то на праздничную, а то и просто сидит, стараясь угадать заранее вкусы и желания незнакомой дочери. Пасса взялся за нарту-легковушку для Анико. Все это делалось с любовью, красиво. В них люди вкладывали все, чему их научила жизнь. Но больше всех ждал Анико Алешка.

Окне нахмурила брови. Нет, не к месту вшита эта полоска сукна, ломает узор. Она распоролла злополучную полоску. Может, сюда приладить? Нет. Лицо ее вдруг оживилось, и она пошла к соседке, к матери Алешки. И они держали совет.

— Никак не могу сообразить, куда пустить эту вещичку.

Та задумалась. Рассмотрела сумочку.

— Для Анико?

— Ага.

— Давай-ка вот так.

И обе женщины, перебивая друг друга, увлеченно наклонились над сумочкой.

Себеруя сидит на нарте, загибая пальцы. Оказывается, ему не хватает одного оленя на обыденную упряжку для дочери.

— Пасса, не могу крайнего для Анико подобрать.

— Подожди. Кто-то кричит...

Пасса, прислушиваясь, посмотрел из-под руки в сторону чумов. К ним кто-то бежал. Себеруя вытянул шею, потому что из-за спин оленей совсем ничего не видать. Неужели приехала? Но как она смогла добраться?

Снова стало тревожно, как в то утро. Бежавший крикнул еще издали:

— Дедушка, одноглазый умирает. Тебя зовет.

Сразу что-то отпустило. В сердце стало пусто, как в котле нерадивого охотника. Зашевелилась давно уснувшая злость. Бросив с досады аркан, Себеруя буркнул:

— Не поеду.

— Нет. Умиравший живущего не играть зовет,— осуждающе посмотрев на друга, решительно сказал Пасса, и, не дожидаясь его согласия, предложил:

— Садись, поедem.

И немного погодя, уже по дороге, усмехнулся:

— Посмотрим, что скажет старый волк.

Усмешка получилась недоброй.

\* \* \*

Як вздрогнул, когда полог чума широко распахнулся и вошел тот, кого он ждал.

Невыносимые боли разрезали грудь, и он закусил губы, чтоб не стонать. Себеруй рядом. Это он чувствовал, но глаз открыть не решался.

— Проклянут. И перед смертью все вспомнят.

Но люди молчали. Это еще более пугало старика. Он приподнял деревянные веки. Свет был мутным, но напряженное, злое лицо Себеруя он видел отчетливо. Все лица знакомые, ни одного близкого, родного. Начали подступать слезы. Жгучие, изнутри.— «Вот когда пришлось поплакать»— рассеянно подумал он и снова устался взглядом в Себеруя.

— Ты меня звал?— спросил тот.

— Да, сын.

Это было уже чересчур.

Себеруй поморщился.

— Говори, что тебе надо.

Он знал, что груб и несдержан.

— Скорей бы умереть,— подавленно подумал старик и, стараясь опередить подступающую боль, старательно вывел свой вопрос:

— Ты сердисься на меня, сынок?

Он опять произнес это больное слово и ответа не получил.

— Я слышал, что ты ищешь дочь, Себеруй?

— Да.

— Я сделал много нехорошего,— он приподнялся на локте и продолжал.— Не могу говорить, но мне страшно, сын.

И почти с мольбой добавил:

— Возьми для дочери моих оленей. Все, сколько есть. И ни одного после меня не убивайте. И так крови на мне много.

По чуму прошел шумок, но тут же смолк.

— Что скажет Себеруй?

— Твои олени не нужны моей дочери.

— Знаю. Знаю, что тебе сейчас ничего не нужно. И все-таки... возьми. Может, поспокойней да светлей умру.



Старик замолчал, но глаз его уставился в лицо Себеруя, и, казалось, прощупывал, сверлил каждый сантиметр на нем.

Себеруй молчал.

— Сынок...— захлебнулся старик и забился в невидимых путях.

— Умер бы, что ли, скорей,— прошептал кто-то.

— Пожалей меня. Не откажи...—он не договорил. Ужас застыл на его лице, словно он понял что-то непоправимое, уже недоступное. А глаз не закрылся. Он словно подсматривал, как приняли люди смерть его хозяина.

Внимательный Пасса заметил слезу, которая быстро и суетливо пробежала по сухой щеке и затерялась в грязной бороде умершего.

ЛЮДМИЛА ТАТЬЯНИЧЕВА

## ТАЙГА

Сухим свой порох береги:  
Тебе он может пригодиться!  
Деревья—  
Только часть тайги.  
Тайга—она и зверь,  
И птица.

Она рычит,  
Поет и свищет  
На сотни разных голосов.  
Добычу ждет,  
Крадется,  
Рыщет  
И шлет, как вызов,  
Властный зов.

Ты слышал, как трубит сохатый,  
Подняв ветвистые рога?  
Он здесь не гость  
Не соглядатай.  
Он—сын тайги.  
Он сам—тайга!

Живой тайги изведать почерк  
Поможет поиск мудрецов.  
...Тайга не любит  
Одиночек.  
И отвергает гордецов.

## ТАЕЖНЫЙ АЭРОДРОМ

Комариная косматая тайга.  
От болота до болота —  
Два шага.  
Сквозь тайгу идет дорога  
На Сургут.  
Не сама идет,—  
Строители ведут!

У строителей есть свой  
Аэропорт.  
Островок среди погибельных  
Болот.  
На боку вагона-тепняка  
Прочитала я издалека:  
«Всепланетный аэровокзал»—  
Весельчак какой-то написал.

Весельчак?  
А, может быть, фантаст  
Увидал здесь узел  
Дальних трасс?

## НЕФТЯНОЙ ФОНТАН

Хоть на миг замолчи, буран,  
Чтобы каждый услышать мог,  
Как трубит нефтяной фонтан  
В медногорлый огромный рог!

Расступись ты, кондовый лес,  
Чтобы мне увидеть—  
Хоть раз!—  
Как геологи плачут здесь,  
Слез счастливейших  
Не стыдись.

Они пробуют нефть  
На вкус.  
И в тяжелых ладонях мнут.  
Горячо утверждать берусь:  
Нет прекрасней таких минут!

Кто в болотах тонул  
И мерз,  
Углубясь в тайгу-океан,  
Тот услышит за сотни верст,  
Как трубит  
Нефтяной  
Фонтан!

## ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

...Ребенок в коляске.  
Книги в авоське...  
У города краски  
По-вешнему броски.  
Рассветы здесь —  
Ранни.  
Дома яркоглазы.  
Красивые парни  
От нефти чумазы.  
Возник этот город  
В глуши не напрасно.  
А то, что он молод,  
Так это —  
Прекрасно!

г. Москва.

ГЕННАДИЙ САЗОНОВ

## ВОЛЖСКИЕ КОРНИ

*Очерк*

«С далених плесов в звездной тишине  
Другой мальчишка подпевает мне».

Л. ОШАНИН.

К теплыне моря, в знойной тишине, через леса и пески, суховейные степи, меж крутых бережков река Волга течет. А другая, еще более могучая река Обь, разрубает своей долиной неумолчный гул тайги и несет тепло далеких степей в ледовые моря. И никто не знает — то ли Волга потянулась к Оби, то ли Обь, мерцая белой ночью, поманила их к себе.

Издадека-далека пришли и закрепились на глинистых сползающих берегах Оби смуглые парни с крутояров Волги. И казался вначале странным, совсем нездешним их певучий округлый говор, такой непривычный в северной речи. У них были свои, свои степные слова, у этих парней из города Саратова. Они принесли с собой степной простор и протяжные, чуть диковые песни кочевников.

Они увидели незнакомую страну — огромную, трудную, немного страшную и мерзлую. Здесь все было другим — и другие реки, не видны берегов; и другие леса, и другие звери мяли тропы, и другие ветры валили с ног, и другие, совсем прозрачные ночи. Им было трудно оторвать себя от степи, тяжело отнимать от себя сухой зной ветра — горьковатый, полынный жар, отойти от теплых пескариных речушек, от засух и гроз Поволжья.

Тайга и степь... Каждая из них живет своей жизнью, по-разному раскусалась и замирала, встречала рассветы и закаты. Лес прятал, степь раскрывалась огромной ладонью. Но солнце было одно. Иногда им бывало так плохо, что они оборачивались лицом к своей степи и жадно, будто моля, пытались уловить ее далекий замирающий запах. Они оставались язычниками, у которых степь — богиня. И они уходили все дальше и

дальше в глубь древней прародины угров, в холодные краски северных дней, уходили от дубов, от спелых хлебов, от степных скифских курганов и научились понемногу угадывать ту страну. Парни с Волги увидели здесь и курганы, только других, совсем других народов, они узнали тундру, что стелилась перед ними — белесая и просторная, словно степь. Они увидели кедры, темные и могучие и так похожие на дубы, под которыми они когда-то спали, раскинув еще не мужские, слабые руки. И парни с Волги прикипели к кедру, потому что не смогли забыть дубов, и привыкли к тундре, к волнистой полярной степи, где кружили свирепы метели, где выли белесые волки, где бился в высоте канюк, так похожий на беркута.

Один из первых сюда, в начале пятидесятых годов пришел Ровнин. Тогда его звали Львом или просто Лево́й, тогда был маленький трест, двухэтажный домик — контора на тихой окраинной улице Минской, рядом с кладбищем, а на низменности не считывалось и полсотни глубоких скважин.

Невысокий, плотный, слегка полноватый сангвиник с серыми навывкате глазами, он торопился узнать нечеловечески огромную низменность и с головой нырял в не осмысленный никем материал. И еще не было никакой здесь нефти и не было никакого здесь газа. Зато были те и другие прогнозы, зарождались и погибали в эмбрионе гипотезы, но никто не знал, где же бурить? А прогнозы — то ли будет, то ли нет — поражали своей двусмысленностью и стройностью, убогостью и подозрительной гениальностью и ничего не значили, и газ не давался в руки, потому что залегал где хотел и ломал, и бил, и крушил науку. И ничего, совершенно ничего не являли умные тяжелые книги и пестрые карты, и мудрые речи, потому что это была новая страна, невиданная и неведомая. Посещали Тюмень ученые — великие знахари земли, годами шаманили, колдовали и вот появляются факты — структуры и своды, но теория не выдерживала их слабым своим хребтом. Были и оставались идеи, но для них не хватало воздуха, они хирели и, померцав, затухали. И Ровнин не знал, куда идти — на север или на восток. Он оставался на месте, пропадал в лабораториях, зарывался в архивы, метался по буровым, отгружая трубы и маркеры, и звали его тогда Лево́й.

Сейчас трудно отыскать, — успели затеряться документы, утонули во времени следы тех первых, что установили поисковые критерии и прогнозы нефтеносности, но факт остается фактом, что в начале века, в 1903 году Горный департамент Министерства земледелия устанавливает десятичную плату за разведку на нефть в пределах Тобольской губернии в размере одного рубля. В начале века в Тобольской губернии запахло нефтью, сквозь мерзлоту просачивался запах открытия.

Ровнин по несколько раз перелистывал пожелтевшие архивные записи и поражался. Они вводили его к порогу века, ослепляли догадкой дикаря, соединившего изогнутую палку с тетивой. О нефти уже знал купец, и не совсем верил, знал промышленник, нарождающийся бизнесмен. В

октябре 1911 года товариществу «Пономаренко и К» выдается дозволенное свидетельство на право производства разведки нефти в районе «Тобольского уезда, на Перевесной Гриве... отстоящих от юрт Цингалинских на юго-запад приблизительно в шести верстах... и другие промышленники не имеют право производить поиск и ставить столбы на указанном пространстве».

И много было таких непроверенных, но завлекательных заявок, застолбованных участков и на нефть, и на золото, и на уголь. Два столетия избегали промышленники и купцы бывшую Тобольскую губернию, переселенная ее, очарованные алданским золотом, уходили на Тунгуску, Амур и Алтай.

Но отодвинулись столетия, поторопили их стремительные десятилетия 30-х годов, и вот академик Иван Михайлович Губкин в 1932 году, выступая в городе Свердловске, говоря о минеральной сырьевой базе Урала, ставит вопрос о поисках нефти на восточных склонах Урала. Губкин крупная и крутая личность в геологии. Он не только мог предвидеть, он мог и заставить принять предвиденное, ибо скептицизм не всегда сомнение.

«Я полагаю, что на восточном склоне Урала угольная фация юры по направлению к востоку, то есть немного дальше от береговой линии, где происходило накопление осадков, где отложились угленосные свиты — угольная фация заменяется нефтяной», — заявил Иван Михайлович в июле 1932 года в г. Новосибирске.

Губкин — органик. Он выдвинул изумительно стройную, откристилизованную безупречной логикой гипотезу об органическом смешанном растительно-животном происхождении нефти, создал схему, модель ее рождения, развития и захоронения в глубинах земных. Можно до бесконечности поражаться прозрачной логике фактов, их ассоциаций и той гармонии, которое рождает лишь вдохновение таланта. Гипотезу о происхождении в скором времени возводят в ранг теории. Принимает ее и Ровнин, ибо она для него органична, созвучна с его образом мышления.

А 21 сентября 1953 года на окраине Березова, старинного мансийского поселения Сумгит-Вож взревел газовый фонтан. Газ вырывался из глубин в 1200 метров, спрессованный давлением в 130 атмосфер, и ревел утробным подземельным голосом — миллион кубов газа и пятьсот кубометров воды каждые сутки рвались, освобожденные в низкое березовское небо. Девять месяцев ревел фонтан.

В это же время Лидия Ровнина и Нина Дубровская в тиши лабораторий, склонившись над микроскопами, отыскивают редкую, еще никем не увиденную микроскопическую раковину, ископаемые флору и пыльцу, создавая пока еще слабый и хрупкий каркас для построения стратиграфии — порядка напластований Западно-Сибирской низменности.

Как-то незаметно пришли сюда однокашники Альберт Юрий и Владислав Никонов. Спокойный, немногословный, мягко улыбающийся Альберт забирается на Север, где имеется лишь одно крохотное, но уже такое громкое месторождение газа — Березово. Стратегия поисков, методы развед-

ки — комплексное эффективное сочетание геофизики, геологии и бурения, зарождались именно здесь, в Березово. И Юдин, неторопливый, мягкий и только на вид будто вялый, флегматичный. Он добывал факты, нелегкие, нет, не вспыхивающие сенсацией и не те, из которых можно раздуть бум, нет! Без фактов весомых и зримых — не наука, не поиск, а демагогия. Это Альберт знал. Карта ложится на карту, осматривается каждый кусок породы, в которой бы мог затеряться запашок нефти. И Альберт работает, как грузчик, как волгарь-биндюжник, передвигая с места на место мегатонные глыбы фактов, миллионлетние конструкции гипотез. Мягко улыбаясь и мало говоря, он крушит геологию, тот самый айсберг, что показывает лишь одну восьмую часть своего тела.

Никонов порывистый и увлекающийся, взлохмаченный и непостоянный, не принимаемый еще никем всерьез, творит химеры, создает и сам же рушит гипотезы, жонглирует фактами, балуется своим воображением и пббеждает тогда, когда спорит с самим собой. Но побед было мало. Просто он искал себя — неуспокоенный, еще мутный, как половодье, встречанный и недоуменный, невысказанно зеленый, как новь-трава среди бурьяна, растерянный от своей весны и страстный, как молодь лебединой стаи, потянувшийся на Север. Он кричал, бил крыльями, ликовал и терялся, изнемогая от трепотни и от жалости к себе. То верно — в любом поиске, в любом деле нужно найти прежде всего себя, найти таким, чтобы поверить в свое и остаться собою. Потому что здесь, в Тюмени, побывали всякие..., чересчур дерзкие и вялые, и бессильные люди, в маленьком своем мирке, закованном в темную полоску камня, где расплывающийся горизонт всматривается в тебя чьими-то маленькими глазками, чьим-то тупым тяжелым лицом.

А Никонов ликовал, а рядом — скептики, приличные respectable парни с чересчур красивыми женами и увесистой зарплатой. Нет, то были не те скептики, в которых скелет логики оброс громадным душевным здоровьем. То был скептицизм, что граничит с невежеством, вернее не граничит, а питается им, когда нет ничего за душой и в душе, когда глаза не видят, ибо не могут увидеть, когда разум молчит, ибо нем и когда лучше всего отрицать. И такой скептик отрицает. Отрицает все, но как-то хорошо, доверительно отрицает — небрежно, так отрицает меломан дебютантку, но не тонкой бритвой фактов, не логикой и даже не опытом, а какой-то мешаниной ассоциаций — «нет там нефти, не признаки все это, а мура». Но самое интересное в том, что скептики оказываются зачастую правы, как неискушенные в мудрости оракулы. Альберт изредка присылал вести о себе, о далеком газе и совсем далекой нефти. Никонов занялся водой — не простой, не ключевой, а той, что оmyвает и держит на себе нефть, формирует в залежи и помогает вырваться наверх. Наверное, тогда Владислав задумал заняться наукой, то было пустое поле, дни сева, то был огромный залив, куда лишь ненадолго или случайно заплывали киты науки с запада и юга. Он занялся наукой — геохимией нефти и газа — «что это за вода на глубинах в полтора, два и три километра? А в десять, двадцать?



И как она связана с нефтью, и что она получает от такого соприкосновения?»

«Вода... вода... кругом вода». — Только он не пел, а хватался за голову и презирал себя. Вода появлялась всякой.

Вот тогда Никонов отходит от узкопроизводственных вопросов и поднимается до общих теоретических проблем: как «Закономерности распространения нефтяных углеводородов в земной коре», как «Поиски зональных залежей в широтном Приобье».

А в Саратове, на крутоярах Волги, о Тюмени знают столько же, сколько и о Марсе. Молодой, растущий ученый саратовец Леонид Назаркин, не дрогнув, как подлинный исследователь, твердой рукой разрезает земной шар, проводя границу по 62 градусу северной широты — «на юге нефть и газ, на севере — фиг! Березовский газ — исключение, катаклизм и наваждение». Свою книгу о критериях поисков он подарил Ровнину. Что ответил Ровнин, никто не знает, только остальные саратовцы откровенно подышали со смеху.

Леонид Назаркин отчетливо и сурово заявил в своем труде, что искать нефть и газ севернее Ханты-Мансийска — блеф и авантюра. — «А почему? — спрашивал Назаркин. — Почему? — И отвечал, убеждая самого себя: — Потому что в те времена климат, — улавливаешь? — климат-то был вовсе другим и совсем не таким, каким он должен быть для произрастания той биомассы, что превращается в нефть».

А жизнь, оказывается, бушевала там, где ее не ожидали, ибо эта жизнь нам сама непонятна, ибо ее невозможно охватить человеческими измерениями.

В 1955—56 годах здесь работают геофизики Илья Могилевич, геологией нефти занимается Геннадий Быстров и Модест Синюткин, затем в сейсмоку приходит Лев Гришин.

И вот, в этой марсианской стране, сверху мерзлой и насквозь неизвестной, на слиянии Сосьвы и Вогулки, за тремя буераками раскинулись палатки геологов-съемщиков, и здесь, среди ленинградцев и москвичей, закружился, заторопился волжский говорок. На «Черные Горы», в глубокие болота уводил партию Василий Журлов — светло-русый, голубоглазый и широкогрудый. Тонкое лицо его смуглело на солнце и синим-синем плескали глаза. Василий поражал всех странностью, которую не мог объяснить: — «Таким я родился!». Читая, он скользил взглядом по строкам любого текста и враз же сообщал сколько здесь слов — кошмар, какая у него память!

— А пять лет тому мог сказать, сколько букв, да. А сейчас нет, не то! — пожаловался Василий, перемножая в уме пятнадцатые числа.

Он находил структуры и своды, обломки сводов и крылья структур, и, пробуравив десятка два пятиметровых скважин, принимался рассуждать: «Дайте мне песок — я воссоздал мелководье, дайте мне известняк и вы получите мрамор. Но дайте их вместе — я сооружу Эйфелевую башню. По аналогии с близнецами-районами (1500—1200 километров на юго-

восток) нефть должна быть, ну, если уж не нефть, то газ обязательно». Тогда все ждали нефть, затаив надежду.

Уходили саратовцы на реки Радом и Воже-Мур, Тор-Еж и Колтысьянку, на Люлим-Вор.— «Высокий Лес» и на речушку Ялбынья — «Святую Речку», куда во веки веков древний закон манси не пускал женщин. Тогда среди геологов работали Катерина Баскова и Мария Чуланова. В 1956 году в Нижней Оби развернула работы Шеркалинская партия масштаба одна сотысячного. Партия из сплошных саратовцев-степняков во главе с Николаем Мизиновым. Чертова дюжина саратовцев попала в зеленый параксизм тайги, в топкие капканы болот правобережья. Мизинову мы благодарны за то, что он помог устроить нам набег на четвертичную геологию Западной Сибири. В нашем понимании было лишь три центра современной геологии — Москва, Ленинград и маленький поселок на Сосьве — Березово. Все геологи Березово разбились в то время на непримиримые лагеря, на три-четыре платформы: два-три миллиона лет назад почти насмерть зачоченела земля, покрылись инеем пальмы, обморозились магнолии и погасли цветы. Космос пал на землю сизым холодом. Появился мамонт, а человек сошел на землю и взял в руки камень.

«Трижды долина Оби покрывалась льдом. И три раза он отступал», — утверждали полиморенщички. «Их было три ледника — зырянский, саратовский и тазовский».

Приверженцы второй гипотезы двумя руками и зубами держались за одно-единственное, но Великое оледенение и отвергали все остальное.

«Зачем тронуться? И зачем всех пугать? — допытывались мономоренщички. Третьи задумывались и время от времени объявляли, что ледника не было вовсе, а расстилалось огромное море, по которому плавали айсберги. На них из конца в конец, транспортировались валуны с Таймыра и Полярного Урала. Четвертые вообще ничего не утверждали, ожидая, когда передерутся и обескровят себя оппоненты. Каждая платформа, вырастив свои собственные взгляды, представляла неприступную крепость, имела своих вождей и корифеев. Как и во всяком культе, у них родились и образовались пророки и кликуши, и просто темная бродящая масса. На совещаниях они вдребезги разбивали друг друга, в столовой не здоровались, не занимали друг у друга до зарплаты.

Все это натворил сиятельный князь Кропоткин — светлая голова, основоположник «гляциальной» теории и анархизма. Именно он выдвинул идею о многократном оледенении земли: «Я видел, как в отдаленном прошлом на заре человечества, в северных архипелагах на Скандинавском полуострове и в Финляндии скоплялись льды. Они покрыли всю Северную Европу и медленно расползлись до ее центра. Жизнь тогда исчезла... и жалкая, неверная, отступала все дальше и дальше на юг перед мертвящим дыханием громадных ледяных масс. Несчастный, слабый, темный дикарь с великим трудом поддерживал непрочное существование. Прошли многие тысячелетия, прежде чем началось таяние льдов, и наступил озер-

ный период... В то время вера в ледниковый период, — пишет Крпоткин — считалась непозволительной роскошью».

Гипотеза Крпоткина блестяща, стройна, колоссальна, фантастична и была настолько нова, что низвергала все придуманное ранее, и никому в голову не приходило, что темперамент анархиста целиком выразился в его научных изысканиях. И до сих пор остается непонятным: то ли геология родила в нем анархиста, то ли он внедрил анархию в геологию. Но самое удивительное то, что каждая из всех платформ, взаимно исключаящих друг друга, рождала своих кандидатов наук. Что поделаешь — наше время пронизано парадоксами.

В одном из маршрутов Мизинов находил факты трех оледенений, в другом — отвергающие оледенения. В четвертом-пятом... он открывал вдруг морские образования и принимался громить гляциальную теорию вместе с ее богами и боженятами. А в каком-то маршруте начальник раскопал вдруг восемь морен: — «Боже мой, — заморгал он потерянно, — боже мой, восемь оледенений?» Кошмар, все запуталось, перепуталось, все было захлестывающе интересно.

«Что делать, ребята? — спросил у чертовой дюжины начальник наш, Мизинов, — вы же дипломники, коллеги, а?»

Начальник мотался от концепции к концепции, измаялся вконец, долго колебался между производством и наукой, и, наконец, ушел на руководящую работу.

«Знаешь, друг, — сказал он мне, прощаясь, — в науке нужно быть «китом», а в производстве — боссом. В администрации лишь — шефом, т. е. на высоте. Когда припрет — приходи, помогу».

Мне всегда кажется, что парень из деревни обладает качествами, которые идут только от земли, от первоосновы всего и это — долго продолжающееся детство, точнее, долго живущий зов его, а детство — это честность, искренность, способность изумляться и верить, пусть даже в невероятное. Ибо взрослея и меняя возраст, мы меняем души, далеко уходим от очарованного царства детства. И мощный — только от земли и чернозема, от степей, от своего язычества — мощный заряд силы, перед которой и степь — постель, и тайга — хоромы, и тундра — родная сестра степи. И здоровье — здоровое здоровье души, что не принимает тьмы и готово каждый день встречать новое солнце; здоровое до того, что пересыщено страстью и не верит ни во что, кроме себя.

Хрипели и билась лошадь, ломая ноги и шею. Коней мы выдирали за хвосты, словно морковку из грядки. Дохли и зверели лошади, падая под гнусом, шарахаясь от пожара и падающих кедров. Зверели лошади и, в конце-концов, сбежали. Скотина устроила забастовку, не выдержав ада. Саратовцы разрубили профиль в шестьдесят километров, перетаскивая на плечах комплекты ручного бурения — штанги, ключи и обсадные трубы. Саратовцы на своих плечах принесли тяжелый инструмент и через каждый километр ставили скважину в 25—30 метров. Мелко? Да, мелко... но беспрельдно трудно. Но разбуренный профиль зазвучал, как классика. В на-

чале сезона Мизинов — стремительная ракета в 108 кило, в середине он протаял до девяносто двух, а к концу же превратился в стройное произведение геологической съемки восьмидесяти одного килограмма. Он боролся по мастерам, классическая борьба приносила ему республиканские и союзные победы, и мы все были влюблены в него, когда он проводил «бедро» на ковре. То был его «коронный», королевский прием.

В Березово, бочком к нефтяной экспедиции, вьюнком гибким и живучим, прижимается геологическая съемка. Мизинов, перебивав главным геологом, начальником экспедиции, перебирается в Тюмень, в комплексную экспедицию. На повышение — главным геологом. Здесь он занимается и шаймской нефтью, и гравием, которого не хватает и приходится ввозить из другой области, и тюменской минеральной водой — «ведь можно строить лечебницы», и россыпями, и перспективной площадью юга — и всем, чем угодно. В Тобольске обнаружены йодистые воды — хорошо! Найдены термальные горячие воды, которыми можно обогреть город — прекрасно!

В нем ярко и дерзко проявлялся талант борца, он часто вспоминал коронный свой прием. И здесь ему приходилось драться почти каждый час, против людей, что пользовались старыми, отслужившими приемами и фальшивой наукой, против тех, кто остервенело защищал свой покой. Он тоже искал себя, как Никонов, Юдин, как любой, кто собирался вытащить на своих плечах тяжеленную вещь — геологию.

В 1958 году в Березовскую комплексную экспедицию прибывает новая партия саратовцев. Кто ищет гравий и стройматериалы, кто занимается бурением или сейсмикой, нефтью и геологической съемкой. Валентин Каменский строит разрезы продуктивных горизонтов, изучает формы залежей нефти и газа. Карагодин Юрий на второй месяц после окончания университета принялся собирать материал для будущей диссертации. В Салехарде Юрий Никитин занимается изучением Полярного Урала, а Инна Францева — минералогией. Вероника Левина в палеонтологической лаборатории тщательно исследует микрофауну. Вячеслав Недочетов разведует гравий в среднем течении реки Оби, Галунский — сейсмикой, открывает структуры, Катя Баскова и Владимир Кобзарь обшаривают Сосьву, отыскивая ее древнее захороненное русло — там должно быть золото. Они натываются на остолбованные, опробованные купцами, англичанами и старателями участки, находят в тайге ржавые кайлы и сломанные тачки, и лишь крохи, мелкие чешуйки золотинок.

Василий Журлев, Юрий Крылов, Игорь Синицын, Анатолий Артемьев по реке Турупья поднимаются на массив «Хора-Сюр» — «Олений Рог». Два темных горба Хора-Сюра прячут в себе хромит, магнетит и медь. Магнитометры, чуткие приборы улавливают руду, но она глубоко... так глубоко рассекает и рвет жилами черную породу. А рядом, на реке Ятрия «Глухариной Реке» саратовцы Владимир Воронов и Радик Шамсутдинов ищут бокситы — «летающий камень» двадцатого века. Они находят известняки, они находят все признаки бокситов, но их нет. Нет и нет! Так всегда начинается поиск — с благоприятного прогноза и этого самого —

«нет!» Владимир Коркин изучает меловые отложения Мужинского Урала, а Юдин все глубже проникает под своды структуры. И ищут... ищут саратовцы... и вместо одной страны находят другие страны, другие клады, иные планеты на планете.

Потом... сколько прошло времени, москвичи уезжали на Красную площадь, ленинградцы к своему «Медному всаднику», одесситы — к Дюку. Отслужив срок, уезжали киевляне, бакинцы, уезжали никем не замеченные и оставались только эти парни и по-прежнему круглился их говорок в просторной сибирской речи. По-прежнему в Березове оставался Юдин такой же простецкий на вид, по-деревенски простой, с ровным, слегка насмешливым голосом.

Уже защитил диссертацию Никонов, Мизинов увлекся Тургаем, где-то по буровым мотается Быстров — смеется, поет, ругает начальство, клянется, что уйдет из этой хляби, из этой ненасытной прорвы-геологии. У него начали сесть виски, хотя его по-прежнему зовут Геней. Остается здесь и Модест Синюткин, Геннадий Опанасенко — однокашник Ровнина, подбирается к диссертации Карагодин.

Трест перерос в управление, расширились площади, весомее становились объемы, росли люди. Ровнин становится главным геологом управления, Львом Ивановичем. Он пополнил, углубились заливы-залысины, у него плохо с сердцем, чуть получше с нефтью. Никонов лезет в драки, отыскивая факты глубинного неорганического происхождения нефти. У него накопилось около двух десятков работ. Но саратовцы уже были другие...

Почти все страны открывались разбойниками, флибустьерами и авантюристами; многие забытые страны вынуты из песков, подняты со дна морей, угаданы по обломку меча, по черепку глиняного сосуда; о некоторых из них доходили легенды из древних темных книг.

Огромный, нечеловечески огромный материк, никому не ведомый и никем не открываемый, так долго и сонно покоился между Обью и Енисеем, под темной подошвой Урала. Завораживающе неизведанная страна, как будто бы бесплодная, как будто мертвая, залегла под пластами веков, под гнусом, под дикостью, разливами рек и пожарищ, лежала дремотно и глухо, никем не опознанная и неугаданная.

На дыбы поднят вновь открытый материк. Молодая северная страна нефти вынута из-под тихого полусна болот. Она угадалась геологами, как новая биография, и тут же создана ими, трепетная от новизны.

Открытие нефти и газа переросло пределы Тюменской области. Оно переросло пределы страны и звучит сейчас как явление мировой важности, что возвращена и отдана жизни самая крупная нефтегазоносная провинция мира, ибо расшифрована история огромной, доселе затерянной страны — Тюменской области.

Молодая страна между Обью и Енисеем создана молодыми. Она и угадывалась, и вдруг терялась и нащупывалась еще слепыми руками, она именно рождалась из молодости, рождалась ее болью и радостью, отчаянием и надеждами, тяжелыми тропами, на которых надрывается сердце и

рождается вера, где человек обнажается, как скала, что разрушает ветер. Она открывалась шаг за шагом, оборвавшимися тропами, потерявшим следом, открывалась медленно, но неуловимо, угадывалась осторожно, но дерзко. Ибо геология, как айсберг, показывает всегда лишь одну восьмую часть своего тела. И как все новое, молодая страна потребовала и жертв, и подлинного мужества и борьбы. Она потребовала ума и таланта... очень много, так много человеческого чувства и иных отношений людей. И это все явилось...

Пятьдесят лет безраздельно владеет умами геологов гипотеза органического происхождения нефти. Господствуя, она вырабатывает методы и критерии поисков, и они являются компасом в сложной среде ориентирования. Но компас ошибается и крутится-вертится безглазо среди магнитных полей, под лавиной магнитных бурь. Ведь начиная поиск, мы не знаем его конца и, выбирая прямую дорогу, уходим в лабиринт. Да, методы органической гипотезы позволили открыть все имеющиеся месторождения, но и приоткрыли столько тупиков, замурованных подземелий и лабиринтов, поставили тысячи вопросов.

За полстолетия гипотеза незаметно канонизируется, ее классический, эллинский вариант модернизируется, приобретая современный облик. Ее последователи лишь спрямляют русла, отсекая молодые притоки, постепенно — ведь было столько блестящих удач! — переводят гипотезу в ранг теории. А теория — это уже закон. Закономерности — в закон? Признаки — в критерии? А критерии — в методы? Немного странно. Гипотеза всегда наступательна, ибо она — поиск. Она может быть авантюрной, агрессивной, демагогичной, если рождается лишь в воображении до опыта, без эксперимента, без логических посылок. Но если юная гипотеза рождается в недрах предшествующей, в лоне ее, и вскармливается ею, то рождение гипотезы не только закономерно, но оно просто неизбежно.

И еще один факт и немаловажный. Гипотеза органического происхождения сама себя превратила в неприступную крепость. Но любая крепость являет собой оборону и легкие, не пугающие противника, вылазки.

К шестидесятым годам органическая гипотеза — модернизированный Эллинский храм — не могла направить эффектный поиск нефти при оптимальных затратах.

И наступило время, когда Ровнин не знал, куда идти — на север или на запад. Ученые тянут на юг, в степи — «махнем». Появились группы, группки, группировки. Всем стало ясно — если одна платформа тянет на Север, другая на Восток, нужно пересмотреть взгляды, отыскать критерии, взять новейшее научное вооружение. Нужен простор в мастерской, а для этого необходимо выбросить старую, громоздкую мебель, хоть она в стиле Луи и ампир. Выбросить-то страшно, — с места на место перевозится она, такая привычная и близкая сердцу.

Но в жизни есть прекрасный момент — всегда были и останутся еретики. При любой религии, догме, при любом боге рождаются еретики и, будучи еще неумелыми, будто бы никчемными, они побеждали силой свое-

го видения, своим проникновением в отточенную совершенством конструкцию мира или в конце-концов, костром, что раскидывают под ними жрецы. Так устроен мир — догму раскалывают еретики.

Николай Александрович Кудрявцев тридцать лет разделял и утверждал позиции органики. За его плечами Сибирь, Кавказ, Дальний Восток, Сахалин, десятки месторождений, тысячи метров поднятого с глубин керна, сотни и сотни карт глубинных горизонтов. Тридцать лет... половина человеческой жизни, причем творческой, осмысленной половины.

Гипотеза Губкина, объясняя происхождение нефти, условия ее залегания в ловушках, никак не может расшифровать ее материнский субстрат, ее первосуть. И Кудрявцев выдвигает гипотезу глубинного неорганического происхождения нефти, гипотезу магматического рождения ее, суть которой в том, что нефть рождалась вместе с землей, когда еще не было ни травы, ни букашки, когда еще зарождался белок в горячем бульоне океанов, — то есть нефть такой же минерал, как свинец, уран, как соли ртути и мышьяка. Магма, расплавленная магма, на которой мы плывем на тоненьких плотах материков — мать нефти. По глубинным зияющим разломам нефть поднимается из чрева земли, через толщу гранитов, диабазов и накапливается в ловушках, в куполах и сводах складок. Значит, геологу нужно искать зоны глубинных разломов, напряженнейшие участки земной коры? Конечно. Связь нефтеносности с такими разломами доказана на Украине, в Средней Азии. Нефтяные месторождения открыты в зонах глубинных разломов Пуровской и Юганской систем, а также Шаимского глубинного разлома.

Занимаясь геохимией нефти и газа, Никонов незаметно для себя подходит к неорганической гипотезе. Его работы о гелии, об азоте, о глубинных разломах определяются логикой исследователя. Никонов становится яростным последователем Кудрявцева, и не только сторонником. Он разрабатывает проблему гелия, что образуется при распадах урана и тория.

— «У сторонников органического происхождения все реакции возникновения нефти предположительны, — говорит Никонов, — экспериментального же материала, подтверждающего их теорию, нет. В настоящее время во многих странах удалось в результате неорганического синтеза получить все остальные углеводороды нефти».

Теперь Никонов не взрывался и не разрывал себя в лоскуты, его страстность, взнуданная опытом, перешла в натиск, оговоренный неумолимостью факта, математической статистикой. Он не бушует теперь, не гремит, а оттачивает факт для того, чтобы вскрыть раковину, где прячется жемчужина.

Где-то, на какой-то еще никем неуловимой плоскости, в новейшей, только что рожденной и еще не устоявшейся среде, наука соприкасается с искусством, принимает грань искусства, и ученый сам того не ведает, как одушевляет, одухотворяет голый факт. Мысль приобретает чувство, а значит и жизнь. Считают, что научное мышление ниже художественного, образного, что оно менее человечно, суше, бесчувственнее. Но ведь тот,

кто не поднимается к искусству, никогда не станет ученым, ибо основа — одна. И когда наука сливается или достигает грани искусства, ученый становится исследователем и, следовательно, преобразователем.

Геология — ремесло, правильно. Она еще не выросла до науки, до математического выражения процессов. И долго останется ремеслом, ибо мы ограничены в эксперименте — мы никак еще не можем воспроизвести извержение вулкана, его рождение и кульминацию, не можем создать всемирный потоп и гибель Гондваны, образование гор и морей. Но жизнь Земли — это наша жизнь, жизнь оленя, волка, амебы, яблони и хвои, это жизнь кибернетических машин и плазмы, магмы и воды. Геология еще ремесло, рукомесло и это правда, и тонкие чуткие приборы, сделанные нашей же рукой еще не могут ничего изменить, и пока мы только поднимаемся до науки и не можем сравниться с искусством.

«Нет, не ремесло! — утверждает Никонов, — уже давно не ремесло, уже наука, но еще не искусство».

Никонова били свои, чтобы чужие боялись. А «чужие» вчитывались в его работы, спорили с ним или соглашались, потому что речь идет не о нормушках, а о науке. Его бьют, а он поднимается, потому что он еретик, потому что он язычник, а язычник воздвигает богов для того, чтобы их свергнуть.

Вместе с Никоновым, в его лаборатории геохимии над проблемой гелия работает Гелий Опанасенко, однокашник Ровнина.

Трудно неорганикам. Военное правило гласит, чтобы разрушить оборону, атакующий должен быть впятеро — всемеро многочисленнее и вооруженней обороняющегося. А органика такая крепость, которую не взять хитростью и вероломством, которую не взять осадой на измор, а это та крепость, что враз выбросит белый флаг перед совершенной гипотезой. Сейчас флаг побелел. Никонов не мечется из угла в угол, не мается по пустыкам, в нем явилась та лаконичность и глубинность мысли, что отличает исследователя — конкретность, многоплановость, объемный аспект и одухотворенность. Никонов участник почти всех дискуссий, что поднимались сторонниками органической и неорганической школ, гость Всемирного газового конгресса в Гамбурге 1967 года, его работы публикуют зарубежные журналы, с ненасытным интересом следящие за поисками сибирских геологов. Последнее время Владислав занимается вопросами рациональной доразведки северных гигантов — Медвежьего и Уренгоя. За счет оптимального размещения скважин, а отсюда — доразведки и эксплуатации, можно сэкономить не менее 200 млн. рублей, а на одном Медвежьем годская экономия составит около 4 млн. рублей.

Неорганическим происхождением нефти и сферой проблем, связанных с ее глубинным зарождением, занимается в Тюменском индустриальном институте Петр Елизарович Харитонов, зав. кафедрой нефти и газа, и бывший декан геологического факультета Саратовского университета. В Саратове он руководил кафедрой нефти и газа, и первые его работы были посвящены изучению соляно-купольной тектоники Эмбы, он изучал



Эльтон и Баскунчак, и теперь здесь, в необъятности Тюменщины, он пытается проникнуть в первооснову — в глубинность рождения нефти. Неторопливо и, на первый взгляд, медлительно он подходил к карте нефтегазоносных провинций, на крутой шее крупная голова, и откидывал он ее, поправляя волосы и приглушая баритон, всматривался в нас светлыми, голубовато-серыми глазами — весь такой крупный, литой, широколицый и до бесконечности добродушный. Мягко кругля по-волжски, безо всякого занудства, будто открывал широкую ладонь, он показывает притаившуюся там диковинку, и сам продолжает поражаться, и голубеют его глаза, и становишься таким доверчивым к нему, потому что тот не потерял способности изумляться. Объясняя нефть, великое таинство ее рождения, загадочность, мерцающую непостижимость ее развития во времени, Харитонов увлекался настолько, что говорит о ней, как о живом существе, как о странной и недоступной женщине, и это так здорово! Но то не язычество, не идолопоклонство, не трепет дикаря перед всемогуществом огня и гипнотизирующей силой стихий, нет, то было поклонение Делу, восхищение и азарт схватки с сильным противником. Из тиши кафедры Харитонов приходит сюда, в Тюмень, где рождалось и создавалось открытие века. Теперь уже не кажется странным, и это, вероятно, закономерность времени: на периферии (на переднем крае производства) уровень науки выше, чем в академических оазисах, она здесь страстнее и горячее, ибо приближается к истокам производства, насыщаясь актуальностью и пульсом. И действительно — кандидатами наук становятся Карагодин, Ровнин, Левина, Суетнова, Мизинов, сейчас защищает докторскую диссертацию Никонов, одним из ведущих нефтяников страны является доктор наук Лев Ровнин.

Полярный круг трещит от стужи. Он проходит через Салехард, невидимый и явный, отбрасывая в Заполярье Ангальский Мыс — базу Ямало-Ненецкой экспедиции. Полярный Круг проходит через Салехард темной ночью, жгучим ветром, фееричностью сияний, воем пурги и длинной-длинной зимой. Только в ясные дни виден Рай-Из — крутоплечий хребтина, закаменелый в своей древности и службе. А в тепле и тесноте камералки, под коротким миганием дней, над микроскопами и приборами, над профилями и картами склоняются геологи-саратовцы — степняки, геологи-рудники. А весной, как только растают снега и над поселками и городами потянутся первые стаи, как только распухнет клейкий лист в прозрачной белой ночи, геолог становится на тропу «поля», уводящую на Полярный Урал, на поиски меди, хромитов, бокситов, на поиски свинца, угля и «редких земель». Каждую весну в порожистые долины Урала уходит Коркин, Воронов, Ковальчук, Затонский, а на низменности, среди болот не прекращает поиск нефти Виктор Бутусов, сейсмик Галунский, Илья Могилевич. Они — солдаты и не прячут ни от кого мужественного сурового сознания своей нужности. Не стонут, когда грызут мерзлую, такую дикую первобытную землю, землю мамонтов и Полярной звезды. Не стонут, когда падают лицом в болота, когда стервенеют глаза, когда тяжелеют руки, когда они пьют и когда плачут. Солдату тоже можно плакать, чтобы стать силь-

нее. И, как солдаты, они кричат от ран, наливаясь гневом от душевной боли, и, как солдаты, они принимают правду лицо к лицу. Их любят женщины, им могут изменить жены, их иногда не ждет дом.

И не спрячешь никуда солдатское, не затаишь его. Оно проросло навсквозь нас и пребывает во всем — в прокуренных усах, в густом запахе махорки, в прожженной у костров одежде, в том же котелке каши на двоих, в одной палатке на всех, в тех же просоленных портянках, в тех же маршах-маршрутах — в непогоду, в слякоть, в снег.

...Из далека-долга течет  
река Волга,  
Течет река Волга, конца и края нет...

Лев Ровнин, Альберт Юдин как первооткрыватели удостоены Ленинской премии. Модесту Синюткину присваивается звание «Заслуженного геолога РСФСР». — он успел поработать в ГДР; вернулся с Кубы Галунский, Геннадий Быстров руководит Тазовской экспедицией, Николай Мизинов — крупнейшим главком на Волге.

Лев Иванович Ровнин — доктор геолого-минералогических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, сейчас — министр геологии РСФСР.

Около двадцати аспирантов и десять ученых степеней — таков итог деятельности саратовских парней. Выросли саратовцы на трудной сибирской земле, росли медленно, тяжело — кто стал мужчиной, кто главным геологом — какая разница? Тюменская земля открыла перед ними душу, ибо они согрели ее, привязала их крепко-накрепко как тз, своя волжская земля, на которой мы родились и выросли. И здесь у всех родились дети — они стали сибиряками.

И только, когда набегут степные ветры и отдаст вдруг полынью, и станет горьковато и сухо во рту... у саратовцев, больших и малых, вздрагивает сердце. Просто к ним близко подходит Родина, Волга, степные курганы, над которыми страстно и гордо клекочут беркуты...

РОСТИСЛАВ ФИЛИППОВ

## СТИХИ О ВЪЕЗДЕ В ТЮМЕНЬ

Такого сроду не видал я лично,  
чтоб хмурый парень, вымокший сполна,  
по слякоти, с лицом меланхоличным  
вел через мост—о господи!—слона.  
Виденье из вечернего тумана!  
Тут, верно, каждый был бы удивлен.  
Действительно, все это как-то странно:  
Сибирь, Тюмень, холодный дождь и...  
слон!

А после рассудил я так: ну что же  
тут удивляться? Истина ясна—  
тот, кто владеет морем нефти, может  
заполучить не только что слона.  
Слон—это в шутку, граждане Тюмени!  
Хотя и был на самом деле он...  
А правда в том, что вы уже сумели  
прославиться на тысячу сторон.  
Сам я впервые возле ваших вышек.  
Но все же смог уже давно понять,  
что если нам войной грозят потише,  
то в том у вас заслуги не отнять.  
Вот нынче в мире окна потеплели.  
И у меня опять сомнений нет,  
что это вы трудов не пожалели,  
что согревает мир и ваша нефть.  
Все это так. Но вечером, в ненастье,  
въезжая в город, вдруг подумал я—  
не только нефть ему нужна для счастья.  
Оно и верно, милые друзья!

А что еще? Нужны, я вам отвечу,  
и солнце, и цветок, и окоем,  
и слово дружелюбное навстречу,  
и дом нарядный, и согласие в нем.  
Вон под дождем влюбленные гуляют.  
Никто из них от непогод не сник.  
Гуляют, никого не замечают.  
Прекрасно! Как же городу без них?  
И доброта для счастья не помеха.  
Ваш город добр, я вижу по всему.  
И если со стихами я приехал,  
выходит, и стихи нужны ему.  
И даже слон ваш тихий и забавный,  
который в зоопарке поселен,  
для счастья, может быть, момент не  
главный,  
а все ж для счастья нужен нам и слон!  
Я много езжу. Может, даже слишком.  
И подтверждаю—славит вас страна.  
Спасибо Вам. Спасибо вашим вышкам.  
И от меня спасибо—за слона!

г. Чита

**РАИСА АХМАТОВА**

## **КОНЕК-ГОРБУНОК**

Гуляют сказки по земле Ершова,  
Дорожки детства расстелив у ног,  
И серебрится месяц, как подкова,  
Которой был подкован горбунок.

И кажется — полжизни не минуло.  
И все сначала я начать должна...  
Девчонка из чеченского аула,  
Я русской сказкою поражена.

В моей Чечне прекрасны были кони,  
Но я ждала, минуты, дни, века,  
Что среди всех коней на горном склоне  
Увижу я однажды горбунка.

Ершов-умелец, сказочник, волшебник,  
Умеющий полмира одарить.  
Он подарил мне сказку, как учебник.  
Чтоб я училась чудеса творить.

У сказки той была дорога длинной  
Сквозь расстояния и времена,  
И все народы радостью единой  
Навек умела связывать она.

Я вспоминаю давний вечер снова:  
Аул, Аргун шумит невдалеке...  
И мама говорит стихи Ершова  
Мне на волшебном русском языке.

**Перевод с чеченского ИРИНЫ ОЗЕРОВОЙ.**

**КУТБИ КИРОМ**

## **У ПАМЯТНИКА ЕРМАКУ**

Сегодня я — великий властелин,  
Всевластен от Сибири до Памира,  
Из рудников, из глубины тайги  
Весть о рассвете посылаю миру.

Весть от лесов, что стали для людей  
Высокими дворцами, кораблями,  
Что стали между двух больших Миров  
Широкими надежными мостами.

Сегодня я, великий властелин,  
Всех декабристов я освобождаю,  
Седлаю я ершовского конька  
И всех влюбленных сам соединяю.

Простится мне самоуправство это  
Над временем, пространством и над  
светом,—

Мгновенье это, если б не узнал.  
То никогда и не был бы поэтом

Я рядом с Ермаком... Я вижу мир!..  
Мне стала вдруг подвластна вся  
планета...

В сибирских травах, в горсточке земли  
Увидел я мир, полный сил и света.

**Перевел с таджикского Валерий БЕРДЗНЕВ.**

МИХАИЛ ХОНИНОВ

## КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ

Моим друзьям тюменцам посвящаю...

Когда бы я чай вам  
калмыцкий варил,  
Такой бы котел на огонь взгромоздил,  
Чтоб все пиалы моей  
южной земли  
Мы чаем калмыцким  
наполнить смогли.

Когда бы я чай вам  
калмыцкий варил,  
Такой бы костер я для вас  
запалил  
Из жарких, из звонких  
сибирских берез,  
Чтоб яркое пламя взлетало  
до звезд.

Я взял бы воды  
не в колодцах степных,  
Я взял бы ее из озер  
голубых,  
Из речек таежных  
с настоем травы,  
Таких же широких  
и щедрых, как вы.

А воду бы брал я в котел  
свой хитро:  
Из каждой реки  
приносил бы ведро,

Чтоб был всесоюзен  
    мой чай в пиале,  
Как вы, всесоюзны  
    на этой земле.  
Я влил бы густого  
    в котел молока,  
Приправил бы солью  
    на вкус степняка,  
Окрасил бы солнечным  
    жарким лучом.  
Чтоб солнце степное  
    искрилось бы в нем,  
Как светится бронза  
    на смуглых щеках  
У девушек наших  
    в калмыцких степях.  
Я чай бы поднес вам  
    в такой пиале,  
Как в старых легендах  
    на нашей земле,  
Когда угощали батыров своих—  
Соратников Джангра  
    в кибитках степных:  
По семьдесят два человека несли  
Ту чашу, сгибаясь до самой земли.  
Но брал богатырь и легко осушал  
И семьдесят раз ее вновь наполнял.  
Так пейте, тюменцы,  
    из рук степняка.  
Я знаю, у вас не согнется рука!  
Мой чай, он от жажды  
    избавит вас в зной,  
    Мой чай, он вам души  
    согреет зимой.  
Так пейте его  
    на здоровье—мой чай,  
И счастливы будьте,  
    как счастлив ваш край!

Перевел с калмыцкого  
А. СМОЛЬНИКОВ.



**ЛЕВ СОРОКИН**

## **МЕТЕЛЬ**

У Полярного круга  
Гудит параллель,  
Не сдержатъ ей ветров  
Ледяного кипенья,  
Обязались вагончики,  
Видя метель,  
Как надежной веревкой,  
Трубой отопленья.

Низкорослые сосны  
Шумят за окном,  
Как штыки, приподняв  
Свои редкие ветки.  
А начальник участка  
Затих за столом —  
Вспомнил, как он ушел  
В сорок первом  
В разведку.

Разве можно пробиться  
Сквозь годы назад?  
Но прожектором память —  
На взгорьях покатых,  
Где безусые парни  
Недвижно лежат,  
Словно в саванах белых,  
В своих маскхалатах.

Так же ветры  
В атаку  
Водила метель,  
Но она не скрывала  
От выстрелов метких.  
Снял начальник давно  
Фронттовую шинель,  
Но еще не вернулся  
Домой из разведки.

Край передний —  
У каждого времени свой.  
И кому-то быть  
Первыми  
Необходимо.  
Первым вел он строителей  
Под Бухарой,  
Первым вышел  
На тающий берег Казыма...

Где-то «МАЗ» загудел:  
Сел на снежную мель,  
Но окно у вагончика  
Все побелело.  
И начальник участка  
Выходит в метель —  
Быть разведчиком века —  
Нелегкое дело.

г. Свердловск.

АНАТОЛИЙ КУКАРСКИЙ

# ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ

ПОВЕСТЬ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1.

Еще совсем недавно реку можно было только угадать по безжизненной и плоской поверхности снегов — без единого деревца, без единого кустика. Бударки, неводники и поленницы дров, заготовленных из плавника хозяевами, которых еще не призвала война, напрочь замело февральскими выюгами.

Катера, плашкоуты, паузки намертво вросли в лед, утратили остатки тяжеловатого изящества речных рабочих судов. Они скорее походили на бараки рыбзаводовского поселка. И сходство это довершал жидкий дымок, метавшийся возле жестяных труб, торчавших из стылых, как бельма, иллюминаторов.

Река полгода служила единственной дорогой, которая связывала Кедровое с остальным миром. Полгода она же и отгораживала от мира.

Редко-редко появлялся зимой в Кедровом свежий человек. Но если и появлялся, то был это человек сугубо государственный, командированный в районные организации из окружного, реже из областного центра. И «обществу» оставалось только гадать, зачем приехал представитель и что впоследствии за этим.

Райком был недалеко от конюховки. В длинном бараке помещалась не только конюховка, но и столярка, и мастерская по ремонту двигателей с двух катеров рыболовпотребсоюза, а поскольку барак стоял на территории конного двора, то и назывался он конюховский, и хотя райком был недалеко от конюховки, непосредственной связи между ними не существо-

вало. И, следовательно, самая малая осведомленность открывала простор самым обширным домыслам.

— Серьезный из себя мужчина. Блюдет авторитет, — начинает Филька Бадьин. Седьмой десяток — все Филька, поскольку враль несусветный. И поскольку авторитет у него — большое место, все Филькины незнакомые знакомцы блюдут авторитет.

— Тебе про авторитет откудова известно? — жмурится сквозь махорочный дым конюх Ефим Самоловов.

— А как же не известно? Известно. Здравствуйте, говорю, а он отвернулся, только пенсня вössияла.

— Ково?

— Пенсня, говорю. Гляделки, как у Манаенни-фершала... Взгляд сурьезный. Этот нашему Типсину задницу прищемит.

— У тебя все председателю задницу прищемляют, — лениво отзывается моторист и механик и вообще мастер на все руки Петро Загайнов, — а она у него уже в кресло не влазит. Тебе, Бирюк, на новое кресло еще наряд не выписывали?

Столяр Бирюк, тощий, лысый, с унылым вислым носом, деловито информирует:

— Ни. Чего нема, того нема, — и, подумав, повторяет: — Чего нема, того нема.

— Этот разберется, — не унимается Филька, — наче пошто такой сурьезный? Чай, в пенснях видно: рыбаки стегна у майн морозят, а начальство в меховых штанах пстомство выпариват. А он по столу кулаком: мать вашу перемать, пузаны бесстыжие! Мы кровь за вас проливаам, а вы...

— Так прямо кулаком?

— Кулаком!

— По столу?

— По столу! — пуще прежнего распаляется Филька...

Да, редко приезжает зимой в Кедровое свежий человек. И если приезжает какой представитель, то мало кто знает, зачем.

Но река, спрятавшая подо льдом живое течение, прервав живое соседство кедровцев с остальным миром, не отгораживала их — не в силах была отгородить! — от бурь, которые вот уже скоро год потрясали планету.

Тарелки репродукторов, тревожно дребезжа, будто их достигали взрывные волны, каждый день называли и называли города, оставленные нашими войсками. Черная тарелка репродуктора... Как страшно было в том ноябре ждать по утрам: заговоришь или нет? И как оживала душа, когда сквозь потрескивание слышался знакомый голос: «Говорит Москва!»

Медленно доходили «по веревочке» до Кедрового солдатские треугольники.

Каждое утро, если не было пурги, центральная улица оглашалась заливчатыми колокольчиками, которые умолкали у высокого крыльца почты: пришла «веревочка» с понизовья — три-четыре подводы.

Вечерами звон колокольчиков, удаляясь, замирал за Расчищенной горой: «веревочка» тянулась обратно на понизовье со стороны Большого Камня.

От деревни к деревне, от поселка к поселку, меняя возниц и коней, тащилась в Кедровое почта первой военной зимы.

Но господи! Как же быстро долетали с войны сюда, за тридевять земель, долетали, сохранив всю убойную силу, безжалостные осколки в виде серых казенных конвертов! И вот уже во дворе Варвары Кузнецовой бьется безысходный задыхающийся крик: «На кого ты нас покинул!..» Таисья Павловна Разумова пришла на урок с глазами, провалившимися за одну ночь, и лицом, опавшим так, будто долго-долго лежала при смерти.

А люди, чей дом покамест миновала беда, со страхом и надеждой смотрели на Лушку-почтальонку. И собаки, будто чуя недоброе, злобно и тоскливо метались в оградах, когда она сворачивала к калитке.

## 2.

Еще совсем недавно безжизненно-белой и безмолвной была река. И только проруби, где брали воду и поили коней, огражденные от заносов воткнутыми в снег молодыми елочками, давали знать, что река не умерла, что она жива и лишь дремлет до поры до времени. А к Кедровому между делом незаметно прокрадывалась настырная северная весна.

Во второй половине марта попржижали морозы. Но, объединясь в одну непонятную артель с высоко взобравшимся солнцем, они испаряли снег. Сугробы серели, становились игольчатыми, хрупкими. И от морозного испарения слегка подирало в носу, будто воздух был чуток приправлен нашатырным спиртом.

Солнце с каждым днем все выше и круче взбиралось на небо, сгоняло с него тусклость и, наконец, перевалило ту границу, до которой могло только холодно слепить глаза.

Это случилось внезапно.

В один из полдней от солнца потянуло таким густым теплом, что в одночасье вспотели дороги, на глазах стали обтаивать навозные кучи на огородах, а с крыш посыпалась ослепительная и оглушительно звонкая капельная дробь. Небо из блекло-голубого стало яростно синим, слегка впрозолоть и впрозелень, будто впитало певучую прозрачность пробуждающейся воды.

Вода, вешняя живая вода, сперва незаметно и беззвучно накапливалась под толщею оплавленных сугробов, лукаво и несмело поблескивала, сочась на уклонах дорог. Она выжидала подходящий момент, чтобы взорваться на тысячи ликующих потоков, броситься, сломя голову, с крутояров и грив, затопляя лога и выталкивая из берегов тихонравные таежные речки. На протяжении многих сотен километров пробуждались берега реки, выплескивая потоки, ручьи, ручейки на еще неподточенный тающим лед.

Стихия рвалась к стихии.

Еще случались мутные метельные дни. Еще потрескивали заморозки. Но все это не в силах было остановить разрушения зимы.

Стихия стремилась соединиться со стихией. И когда это произошло, река оказалась накануне лодохода.

С каждым часом все шире становились темные забереги. Почерневшая под солнцем дорога к заливному левобережью жирно перечеркивала изъязвленный лед. И высокое солнце, которое теперь уже не спешило спрятаться за зубчатую стену тайги, казалось, пронизывало навывлет все, что было доступно его глазам.

И вот однажды светлой лунной полночью река заворочалась, завдыхала и неожиданно резко и гулко хрястнула, да так, что по всему Кедровому взлаяли псы. А утром кедровцы увидели, что дорога через реку переломлена у самого берега. Ее начало с Кузнецовского взвоза сбегало в темную промоину, а продолжение на льду сдвинулось вправо, как часовая стрелка. И в самом деле — этот сдвиг дороги показывал время...

### 3.

Ваньша пробудился от ощущения полета. В последнее время он почему-то всегда пробуждался так. «Растешь», — объясняла бабка Оня. Она все знала — умела распутывать самые нелепые сны, гадать по руже, по левой, что от сердца, предсказывать на картах. В душах она читала, а по печатному не могла. Но полный цыганский набор и семьдесят лет крестьянского опыта вполне заменяли ей грамоту.

Ваньша, чуя тепло солнечного луча на стриженном затылке, медленно разлепил веки. Ему приятно было увидеть то, что он обязательно должен был увидеть: по маленькому коврику на стене, как и всегда, в любое время года и в любое время суток, катился на коньках мальчишка, примерно, Ваньшиных лет. Нет, пожалуй, сейчас конькобежец становился младше. Ваньша рос, а он, выцветая на холстике, прозрачнел.

Ваньша прислушался — не столько к звукам в доме, сколько к себе. Звон ухвата и печных листов, голоса бабки Они и матери на кухне медленно и покойно вливались в него, как тот солнечный луч из-за шторы, который теплел на затылке.

Сегодня первое мая, осознал Ваньша. Праздник! И еще — день рождения. В такое утро и нельзя просыпаться иначе, как оттого, что летишь... Нет, не было в нем этих слов. Да он бы и не мог рассказать, что чувствует.

— Ваньша, Вставай пришел!

— Гони его, Бабоня!

— Не уходит. Дровец, баит, принести надо. Печку затоплять время.

— Чичас сам его прогоню!

— Ну, тони, гони, да скорее!

Ваньша любит, когда топят не плиту, а русскую печь. Когда Бабоня

убирает заслонку, сводчатое жерло печи открывается таинственной пещерой. Она полна неожиданностей. Когда на прошлое рождество затопили русскую печь и дрова охватило пламя, оттуда с воплем вылетела нечистая сила. Ваньша обомлел, а Бабоня спешно клала крестное знаменье. Нечистая сила молнией вонзилась в кошачий лаз. И только дня через два полосатый, похожий на игрушечного тигра Котька высунул оттуда подланные усы.

Ваньше нравится смотреть, как вырастает маленький язычок огня над лучком лучины. Язычок робко лижет березовые поленья, и торцы их вкусно кипят. Язычок входит в аппетит. Он растет. Он слизывает кипящую пену и, обжигаясь, скользит в чувал, чтобы, остыв там, снова лизать поленья...

Гремя сосулькой рукомойника, Ваньша улавливает обрывки разговора:

— Лонись Варька Кузнецова забегала... — это Бабоня.

—...Какое твое дело? — это мать.

—...Баит, письмо... Как опосля похоронной — письмо? Погадай, Анисья Васильевна...

— Нагадала?

Ваньша по голосу представляет сухую усмешку матери.

—...Выпал... червонный король...

— У тебя всем выпадает... Тебе бы за всю Россию гадать...

— Так... жалко, Павлуня.

Ваньша подныривает под занавеску. Бабка и мать за большим обеденным столом хмуро лепят из теста веселые финтифлюшки.

— Мам, баб, я дровец притащу!

— Неси, именинник...

— По многу не хватай, — это Бабоня.

Через сумрачные сени Ваньша выскакивает во двор. Бишка — пес чуть больше Котьки, не то черно-белый, не то бело-черный, в общем, пестрый, неведомо откуда взявшимся роскошным басом приветствует своего хозяина и покровителя. Он прыгает и старается достать до Ваньшиного носа длинным языком.

— А выговори, а выговори, выговли, — запутавшись в «р», смеется Ваньша, — сахару дам!

От поленицы, нагретой солнцем, пахнет тайгой, и Ваньша невольно смотрит туда, где за Кержацким логом поднимаются холмы в темном кедраче и в голубых пятнах — следах зимних метелей, что остались в затененных местах.

— Бишка, а что написано в книжке?! — кричит Ваньша.

— Смотришь в книгу, а видишь фигу, — меланхолично отвечает ему праздничное утро. Ваньша оборачивается на замогильный голос и видит в узком проеме приоткрытых ворот желтый и остро враждебный глаз Саньки-Кысы.

— Городская вошь, куда ползешь? — равнодушно интересуется Кыса, всплывая лицом над калиткой.

Ваньша швыряет полено. Санькино лицо исчезает. Полено грохает в ворота, как в барабан. Схватив другое полено, Ваньша бежит к воротам.

— Прекрати! — мать на крыльце, гневная, чужая. — Прекрати сейчас же, хулиган!

— Пионер, пионер, красные сапожки!

Не тебя ли, пионер, обдрали кошки! — ехидно доносится из-за ворот, быстро затихая.

— А он... — тянет Ваньша.

— А я не про него, я про тебя. Как тебе не стыдно?.. И в кого ты без отца превратился?..

— Паня, тесто лезет, — появляется Бабоня.

Мать уходит в дом.

— Ты кто? Ты нечистый дух, — объявляет Бабоня. — Охломон. Баболка из тебя выйдет, как Филька-конюх.

Набрав беремья дров, сколько вошло в руки, Ваньша прошмыгнул на кухню и свалил их на лист жести, возле топки.

— Еще принести?

— Иди уж, — проворчала Бабоня, и Ваньша выскочил из дому.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1.

За что Саньку Косырина прозвали Кысой, в точности никто не сказал бы, но поводов к тому было сколь угодно: желтые с зеленцой дерзкие глаза, круглая котячья физиономия с ушами торчком, рыжеватые, давно не стриженные лохмы. И ходил он мягко и в то же время упруго — будто кот крадется к сметане. В общем, Кыса.

Был еще у него брат — на год постарше, но он прошлой осенью, когда отца взяли на войну, подался в Тобольск, в фезеушники.

За первую военную зиму Санька окончательно отбилась от школы и от материнских рук. Тащил, что ни попадись, сбывал елейному старичку Шарову за махру, за рыболовные крючки, за звонкую мелочь, а что не годилось Шарову — приспособлял в своем хозяйстве. К середине зимы Санька повадился в тайгу и так насобачился чистить петли на заячьих тропях, что мужики не знали, что и подумать.

Мать Санькина, Лимпиада, попыталась подступиться к Саньке, но оробела перед злым молчаливым сопротивлением. А когда младшой стал притаскивать домой таежную свежатинку, порадовалась даже: добытчик, кормилец. И теперь уже безотчетливо стремилась не столько приструнить сына, сколько опереться на него, потому как всегда опиралась на кого-нибудь. В девках — на прочную основу родительского благополучия. Потом, когда вышла за Максима, была за ним, всегда удачливым и добычливым, как за каменной стеной.



Максим Косырин не занимал сколько-нибудь значительных в масштабах Кедрового должностей и не ходил в активистах. При известном желании он бы мог править мастерскими рыболовпотребсоюза — умения и опыта хватало бы. Его не раз приглашал Продан на лесопилку — заведовать. Но Максим отказался. Все это ему было ни к чему, поскольку песя он не о престиже, а о том пятачке земли, на котором стоял его дом. Ему не надобна была портфельная власть над десятком таких же, как он, мужиков. Ему нужны были «спокой и время».

«Спокоем» он обозначал свое неотъемлемое право распоряжаться собой единолично. А время — это было то, что давало возможность заняться делом, ему угодным и полезным. Спокой и время ни разу не подвели Максима. Кем бы он ни числился — слесарем, молотобойцем, мотористом и даже старшиной катера, он имел спокой, а также и время.

Однако полного соответствия все-таки не получалось. Времени было больше, чем спокой. Это было, как гвоздь в сапоге. И если Шаров, заходя по-соседски, интересовался:

— Хозяин дома? — Максим начинал ворчать:

— Хозяин... Хозяин... Кто телерича себе хозяин? Лонись шишки у Лосинога болота полкузова настукал, на объездчика натакался. Где, грит, билет? Дома, грю... А штрафу, грит, не хошь? Раз билет дома, так и шишку дома бей.

— Да-а...

— Вот тебе и да... Придумали билеты... В тайге, как в кине... Шишку бить — билет, дрова ставить — билет. Скоро в нужник без билета не сходишь. Ране слыхивать такого не приходилось. Тайга — она обчая. Хошь — бери, не хошь — не бери, а что взял, то твое.

Санька прислушивался к этим разговорам и тоже не мог понять: почему это на заготовку «всехных» кедровых орехов, дров, лосятины надо было покупать билет, как на картину в клуб, хотя и на картину для Саньки такая покупка была не обязательна: он ухитрялся проникнуть за так.

Для Саньки было очень важно — прав его отец или нет. С одной стороны, Санька был склонен думать (и поступать) так же, как и отец. С другой стороны, он ясно видел, что отца недолюбливали в Кедровом, и на своем затылке чувствовал холодок взглядов. Как-то он спросил даже учительницу:

— Лизавета Михална, а почему за всехные шишки билет покупать надо?

— Потому что вся земля и весь лес принадлежат государству. Ведь в магазине за все нужно платить? Верно?

— Верно.

— А магазин государственный.

— Так то магазин...

— А какая разница?

— Так на тайгу замок не повесишь... А почему тогда за грибы и ягоды билет покупать не надо?

Учительница не знала этого. Кроме того, она была очень молода, чтобы признаться, что не знала, и она строго сказала:

— Ты еще не поймешь. Лучше исправь «очень плохо» по арифметике.

Санька обиделся: «Не поймешь!» Что он — Федька Нураллиев, который, отсидев три года во втором классе, возил сейчас воду на старой сельской кляче?

Особенно его уязвило упоминание об «очень плохо» по арифметике. На кой ему сдался тот бассейн, в который льют воду через одну трубу, а другую забыли заткнуть? Действие первое... действие второе... Он решил первым действием учинить учительке какое-нибудь шкодство. Что и выполнил несколько дней погодя.

## 2.

Елизавета Михайловна квартировала у одной глуховатой старушки Падериной. Дом стоял недалеко от школы, отделенный от нее небольшим пустырем. За домом начинался кустарниковый склон Кладбищенской горы. Учительница жила в комнатенке, единственное окошко которой выходило на этот склон.

Сразу же после уроков Санька подобрался к учителькиному окошку, кирпичиком вбил в раму небольшой гвоздь, привязал длинный прсчный шпагат, прикрепил к другому концу его пустую катушку от ниток

Еле-еле дождался он, когда в торопливые сумерки добавила чернил косматая дождливая туча.

Глухими закоулками выбрался к школьному пустырю. И когда убедился, что свидетелей нет, метнулся в кусты и осторожно прокрался к Падерихину дому.

Учителькино окно светилось. «Тетради проверяет», — отметил про себя Санька, отыскивая на кусте конец шпагата с катушкой. «Чичас будут тебе клопы!» Так именовали в школе красные штришки, которыми учителя помечали в тетрадях ошибки.

Нащупав катушку, он глянул на окно. И то, что он увидел, заставило его замереть, будто он снова смотрел в картину «Ошибка инженера Кочина» — в той части, когда честного человека охмуряет расфуфыренная шпионка. На белых занавесках, как на клубном экране, плавали две тени.

Одна была длинная, узкая, с петушиным гребнем. Другая пошире и пониже — как раз под то место, откуда начиналась петушиная голова. На счет ее Санька не сомневался. А вот что длиннелось, надо было распознать.

Юрка Савиных — точно — Юрка Савиных: вон откинул гребень — смешно ему что-то. И лапы Юркины — тонкие, длинные и гибкие, как у того, что из головы вылазят, про которого еще читали и пересказывали отрывок из «Книги для чтения». Виктор Гюго написал «Прут» — называется. Или «Спрук». К грудям присоской раз — и готово... Точно, к грудям...

Саньке почему-то показалось, что больше медлить никак нельзя. Отступил шага два назад. Шпагат натянулся. Санька почувствовал упругое сопротивление, повернул катушку в петле. Петля скрипнула. И тотчас этот скрип, пробежав по нитке, громом отдался в раме.

Заметались тени, и окно погасло.

Послышался легкий скрип. «Фортку открыл» — подумал Санька.

— Козин, — услышал он. — Козин, кончай!

«Сейчас я тебе поддам Козина!» — подумал Санька и снова крутнул катушку. Рама грохнула.

— Ю-у-у-ра! — взвизнуло окно, и посыпались стекла...

На другой день Санька не сумел утаить в глазах ехидное торжество, и школа превратилась для него в сущее наказание.

### 3.

Медленно закипал в Кедровом первый военный Первомай.

Утром, часам к девяти, хоть и никто не объявлял о митинге, как и в былые праздники, на площади у деревянной трибуны собрался кедровский народ. Не перекидывались шутками, как год назад, а только здоровались. А когда на столбе ожил громкоговоритель, все притихли, слушая, что на фронтах существенных изменений не произошло и что наши войска на Северо-Западном направлении вели тяжелые оборонительные бои.

Потом на трибуне появились первый секретарь райкома Барабаш, начальник РайНКВД Фоминых, райвоенком и еще кое-кто из районного начальства. Барабаш, худущий, с лицом, обтянутым желтоватой кожей, подошел к самому барьеру трибуны и над затихшей толпой взвился его пронзительный голос. В речи секретаря не было красивых слов. Но как человек, всего три года тому назад стоявший у станка одного из омских заводов, сам рабочий и сын рабочего, он знал, что от него ждут делового слова.

—...Победа в Московском сражении показала нашу силу, и есть в этой победе частица нашего труда. Вот у меня, — он вытянул руку с пачкой бумаг — письма и телеграммы из действующей армии, от бойцов и командиров, от земляков и не земляков — от соотечественников наших. Они благодарят нас за добрый красноармейский харч и теплое обмундирование, без которых не выстояли бы в декабрьских снегах Подмосковья. Они благодарят вас, товарищи, за героическое сибирское пополнение...

Нет, людям не становилось легче от этих слов. Да и не на то рассчитывал секретарь райкома.

—...Но если я скажу, что мы выложились полностью и что лучше работать нельзя, то вы первые проклянете меня, отказав в доверии, и правильно сделаете!

Секретарь все расставлял по своим местам, и каждый, кто слушал его, еще яснее осознавал свою личную решающую роль в грядущей победе.

Митинг был недолог. Но люди, побыв друг около друга, сообща услы-

шав слова веры в их силы, обретали веру в себя и в тех, кто был рядом локоть о локоть. И ни к кому отдельно не относящееся слово «народ» обрело зримость в конкретных и, может, даже порой неприятных, но живых и знакомых лицах.

А когда кедровцы расходились с площади, в зеленовато-голубой чаше неба грохнул в их честь ликующий салют весны: взорвался ледоход!

И все кинулись на яр!

Отсюда, с высоты, открывался просторный, многокилометровый обзор: огромная плавная дуга реки была как на ладони...

С чем сравнить буйство ледохода на великой реке?

Разные глаза видели его по-разному.

— Слышь-ка, как хрякнуло!.. Быдто ерманец из гаубисы, — Филька успел уже причаститься. — В ту ерманскую нам шибко гаубисы мешали. — Филькины глаза поблескивали вдохновением обозника, который живописует рукопашную: — Слышь-ко, слышь-ко, ну, чисто, как шрапнель!..

Река натужно ворочалась меж берегов. Набухший лед вдавливал ее в тесное русло, а она, вызверившись от такого насилия, нервила стать на дыбы. Сперва лед двигался сплошным полем, потом покрылся паучьими лапами трещин. Потом глыбы льда как бы ожили и зажили каждая отдельно. Они сталкивались и рассыпались.

— Вот так и жисть рушится — была и нет...

— ...В ту ерманску ешшо сепелины!.. Он будто рыбий пузырь, а из его бонбы!..

Гигантские кристаллы река легко выталкивала на берег: им долго еще истекать голубоватой кровью.

— ...Вот так и чахнуть — была и нет...

На яру замолчали и замерли.

Обглоданная со всех сторон льдина несла корову. Корова, увидев людей, повернула к ним обреченный лик, и тоскливое мычание долго замирало в безветрии.

— ...Как последний пароход прогудела... Который на войну мужиков увозил!..

#### 4.

Хорошо слушать патефон, когда радость. Осторожно нацелишь острие иглы на хрупкую пластинку, и она возликует напряженным, почти детским голосом:

Позабыл знакомый путь  
Ухажер — забава...  
Надо влево повернуть,  
Повернул направо!

Отгудели патефонные вечера. И веселые эти машины поникли головами мембран в комиссионном отделе раймага. Перед войной в Кедровом па-

тефон считался символом достатка. Многовато их оказалось в комиссионном, только покупатели не торопились.

Вот и у Лекаревых от патефона остался один пьедестал — сработанный «под дуб» Бирюком фанерная тумбочка в красном углу. В данный момент на тумбочке утвердилась осанистая, почти пуленепроницаемого стекла бутылка браги.

Гости уже приняли по первому — казенной водки — и сосредоточенно похрумкивали солеными груздями, остатками от прошлого, грибного лета. Первая порция хмельного огня лишь привычно обожгла изнутри, но не вызвала легкой, бездумной и благожелательной ко всему на свете приподнятости. Не возникло и той тяги к приятному, но необязательному общению, которая обычно возникает между мужиками, когда они слегка на газах...

Да и мужиков-то...

Андрей Васильевич Холодов, вплотную к шести десяткам, для мелюзги дедо Андрей, а для зрелых дядя Андрей... Да еще Дмитрий Андреевич, это для зрелых — Дмитрий Андреевич, а для сопляков — Митя, добрый, задумчивый, онемевший на финской войне сын деда Андрея... Да еще Бирюк, дядя Бирюк, столяр Бирюк.

Уж такая компания.

Но и эта не хуже других.

Только по левому порядку улицы из ярко освещенных итальянских окон льется патефонная истома:

У самовара я и моя Маша,  
Мы будем чай...

Пластинка вжикает, по ней пьяно проехали иголкой. А потом опять:

В парке Чаир...

Здесь, у Шаровых, патефон сохранился. Он орет жестким фальцетом:

Загудели, заиграли провода, —  
Мы такого не видали никогда!..

Как не видали? Видали. Еще год назад электрический свет, не уместаясь в домах, щедро проливался из праздничных окон. Эмтеесовского движка хватало на весь поселок. Разве только в Кержацком логу вонюче шаяли семилейки. Так двоедане\* сами откращивались от электричества, как от нечистой силы. А теперь все сумерничают с лампами, да еще без стекол: стекла куда-то подевались, не стало в сельпо, как, впрочем, и спичек, и много кое-чего. Да, нет худа без добра: сказывают, без стекла лампа керосину меньше жрет. А мужики вместо спичек кресала завели.

\* Старообрядцы (местн.).

Всего один год войны отмахнул Кедровое в такое прошлое, о котором и вспоминать-то забыли...

...Ни разговора, ни веселья.

— Воспримем блаженства ангельского! — это Андрей Васильевич на правах близкого хозяйскому дому пытается разогнать заунывную хмарь, разливая по граненым стаканчикам мутную брагу. Не надеясь, что у него получится первое, он лихо напивает на второе:

— Возольем и вкусим!

И острый кадык его, как рубанок по доске, ходит туда-сюда.

Ваньша уже где-то в глубине души уловил, что когда дед Андрей тосклив, он подбадривает себя насмешками над своей монастырской юностью, говорит непонятно. И уж совсем непонятно — смеяться над этим надо или плакать.

— Укусимо и закусимо, — сумрачно подхватывает Бирюк.

— Угощайтесь, дорогие гости, за здоровье Степкино...

Бабоня не успевает и пригубить, как слезы хватают ее за горло:

— Да на кого ты нынче нас покинул, Степушка. Да и бела-седа, как лушь, твоя головушка! Да разбежался конь-огонь в зеленом во поле! Да нашей кровушки враги досыта попили!

Ужас и тоска холодят Ваньшино сердце. Сквозь вязкую смутность, будто это было во сне, он помнит, что однажды пережил нечто похожее. Это был первый в его существовании миг, когда мозг его, медленно и мучительно, будто после глубокого беспамьятства, обретая зрение и слух и превращая их в сознание, отделил себя от всего, что было кругом. И так одиноко и безмерно жутко было этой капельке сознания, оторванной от мира, чтобы самой стать миром, что рванули горло и оглушили первые осмысленные слова. И еще более потрясли слова, впервые воспринятые извне:

— Да на кого ты нас спокинул..

Тогда хоронили дядю Мишу, убитого ссыльными кулаками.

— Да на кого ты нас спокинул, Степушка!..

— Мамадя, перестань! Зачем по живому-то?

— Мабудь у тылу идесь, — успокоил Бирюк.

— У тылу! — вдруг сердито передразнивает его Бабоня, — у тылу! Да Степка завсегда попереди всех. Давайте за Степкино здоровье!

Мало-помалу неразумная сила хмеля берет верх. И уже неважно, что говорит сосед, и неважно, слушает ли сосед. Важно высказать свое, что накопилось за многие дни молчаливого терпения, за ночи безмолвных бессонниц, за горестные минуты жизни, когда не нашлось нужного слова, чтобы ответить на несправедливость. И уже не разговор, а сбивчивый монолог многих, следуя за возбужденным потоком сознания, царит у праздничного стола.

— Вот ты, Бирюк, — топорщит усы и выкатывает покрасневшие белки Холодов, — ты, Бирюк, и плотник, и столяр. А я тоже и плотник, и столяр. И ежели что — под красное дерево... Обратнo же я — сапер!.. Я

же у Перемышля стены рвал!.. Мне его высокородие, товарищ полковник Карбышев Георгия вручал!.. А Дмитрий Михайлович нонеча огромный человек... Вот Митя подтвердит: он у него учился перед финской.

— А-а! А-а! — мучительно стонет Митя, веселея глазами. Его и без того длинное лицо удлинняет лысина. Всегда бледное, сейчас оно розовеет.

— Вот видишь, Бирюк!.. — Андрей Васильевич выкатывает грудь. — А мне говорят: «Ваш возраст вышел!» А я живой, и мастеровость в руках, а мне говорят, что я вышел!

— А мени ж того гирше кажут: куркуль. Який же я куркуль? Донин коханчик вид полсудчикив дезертировав — у схорони его сховав. Прийшла силбрада — мы до головы... Геть и — нема Та який же вин мени був батрак? Та на який же бис мени батрак був?

— Не печалься, Бирюк!.. — это баба Оня подняла стаканчик, — не печалься, Бирюк— Все войдет в свою справедливость. И — за воинов наших! За Стежку!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1.

Веселая, звонкая пора — начало навигации.

Через пару недель привычным станет глухой перестук рыбзаводовских катеров, что потянут за собою плашкоуты с уловами, торопливая скороговорка мотолодок «щук» со стрелевыми неводниками на буксире.

Сейчас же река в тишине медленно и торжественно несет к Ледовитому океану последние льдины.

Берег у затона и причалов оживлен: рыбацкий флот спускается на воду. Тут же готовится к навигации и «коммерческий» флот рыболовпотребсоюза.

Пахнет свежей смолой, олифой, краской, пахнет нагретым железом и нефтью; пахнет талым илом, старыми сетями и почему-то дымом артельных рыбацких костров...

Возле свежепросмоленного пузатого паузка толкается около десятка мужиков. Из-под паузка выскочило бревно-каток, и он широкой обрубленной кормой уперся в береговой ил.

— Портачи растрепсоузовские! — беснуется Петро Загайнов. — Снимите штаны, если глаза в том месте! — его круглое, в оспинках, лицо красно и потно.

— Ты не лайся, Петро. Давай подумаем, как столкнуть эту лоханку, — предлагает Холодов.

— Донкрат нужен, — заявляет Филька, — есть механизма такая, которая сама подымается...

— Механизма! Приделай себе эту механизму! — зло передразнивает Петро. — А еще лучше — Типсину. Ишь, начальничек — трактора

пожалел... — Петро семенит вокруг паузка на коротких крепких ногах, походя пиная бревна.

— Вагами надо. Приподыдем — и катки подсунем. Давай, Петро, вагами! — говорит Холодов.

— Да где вагами эту дуру, Андрей Васильевич? — остывает Петро.

— Подлиньше возьмем. Мужики с рыбного флота подмогнут. Ведь приподнять только...

— Эй, щукари! — кричит Петро рабочим, что хлопочут невдалеке возле плашкоута, — Сбросимся насчет картошки дров поджарить?

«Щукари» оставляют работу и неторопливо подходят: что, мол?

— Подмогните лоханку приподнять: с катков, дура, съехала.

— А вы нашу подтолкнете потом?

— Само собой!

Вскоре ваги — по одной с обеих сторон — подсунуты под сытое брюхо паузка. Мужики налегают на них, кто ближе к точке опоры — всем телом, кто дальше, повиснув на руках, всем весом. Но паузок только слегка покачивается.

— Дави его, как Маньку! — орет Петро Загайнов.

— Нет, мужики, так не выйдет, — останавливает Холодов.

— А я и говорю — донкрат нужен, — гнет свою линию Филька.

— Иди ты со своим донкратом...

— Петро, — перебивает Холодов, — у тебя глотка самая крепкая. Отойди так, чтобы всех нас видеть, и командуй, чтобы вместе.

— Ясно! — Петро отбегает за корму паузка. — Ну, слушай меня. Раз-два взяли! Раз-два взяли!

Каток, который несколько человек подсовывают под паузок, почти под килем. И не хватает какого-то одного усилия, чтобы он стал на место.

— А ну, веселей, — орет Петро, — и переходит на пень:

Дружно, братцы, дернем!

— Дернем, — откликается хор. И киль паузка отрывается от песка.

И вот уже каток под паузком. Одни хватают тросы и тянут непутевую посудину по бревнам к реке. Другие подправляют по ходу катки. И, наконец, тупая корма паузка свободно всплывает на воде.

## 2.

Для кедровских женщин в последнее время чем-то вроде клуба сделан хлебный ларек. Стали сюда сходитья они по утрам после того, как некоторым припоздавшим не удалось отоварить карточки — не хватило хлеба. За первый год войны женщины еще не были настолько ожесточены и налуганы разными нехватками, чтобы давиться в плотной толчее.

Сходясь в спокойную очередь, они разбивались на группки в ожидании, когда Миша-татарин привезет хлеб, а продавщица Аннушка примет его и начнет торговлю. И время незаметно текло в содержательной женской беседе. Более всего собеседниц обычно собиралось вокруг Черемни-



хи, особы не старой, но необъятной и, что важнее всего, необычайно осведомленной о разных сторонах кедровской жизни.

Жизнь эта, на первый взгляд, была не слишком напряженной, не изобиловала острыми конфликтами и яркими событиями. Похорожки или вести о ранениях уже не были в диковинку. Да и укрыть их от чужих людей никто особенно не стремился. А много ли интересу судачить о том, что у всех на глазах?

Предметом пересудов было наиболее глубокое и сокровенное от сторонних. А к концу первого года войны даже в таком глухом углу, как Кедровое, поведение солдатки перестало быть отвлеченным вопросом.

— Как живешь-можешь, Гликерья Семеновна? (Черемниху только меж собой звали Черемнихой).

— Какой там живешь-можешь, Петровна! — прибедняется Черемниха. — Огород копать надо, а кому? Мой-то опять еле дышает.

Собеседница сочувственно покачивает головой. Она знает, что у Черемнихино мужа, потребсоюзовского бухгалтера Якова Черемных, внутрих какая-то тяжелая и опасная болезнь, о которой в последнее время так много и охотно говорит Черемниха.

— Рученькам покоя нет — изболелись: лонись назему видимо-невидимо перетаскала на огуречные гряды. Сама не позаботишься — кто сделает?

— Это, конечно... Вон и с хлебом все плоше стает. Про приварок самим думать надо.

— Знать-то еще плоше будет, — Черемниха понижает голос. — Слышно, вакуированных к нам привезут много. А мой говорит, на муку да на сахар — на все лимиты в области урезали.

Тут не верить никак нельзя: все знают, что Черемных сидит около этих самых лимитов.

— Про вакуированных-то откудова известно, Семеновна?

— Да уж известно... В Тюмени, в Омске их видимо-невидимо. Селить некуда. Сюда направлять будут. Сестра пишет. Она сама с-под Смоленска вакуировалась.

— А у нас-то куда селить?

— Уплотнят.

— Как это?

— Ну, поставят на квартиру.

— Да, сорвала война людей с гнезд...

— Кому война, а кому и мать родна...

— Уж верно... Вон соседушка-то твоя, Тоня-то...

— Лонись опять политрук из военкомата к ей шастнул. Который Васильев.

— Это который виски седые, а сам молодой?

— Ну да, Долгонько пробыл. Вышел, как шальной. Фуражку в руке несет и ногой за ногу задевает.

— Ишь ты...

- А как Павел узнает?
- А как он узнает?
- Да с войны придет, — все одно расскажут. Прибьет ведь.
- А, никоно не прибьет. Их, таких сучонок, мужики еще шибче любят. И варнак их знает, почто...

### 3.

— Не могу больше, тетя Анисья, — жаловалась Бабоне Лушка-почтальонка, — ушла бы с этой проклятой почты, да не пускают. Вот возьму, сделаю прогул, пушай судят. Пушай сядят, все одно хуже не будет.

— Да что ты, милушка, как можно?

— Больше мочи нет.

— Всем теперь тяжело. Война...

— Я не про то. Я бы две такие сумки день и ночь таскала... Пушай бы собаки ноги отгрызли напрочь. Кабы не похоронные...

— Я и говорю: война. Кому-то и там, кому-то и тут надо.

— Лучше там.

— Куда уж...

— Идешь по улице — люди шарахаются, как от чумной. А к воротам подходишь, так ноги пудовые делаются. Слова еще не скажешь, узнают как-то.

— Сердцем чуют, Луша. У меня вот сегодня с утра сердце чуяло, что принесешь письмо от Степки.

— Сворачиваю вчера к Реполовым, а Дуся уже в окне. Белее занавески. Потом за ворота выскочила: «Не подходи, Лушка, не подходи, ошибка это. Ошиблась ты». По-дурному так шепчет. У меня прямо сердце зашло. «Верно, — говорю, — Дуся. Затменья какое-то на голову нашло: забегалась». И от ворот.

— Не отдала?

— Не отдала... Не знаю, как отдавать теперь...

— Слышь-ко, может, с подходом, по-соседски...

— Нет, тетя Анисья, нельзя. Не положено. Сама обязана отдать...

— Ну, раз не положено, оно, конечно... Что Федя-то пишет?

— Ничего не пишет, тетя Анисья... Месяц как писем не было. В последнем написал, что перемена адреса ожидается. И после ни строчки...

— Ты не убивайся раньше времени. Может, некогда. Может, куда в секретное место перевели. Вон от Горкунова сколь весточки не было. А потом написал. Задание имел важное. Теперича в отпуск длительный едет... Не убивайся.

— Ну, пойду я...

— А, может, выпьешь чайку-то? У меня и пирожки с картошкой не простыли еще.

— Нет, пойду я... Мне две улицы обежать надо. Антонине вон письмо. Везет таким...

— Ну иди, коли так... Пстой, Луша. Умойся, а то глаза-то красные... Не надо людей тревожить зря. Мало что, а человек-то сперва в лицо глянет.

Выйдя за ограду, Лукерья ослепла от яркого солнца, которое высоко стояло над просторной и пустой улицей. По теневому порядку достаивали последние остатки долгой зимы, а на солнечной стороне зеленые шильца молоденькой травки уже прокалывали отогретую землю. Было около полудня. И такая тишина густела во влажноватой и неподвижной теплыни, что нехорошо становилось в ушах, будто глубоко занырнула в стоячую воду.

У Лукерьи закружилась голова, и она опустилась на лавочку у ворот, крепко прижалась к забору нывшей от почтальной сумки спиной. Закрыла глаза... «Не ходить бы никуда, не видеть никого, а сидеть бы так и сидеть», — пошевелилась вялая мысль. «Посижу минутку, передохну и пойду... Глазыриным письмо, Воротниковым сразу два... Реполовой Дусе похоронную вручать когда-то надо. Лучше уж сразу. Тоньке Белых письмо. От Павла. Везет же, везет же таким... А от Феди ни строчки».

Еще не так давно подругами были Лукерья да Антонина. Федя с Павлом — тоже не разольешь водой. Сейчас и не вспомнить: то ли девчата сдружились, потому что парни дружили, то ли наоборот. И свадьбы одну за другой сыграли — в первом месяце сорок первого года.

И сейчас живут в каждой клеточке ее тела те дни незабвенные, те ночи ослепительного счастья и любви. Лукерья даже вздрогнула: так явственно вдруг почувствовала на щеке жаркое дыхание и горячий, задыхающийся шепот Федора.

Говорят, время лучший лекарь: от любой беды, от любой тоски исцеляет. Может быть, и так. Но сколько же его надо — медленного, беспроблемного времени, чтобы исцелиться от любви?

Да Лукерья и не пожелала бы себе такого предательского исцеления, недолговечной памяти обо всем, что было лучшего в ее жизни.

Опять, в который уже раз, встала перед глазами промозглая, пронзительная от холодного ветра предзимняя ночь.

В смутном свете огня последнего парохода колыхалась на дебаркадере черная толпа, как что-то единое и большое почти до беспамятства.

Уже дали второй гудок и вот-вот должны были дать третий, и Лукерья с нарастающим предчувствием катастрофы ждала, когда Федор оторвется от нее и оставит одну в плачущей, поющей, хмельной от горя толпе! И когда взрыднул последний гудок, она почувствовала, как тяжело падает сердце и на мгновение обрадовалась, что, может быть, умрет от этого.

Однако руки ее уже не находили в пустоте мужниных плеч, и уже исчез плечистый, высокий силуэт его, слился с другими силуэтами на скудно освещенной палубе, и уже не слышала она ни его, ни своего голоса в общем горестном клике прощания, а все еще была жива.

Медлительно удалялись в ночь и нестерпимо долго таяли в ней огни парохода. Лукерья не помнит, сколько стояла, вглядываясь в темноту. На-

верно, долго. И стояла бы еще, если бы не подошла Антонина и почти силком не увела к себе. И они почти всю ночь проплакали, уткнувшись в одну подушку.

Ой, скоро, скоро забыла Тоня слезы свои, скоро утешилась!

Перед новым годом после работы заскочила она к Лукерье, веселая, раскрасневшаяся с мороза:

— Сидишь все, как старуха? И ко мне дорогу забыла.

— Да вот, пряжи достала. С Большого Камня маме шерсти-шленки привезли. Поделилась со мной. Спряла, носки Феде связала. Шарф вот вяжу. Посылочку хочу сгношить. Что Павел-то пишет?

— Да пишет, — чуток смутилась Антонина.

— Знаю, что пишет: сама треугольники-то тебе под дверь подсовываю.

— А Федор как?

— Федя в первых боях отличился, его на курсы младших командиров направили. Пишет, что старается и что начальство его уважает. Он старательный ведь, Федя-то. За что ни возьмется, уж не бросит, сделает обязательно... Да что я все про свое? Ты-то как?

— Потихоньку. Мое дело маленькое: стучу себе на машинке да стучу. Вот за ударный труд Типсин в премию чесанки выделил, — Антонина чуть притопнула ногой в беленьком аккуратненьком валеночке, какие делаются только на заказ.

— Смотрю, и манто новое...

— У Насти Кузнецовой купила... Да что там обновки? Носить их не переносить, было бы для кого. Я к тебе вот зачем: приходи завтра ко мне. Повеселимся, новый год встретим. Приходи.

— Да неловко как-то: Федя там...

— Что, Феде легче будет, если ты тут совсем засохнешь? — румянец раздражения затемнел на круглом лице Антонины.

— А кто будет, Тоня?

— Да все знакомые придут: Верка Дунаева, Тася Наумова со своим, Лиза.

— Это какая?

— Да учительница. Ну, может, еще кто на огонек забредет, не знаю. В общем, приходи. Да пораньше: пельмени ладить будем. Чего мнешься?

— Да не знаю... — нерешительно протянула Лукерья.

— Вот что я тебе скажу: война не война, а люди живут. И нам жить надо. Вот придут мужики, а мы тут, как двоеданки, под черными платками сморщились. В тайгу же, к медведихам сбегут мужики от нас!

— Ну тебя, скажешь тоже! — рассмеялась Лукерья, оттаивая от шальной причудинки, за которую всегда любила подругу.

— Так придешь, значит?

— Приду, приду.

Как хорошо начался тот предновогодний вечер! Антонина рубила в крытце лосятинку со свиной. Таисья с Лизой раскатывали на листе сочни

для щельменей. Верка Дунаева готовила стол, выставляя разносолы, варенье, посуду.

Потом, когда пельмени уже остыли в снях, ввалились Юрка Савиных и Арканя Бурков с неразлучным своим баяном, Лиза и Верка расцвели.

«Глупышки, — подумала Лукерья, — вот призовут парней на войну, и будут маяться, как и мы грешные. Не девки, не вдовы».

Позднее, когда пришел сумрачный Петро Загайнов, и Тансия завертелась, как на угольях, Лукерья стало смешно: «Опять, видно, в разводе. Ну, да ладно: не первый раз — сойдутся!» И ей впервые за много-много дней полегчало.

Сели за стол отведать браги и холодца. Но Юрка с Арканей, видно, кое чего распробовали загодя, и Арканя развернул свою музыку:

Играй, мой баян,  
И скажи всем друзьям,  
Отважным и смелым в бою,  
Что, как подругу,  
Мы Родину любим свою!

Пели, танцевали, как тогда, когда еще не было войны. Потом варили пельмени, суматошливо толпясь на кухне. И Лукерья не заметила, как в компании оказались два лейтенанта — Минеев, из военкомата, и Иван Стрепков — из НКВД.

Она сперва не обратила внимания на это. Не придавала она значения и тому, что Стрепков приглашал ее на каждый танец, и стал соседом, когда снова сели за стол. Но, почувствовав игривую ладонь на своем колене, она удивленно взглянула на Стрепкова:

— Вы что?

— Не понял, — выкатил Стрепков круглые голубые глаза.

— Уберите руку!

Они перебрасывались словами почти шепотом.

— Убери руку, слышишь?

Стрепков вежливо снял золотым зубом. И тогда каким-то горячим запутанным клубом завертелось в ее голове все, что пережила она, провожая Федора и проводив его, и холодная злость хлынула встречь этому верчению:

— Сейчас поймешь!

Она взяла блюдечко с недоеденным холодцом и, протяжно размахнувшись, вlepила его плашмя в золотой зуб, в нахальные голубые глаза, в холеные сытые щеки — во все, что так люто и навсегда возненавидела.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

### 1.

Первым полкой водой проходил караван. Он шел за последними льдинами отступавшей к северу зимы. Каждой весной протяжно проплывал он

мимо Кедрового в дальний край, о котором сказывали всякую небывальщину. Будто железную дорогу там затеяли строить. На что Кедровое — Север — без железной дороги. А там северее севера, и на тебе — дорога.

Никто этому не верил. Но когда, пронзительно сигнала, по фарватеру вытанцовывала быстроходная караванная «разведка», — ярко расписанный катер, — на яру собирались чуть ли не все кедровцы. Во-первых, караван на глазах из одного неведомого края проходил в другой. Во-вторых, завлекательно было лишний раз удивиться на целый плавучий город.

Но не было в этот раз праздничного сияния огней на плавучем городе, и не было музыки, даже не было на снастях домовитых постирушек, которые всегда так вссело полоскались на встречном ветру.

На лихтерах, баржах и на самом теплоходе «Анастас Микоян» светились только неяркие ходовые огни. А на палубах, задрав хоботы в небо, насторожились под чехлами зенитные орудия.

Караван проходил мимо Кедрового молча. И кедровцы молча провожали его долгими взглядами, впервые почуяв за две тысячи километров, как близка война.

— Ах, ты так твою разедаж! — Петро Загайнов по случаю субботы был под малым турахом. — И здесь с пушками ездют! Допустили вшивых гансов до пол-России, теперича на свое небо фигу оставили.

— Да утишься ты! — успокаивал Петра Юрка Савиных. — Цапнут за долгий язык, так будешь знать.

— Пуцай на фронт посылают! Пуцай уважат просьбу младшего командира и броню себе возьмут! Мне здесь бронироваться нечего: не стреляют!..

— Да уймись ты...

— Еще и сюда Ганс допрет, если дальше так воевать будем! Вояки...

— Да утишься!

— Я тебе утигусь!

Петро расходится окончательно и, завидев среди людей райвоенкома, направляется к нему:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться, — рапортует он по полной форме.

— Обращайтесь, товарищ старший сержант запаса.

— Разрешите считать меня не в запасе... Я вон какой здоровый, я их сколько перебею.

— Не сомневаюсь, что перебеете, но пока на вас бронь...

— Бронь! — взрывается Петро. — Забронировались сами и другим ходу не даете!

И тут старший лейтенант становится белее полотна. Он не кричит. Он шепчет посиневшими губами:

— Щенок... — И отрывисто, — ще-нок! — финские... болота... доты... видел?

Его прыгающая рука тычется о коричневую кобуру. И когда она находит защелку, ей становится зябко и стыдно.

— Встань, как положено! — взрывает старший лейтенант.

— Есть, товарищ старший лейтенант!

— Когда понадобиться, тогда и призовем, — прерывисто дыша, обещает старший лейтенант. — Извини, браток, я тоже не железный, — неловко улыбается он, пряча тронувшую оружие руку в карман шинели:

— Тебе, наверное, повезет: повоюешь. А мне здесь засыхать придется. Две дырки в легких. А ты пойдешь. Слово даю: пойдешь.

## 2.

Небольшой дом — на три комнаты, где жил начальник пристани и где помещалась его контора, стоял на яру, на самом высоком месте над причалами и дебаркадерами. От калитки начиналась лесенка, с которой через двести шестьдесят ступенек можно было шагнуть на дебаркадер. А на торцовой, конторской стороне дома висела черная, вроде школьной, доска, на которой было разлиновано: «Приход парохода», «Стоянка парохода», «Отправление».

На доске этой было четко обозначено мелом: «п/х «Оджоникидзе». Приход 16 мая 42 года, 18 час., стоянка до обеспечения дров, отправление — после обеспечения».

Это было что-то новое.

Обычно на доске ставились только цифры: когда придет, когда уйдет. И никаких объяснительных записок.

Конечно, 18 часов и раньше не означали, что пароход придет именно в это время. Никого это, в общем, не беспокоило: когда придет, тогда и придет.

Но теперь с первым пароходом кедровцы ждали первых с войны — мужей, братьев, сыновей, любимых...

В один из июньских вечеров прошлого года все видели, как со щенячьим подпрыгом катились от школы с пригорка гордые выпускники.

Ваньша помнил их наперечет, выпускников 41 года: на них молились, они были первыми, потому что Кедровская средняя школа раньше была семилеткой и кто полагал учиться дальше, доучивался в окружном центре. Да и не мудрено было помнить их, потому что не так уж много в первый выпуск выходило в жизнь кедровских граждан с местным, но всесоюзно признанным средним образованием.

Сережа Владимирский. Длинный, такой длинный, что даже длиннее самого Павла Евлампиевича, директора школы. Только поуже его. Коля Бирюков, квадратный крепыш с нестерпимо рыжими кудрями и конопущами по всему округлому, доброжелательному лицу. Леша Бельшев. Он, пожалуй, самый красивый был из всего выпуска: смугловатый, статный, всегда в гимнастерке, туго перетянутой отцовским командирским ремнем.

Карие теплые глаза его чему-то улыбались в густых и длинных ресницах. А темный чуб набегал на ясный лоб.

Миша Типсин, сын Типсина, председателя потребсоюза. Гитарист, баянист, плясун, звезда кедровской художественной самодеятельности, Ваня Хатылов, белоголовый хантыйский паренек.

Не приедут больше в Кедровое и никуда не приедут Сережа Владимирский и Коля Бирюков. А отцы их после тяжких ранений, полученных в Московской битве, возвращаются домой.

Боевал на Волховском фронте Леша Бельшев. И для всего Кедрового, для района всего был праздником тот день, когда от командования пришло известие, что Леша за мужество и отвагу удостоен ордена Ленина. А Надежда Васильевна, Лешина мать, безутешно плакала в президиуме и не смогла сказать речь. Уже потом узнали, что в тот же день она получила письмо от однополчан мужа, где сообщалось, что он убит...

Миша Типсин писал из Вологды, из госпиталя, что тяжело ранен и что вернется скоро домой...

Ждали, ждали кедровцы этот первый пароход, как никогда не ждали прежде. Они ждали его, как ждут решения своей судьбы, мучаясь и надеясь: а вдруг, а вдруг!

### 3.

И он показался за мысом Большой Камень. Вернее не сам он, а клокастый рыже-черный дым, какой бывает от сырых дров.

— Идет! Идет! — завопила пацанва, бросаясь в переулки, чтобы предупредить тех, кто еще оставался дома. И Кедровое ожило. Люди бежали к пристани, будто им самим предстояло ехать куда-то и словно опоздание влекло за собою непоправимые последствия.

Никто не принарядился ради встречи первого парохода: не до того было. Да и не ко времени были бы сейчас лучшие наряды. Здравый смысл подсказал, что нет сегодня никакого праздника и пока долго не будет...

Когда пароход подваливал к дебаркадеру, дебаркадер, лестница к нему, выступы пристанского яра — все, где можно было хоть как-нибудь примоститься, заполнилось людьми.

Над безветренной гладью реки стояла жутковатая при таком скоплении народа тишина. Плицы пароходных колес чапали о воду. Капитан бубнил команды в переговорную трубу. Матросы на носу и корме приготовились бросать легости. Толпились на палубах пассажиры так плотно и невыделимо, что нельзя было различить знакомое лицо... А, может, его и не было?

Но вспрынул над светлой водой, ударил в сердца и отразился в медно-звонком вечернем небе истошный бабий крик:

— Коленька, ты тут-а?..

— Та-а-а! Та-а-а! Та-а-а! — умерло в низком молодом краснотале на другом берегу.



— Коленька-а-а-а!

— Ка-а-тя-а! — подхватил не по-мужски визгливо задыхающийся голос. — Я здесь-а! Здесь-а-а! Здесь-а-а!

И застонала толпа, и возгуднул пароход, и это немислимое рыдание было горячее лесного пожара...

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

### 1.

Лукерья, разнося почту, была более или менее в курсе всех житейских дел. И только про ее бессонную тревогу мало кто знал: ни строчки не присылал Федор. Как в воду канул.

Она, как все в тот вечер, когда пришел первый пароход, была на Пристанском яру. И слабенько тлела в ее сердце надежда: а вдруг?

Что такое — это «вдруг» — она даже не пыталась раскрыть для себя: боялась. И все-таки: а вдруг покажется в проеме нижней полубы у сходней ее Федя. Пусть хоть какой! Пусть без глаз, пусть без рук, без ног, но живой, единственный на свете. И она всю жизнь будет любить его, каким бы он ни стал на войне, всю жизнь ухаживать за ним, и жизнью собственной благодарить за воинскую жертву и за любовь его.

И когда Катя Дегтярева, распознав среди пассажиров своего Николая, начала ту непереносимую переключку, Лукерья сама отчетливо увидела, что на палубе стоит Федя, и обмерла. Она тоже окликнула его что есть сил, но крик потонул в гуле других голосов и в пароходном гудке.

Она махала рукой, встав на цыпочки, но впереди маячили руки и головы и не давали рассмотреть, кто там, на пароходе.

Потом Лукерья протиснулась к перилам лестницы, что вела на дебаркадер: теперь никто с парохода не мог пройти так, чтобы она не заметила.

А первые с войны уже одолевали двести шестьдесят ступенек до родного дома...

Медленно поднимались они, устало шли, будто только что из боя, хотя от боя отделяли их месяцы маетного госпитального уюта. Длинной цепочкой растянулись. И толпа, узнав первых, замолкла и напряженно ждала: кто же еще?

Осторожно одевал крутые ступеньки Николай Дегтярев: за спиной «сидор», на левой руке шинель. Не держался за перила. А когда поднялся повыше, Лукерья увидела, что держаться ему за перила было нечем: правый рукав гимнастерки плоско прилегал к боку, захлестнутый брезентовым ремнем.

Вот уже подходил Миша Типсин. Ладный такой. Весь в командирском. Не с «сидором», с чемоданчиком. Франт франтом. Даже левая рука в ко-

жаной перчатке держит другую перчатку. Всем здоров, только прихрамывает малость.

«Федя бы так» — подумала Лукерья. И тут же спохватилась: «Дура: совсем бы не задело, не поранило, а как незаменимого в тыл бы отправили с войны» И снова: «Дура! Пусть хоть какой, но живой чтобы, домой чтобы вернулся!»

А это кто? И не узнать: через лицо черная повязка. И барахлишка никакого при себе... Да никак Громов Сидор?

А Федора все не было и не было.

Они шли. И когда двести шестидесятая ступенька (или первая, если обратно) оставалась за сапогом, к опаленной груди бессловесно приникала женщина — жена, мать, сестра.

— Оно, вестимо, женское дело — встречать... Здорово, Сидор, с возвращением!.. — забрлился Филька, борясь против этой вовсе неправильной тишины, которая заставляла искать среди пришедших тех, кого там не было и не могло быть, и которая пригибала головы тем, кто пришел.

— Здорово, Филипп! — с готовностью какой-то поспешной откликнулся Сидор Громов, — и неловко пошутил: — Вернулся Сидор без «сидора».

— Ну, твой «сидор» еще неизвестно в какой боевой готовности!

Робкий смешок, как первый огонек в костре, пробежал по толпе.

— Молоток, Филька, котелок старый!

— Я те дам, котелок, кобель вертучий! — огрызнулся Филька, но Петро уже не слышал старика. Он легко перемахнул через перила и бросился к Типсину:

— Миша! — орал он. — Здорово, Миша! С приехалом, так твою через колоду! Жив, корешок!

— Жив, — робковато так сперва ответил Типсин. А потом, бросив чемодан на площадке и обхватив одной рукой Петра, бурно ответил ему:

— Жив, Петро! Жив!

— Чего вы тут марш похоронный устроили? — вдруг окрысился Петро Загайнов на односельчан. — Ведь живые идут! И Россия стоит!

— Тише: секретарь говорит.

На самой высокой точке Пристанского яра стоял Барабаш. Видимо, даже на той скамеечке, откуда дальше всего открывался вид по реке. И может, потому именно, что стоял он на таком месте, все верили, что видит он дальше, и видит то, что недоступно остальным:

— Друзья дорогие! Не скажу, что сегодня праздник у нас. Уж извините за правду. Чего хорошего — потерять на войне здоровье. Но и радость присутствует: воротились домой наши отважные земляки. И хоть до окончательной победы еще не близко, воротились они с победой — одолели врага под Москвой, не пустили его в Ленинград. А друзья их боевые не только негибаемо держат фронт от Баренцева до Черного моря, но и ведут наступательные бои в районе Харькова.

Я вот что хочу сказать и от себя лично, и от всех, кто тут есть, и сме-

лость возьму на себя, — от большевистской партии: не кончилось ранами ваше участие в этой войне, которую великий Сталин нарек отечественной. Не хватает у нас в тылу рук. И пусть хоть одна рука на брата — она многое может сделать для победы.

Милости просим вас в родной дом. Залечивайте раны, поправляйте здоровье, — мы в этом поможем вам, насколько хватит сил, — и становитесь в строй тыла...

А Лукерья все смотрела вниз, туда, откуда начиналась (или кончалась, если обратно) лестница. Но не подымался по ней Федор...

## 2.

По вечерам поселковыми улицами ходило строем народное ополчение. В смысле ополчения, наверно, не все здесь было понято правильно, потому что в строю шагали лишь те, кому предстояло покинуть Кедровое, чтобы влиться в великое братство сибирских стрелковых дивизий. Командовал ополчением райвоенком, а комиссарил агитпроп райкома Голоушкин.

Ополченцы отрабатывали премудрости движения в строю — правое плечо вперед, марш! Нале-ву! Кру-хом! Закладывали основы подхода к начальнику и отхода от него. Острили:

— Отход — дело десятое. Главное — подход превзойти. С подходом к начальству и на войне не пропадешь!

— Неправильно, товарищи, понимаете значение момента, — вступался за военные премудрости Голоушкин, — отдавание чести несет в себе не ритуальный смысл, а является кратким воинским выражением уважения к тому, кому доверено командовать...

— Да мы что? Мы ничего, — скучнели воины, — мы так, для смеху.

— Тем более неправильно, — с каким-то мрачным сладострастием цеплялся за реплику агитпроп, — не вижу ни малейших причин для смеха при серьезности текущего момента. Воинская служба требует к себе паисерььезнейшего отношения во всех ее звеньях, во всех ее кажущихся мелочах.

Военком некоторое время безучастно наблюдал за этой партийно-политической работой в вверенном ему войске, вздыхал и хрипло намекал:

— Кончай ночевать. Выходи строиться.

Будущие красноармейцы подымались с молодой травки, вдавливали каблукми окурки и, подобравшись, ждали уставной команды.

— Станови-ись! — протяжно и надтреснуто командовал военком и, выждав, коротко, как ударом хлыста, наводил шлифовку на зигзаговидный строй:

— Р-р-рняйсы!

Строй колыхался.

— Атставить! Подравнять носки! Команда «равняйся» выполняется так: энергично и четко повернуть голову направо, чтобы видеть грудь четвертого от себя. Не просто вертеть головой, а видеть грудь четвертого!

Видеть! Поняли? И чтоб правое ухо было выше левого! Р-р-рийсы! Хмыр-р-ра.

Ох, как завидовали небрежно-властному перекату «хмыр-р-ра» командиры отделений! Произнесенная по-уставному «смирно» эта одна из основных строевых команд звучала как угодно — просительно, вопросительно, истерично — но только не властно, не командно. Но никто даже не попробовал копировать военкома, потому что в любых других устах «хмыр-р-ра» повергло бы воинский строй в неудержимый хохот. Был в этом деле военкому только один соперник — Петро Загайнов. Оно и понятно: младший командир запаса. И его-то голоса как раз не слышал на плацу (так по-военному называлась центральная поселковая площадь) военком.

Осознав этот факт, он обернулся к Голоушкину и негромко спросил: — Загайнов у вас отпросился с занятий?

— Загайнов? Да что вы! Загайнов, я полагаю, отзанимался, — так же негромко ответил тот.

— То есть как? Не понял.

— Я подробно информирую вас после. Здесь не место.

Военком нетерпеливо дернул плечом, приблизился к строю, прошелся вдоль него, остановился как раз посередине:

— Сейчас по отделениям будем отрабатывать элементы штыкового боя. Развести отделения и приступить к занятиям!

Когда отделения рассредоточились и над площадью вразнобой зазвучало: «Длинным коли! Коротким коли!» — военком и агитпроп отошли к деревянной торжественной трибуне и присели на ступеньки под кумачовым лозунгом «Фронту — обученное пополнение».

— Ну, докладывайте... простите, информируйте, товарищ Голоушкин.

— Информация короткая. Подробности всех я не знаю, но знаю, что Стрепков прищемил Загайнову длинный язык.

— Так...

— Стрепков задержал его и ведет следствие.

— Так...

— Загайнов оскорбил его при исполнении служебных обязанностей, чем усугубил свою вину.

— Каким образом?

— Сказал: «Тебе все зубы золотыми надо сделать, свои от одних вопросов твоих сгниют!»

— Хык! — коротко хохотнул военком. — А если баба тарелку на личность навесит, — не оскорбление?.. Сверх служебных обязанностей...

— Вы о чем?

— Да так, ни о чем, размышляю. Так какое же обвинение Стрепков выдвигает против Загайнова?

— Обвинение конкретное: пропаганда и агитация в пользу врага.

— Серьезное дело...

— Серьезное, — подтвердил Голоушкин, не заметив, как сбегает жи-

вые краски с лица военкома, — очень серьезное. К сожалению, в нем и наша недоработка отражается... — Голоушкин осекся, посмотрев на военкома:

— Что с вами?

— Не со мной, а со всеми с нами—что?! — он мучительно закашлялся. Вдохнув свободнее, еще что-то хотел сказать, но, взглянув в тусклые пуговочки Голоушкинских глаз, отвернулся. Помолчал. Сказал:

— Идемте, комиссар, к Барабашу.

Голоушкин недоуменно воззрился на военкома:

— А при чем тут Барабаш? И вообще райком при чем тут? Это дело в компетенции (он сказал «в компэнтэнции», солидно так сказал) органов.

— Ну, а органы, Голоушкин, в компетенции партии. Идете? Или мне одному?

### 3.

Когда они вошли в кабинет первого секретаря, тот сосредоточенно читал какие-то бумаги.

— А, стратеги, — вскинул он желтоватые глаза, — проходите, устраивайтесь поудобнее, рассказывайте, что привело вас сюда в такой поздний час... Присаживайтесь. И говорите, если есть о чем...

— Есть о чем! — с некоторым вызовом сказал военком, может быть, чуть громче, чем это было необходимо.

Секретарь посмотрел на него остро и внимательно:

— Ну, тогда тем более. Рассказывайте.

— Младший командир запаса Загайнов Петр Ильич арестован без... — военком запнулся: без чего — без согласования? Так «они» не обязаны согласовывать с ним свои действия.

Барабаш выдержал паузу:

— Без оснований, вы хотите сказать?

— Так точно, без оснований!

— Инкриминируется агитация в пользу врага...

— Минуточку, товарищ Голоушкин... На чем основано это ваше утверждение? У вас-то есть основания? Я ведь так полагаю: вы сюда пришли не просто поговорить про чрезвычайный случай, а за неотложной помощью.

— Так точно. А основания такие, что горячий он, Загайнов Петр. Как термитный заряд, вспыхивает...

— Ну, на таком основании, — Барабаш невесело усмехнулся, — можно любое обвинение доказать.

— Я не совсем точно выразился. На фронт рвется парень, а по согласованию с рыбрестом на него наложена броня, как на ценного специалиста. У меня с десяток заявлений его лежит. Каждый месяц с заявлением приходит, регулярно. Как методический обстрел. А недавно при народе так меня подцепил, что в глазах потемнело.

— То есть?

— Ну, в том смысле, что ему в тылу отсиживаться совесть не дает, не то, что некоторым.

— С намеком?

— Так точно. С намеком! И еще основание есть: личное дело. Был отличником боевой и политической подготовки на действительной. Хорошо показал себя во время освободительного похода на Западную Украину. Имеет личную благодарность от командира корпуса.

Ясно осознавая значительность фактов солдатской биографии, военком со злым отчаянием понимал казенное убожество слов и еле сдерживал жгучую волну, которая, позволив ему захлестнуть себя, лишила бы его на какое-то краткое время способности отвечать за свои слова и поступки. И поэтому речь становилась еще затрудненнее (от контузии на финской и косноязычнее — от бедной сельской семилетки):

— Он ва-ва-ва-полчении пе-ервый помощник мне. М-может, еще из-за этого попрдерживал его от призыва. Я виноват, что сорвался парень...

Он безнадежно замолк, прямо-таки физически ощущая и хрупкость аргументов и неубедительное их изложение. Барабаш тоже молчал, изучающе смотрел на военкома, и тому показалось, что в глазах секретаря пульсирует сомнение.

Так, в сущности, оно и было. Секретарь сомневался. Но не в правоте военкома. Его сомнение было глубже и принципиальней. Он достаточно долго жил на свете и достаточно повидал всего. За годы партийной работы в его кабинете перебивали всякие люди — те, кому безусловно можно было верить, и те, кто доверия не вызывал. Но в каждом случае он стремился выявить человеческую суть того, кто к нему обращался — ведь его решение было не просто решением некоего Барабаша. Здесь, в этом кабинете, он особенно ощущал ответственность, лежащую на его плечах.

Нет, он не сомневался в правоте военкома.

Случай с Загайновым был проще выеденного яйца. Но таким простым он был только для понимания, но отнюдь не для разрешения, ибо понимание не всегда просто согласуется с разрешением, в особенности, если к необходимости решать припутывается необходимость учитывать обстоятельства, в целом не имеющие прямого касательства к делу. Фактически власть его над тем, как повернуть судьбу Петра Загайнова, была не так велика, как думал этот воински прямолинейный старший лейтенант. Было бы полбеды, если бы в силу его справедливой власти верил только он один.

Барабаш споткнулся на промелькнувшей мысли и почувствовал, как жар стыда пронзает его до пяток: доразмышлялся, дорогой товарищ! Полбеды! Не полбеды, а самая полновесная и неисправимая беда произошла бы, если бы люди хоть на один день перестали верить ему и его единомышленникам!

Власть все-таки у него была. Правда, использование ее в таких делах было чревато опасностями для него самого. Но какое это имело значение,

когда многие миллионы людей ежесекундно рисковали жизнью и отдавали жизнь, считая, что это не такая уж дорогая цена за то, чтобы оставаться человеком...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### 1.

Пароходы один за другим шли на Север. Везли они письма, похоронные и только изредка кого-нибудь из покалеченных войной земляков. Теперь и само понятие о землячестве куда как расширилось. Кедровцы теперь и полноватцев, и алтымцев и даже тех, кто из Березова, считали земляками и звали — «нашими»:

— Встретился на переформировании с нашим одним, с Падериным...

— Это не с Егоршей, племянником Падерихи?

— Нет, с Погребного. Он там до войны на рыбоучастке робил.

Редко кто на фронте не встречался с «нашими». И солдатские матери, жены и вдовы потянулись к вчерашним солдатам: авось и узнают какую-нибудь драгоценную подробность из воинской жизни своих единственных. А о ребятне и говорить нечего: она возжой таскалась за фронтовиками, жадно ловила каждое слово о взаправдашней войне от ее живых очевидцев и участников.

Сами же очевидцы и участники, как видно, еще не вполне отдышались от передыжек, что выпали им на долю, и то и дело нервный смехок прерывал воспоминания.

Ваньша при каждом подходящем моменте старался незаметно притутиться за спинами, когда парни, еще не понюхавшие пороха, тесно окружали кого-нибудь из пришедших с войны.

Больше всего ему в этих рассказах хотелось услышать имя своего отца. Как-то раз он даже отважился подать голос, когда Дегтярев рассказывал про атаку.

— Лонись в картину глядел, как в штыковую ходят. Киносборник фронтовой называется. Только там все не как на фронте, а как мы в лагерьях с деревянными винтовками по снегу бегали. И скок бодрый, и «ура» сытое. А настоящее «ура» — оно совсем не такое. Слыхал я его, когда санитар на волокушке тащил из боя: все одно что рыдание это «ура», когда издаля. Ну, прямо рыдают солдатки, ежели издаля. Когда сам решь, — не слышать, а издаля чувствительно.

— Дядя, а вы папу в бою не встречали? — неожиданно для себя во-рахнулся Ваньша.

Дегтярев оглянулся на Ваньшу белесоватыми глазами:

— Ты чей будешь, малец?

Ваньша не успел открыть рот, как кто-то уже подсказал:

— Лекаревых. Помнишь Степана Кузьмича?

— Как не помнить, — дернулся Дегтярев, — в сороковом за прогул до суда сподобил... Мать...

— Опомнись! На кого бельма выкатил?

Дегтярев скрипнул зубами и сказал:

— Где уж нам начальство в бою видать?.. Когда мы в бой — оно все позади нас.

— И врете вы все! И врете вы все! — как от боли закричал Ваньша. — Папа в бою всегда впереди всех! И врете вы все, как... как... си-  
вый мерин!

На багровом лице Дегтярева с некоторым трудом проступило удивление:

— Ишь ты...

— Врете! Врете! — кричал Ваньша.

Туман в белесоватых глазах заколебался и приоткрыл пронзительную голубизну, полную боли:

— Верно, малец, вру. А что папку твоего, Степана Кузьмича, не видел, так фронт — он вон какой огромный. На другом участке фронта твой папка. Слышал от других, что на соседнем участке воевал он.

Но не так этот случай поразил Ваньшу, как другой, что произошел в раймаге, где мать его торговала в отделе культтоваров, а тетя Катя Дегтярева напротив — в хозяйственном отделе.

Ваньша притулился в закуске за прилавком с интересной книжкой про братца Кролика и братца Лиса, когда в раймаге появился Дегтярев. Был он почему-то в галошах на босую ногу и завязки от галифе ползли за ним, как живые змеи. Пустой рукав выбился из-за пояса и болтался сбоку.

— Катька, долго еще ждать?..

— Коля, тише. Люди же...

— А кому какое дело, что солдат гуляет? Живой остался, вот и гуляет! Давай бутылку!

— Нету пока. После обеда Анна Дмитриевна обещала...

— Если будет после обеда, значит, есть и до обеда!

— Коля, постыдись...

— А кровь проливать не надо стыдиться? А руки-ноги терять тоже не стыдно? А с сучкой Тонькой праздновать не стыдно?!

В глазах серых губ Дегтярева показалась пена и он, широко размахнувшись ногой, метнул с нее галошу. Размах, видно, был слишком силен для израненного и хилого тела, и Дегтярев, чуть подпрыгнув, навзничь грохнулся на гулкие плахи пола во всю длину своего обуженного тела.

Он дергался, хрипел и бил ногами, бессвязно выкрикивая:

— Мы кровь!.. А вы!.. Мы кровь!..

Как там было дальше, Ваньша не знал: мать отослала его домой. Но страшный лик человека, который проливал свою кровь, не оставив себе ни капли, долго еще преследовал Ваньшу.

Бражничали фронтовики свирепо и лихо. Однажды из вольера заготовивсырья изъяли полуторагодовалого медведя, напоили его брагой и во-



дили по всему Кедровому. Медведя шатало от заплота к заплоту. Он был ничуть не лучше своих провожатых. В конце концов зверь оказался слабее человека и слег возле почты. Сопровождавшие его лица разместились тут же, возложив свои буйные головы на пьяного зверя.

Медведь проснулся первым. То ли похмелье гнуло его, то ли, не разглядев с просыпу, он запнулся и упал на своих собутыльников. И все бы ничего, но кто-то проснулся и звякнул его по уху так, что зверь застонал и скачками со всех четырех подался в свою клетку.

А когда собутыльники снова пришли за ним, схватился когтями за решетку двери и не дал ей открыться.

Не очень торопились фронтовики занять почетное место в трудовом строю тыла.

Однако, как бы ни был завлекателен праздник, и он становится в тягость, особенно для тех, на чьих глазах празднуют, но кому праздновать не ко времени. И беспощадная формула «Я кровь проливал!» — бледнела.

И Катя Дегтярева временами с отчаянием думала: «Почто ты, Колька, всю свою кровь до последней капельки не пролил?! Не позорился бы теперь!»

За тысячи километров война достигла Кедровое не только смертями и телесными увечьями. Страшны были судороги всякой обожженной души под тоненькой пленочкой заживления. Да и не у всех душа со временем заживилась: у иных она покрылась такими рубцами, смягчить или сгладить которые не под силу было никаким лекарствам.

## 2.

Санька совсем отбился от своих сверстников. Игры их и забавы он счел пустыми и ничемушными, когда на опыте познал, что время можно тратить с пользой, с выгодой. Но если еще совсем недавно его порой тянуло и даже утягивало к лапте или еще к какой-нибудь общей затее, то в последнее время он всячески сторонился беззаботной возни.

После того, как к ним с матерью «приходили», между Санькой и остальным миром возникло какое-то неуловимое пространство, которое нельзя было перешагнуть. Вроде как если смотришь не в окуляры, а в объектив бинокля: все становится неестественно удаленным, и нет никакой привычной меры такому удалению, потому что знаешь — до всего, на что смотришь, рукой подать. А видится — далеко.

Санька и сам толком ничего не понимал. Разбудил среди ночи стук в сенях. Мать торопилась надеть шубейку и все никак не могла попасть в рукав. В сенях надали так, что рассчитанный на лошадиные усилия дверной крючок сам собою выскочил из петли.

Первым в кухню ввалился Стрепков.

— Плохо принимаешь гостей, хозяйка! — остро сверкнул его золотой зуб.

Позади Стрепкова переминались с ноги на ногу еще двое.

— Засвечивай лампу, Косырина.

Мать не пошевелилась.

Стрепков чиркнул спичкой.

В колыхнувшихся тенях Санька распознал милиционера Истомина. И только тут испугался. «Неужто узнали, что я Громовские сети обчистил? Кто же мог доказать? Стерлядок за десятку отдал Шарову. Он только и знает...»

— Давай лампу, Косырина, — раздражаясь, приказал Стрепков и поспешно бросил сгоревшую спичку, — видимо, огнем прихватило пальцы.

И только тогда мать легко, как ночная птица, сорвалась с места и засветила настенную семилинейку без стекла. И Санька разглядел за спинами Стрепкова и Истомина сухонькую, но гнучую фигуру старика Шарова.

Стрепков протянул матери листок бумаги:

— Должен произвести у вас обыск, Косырина. Вот ордер. Со мною работник милиции Истомин и понятой Шаров. Истомин, приступай.

Истомин слезил в подполье с фонариком, да еще Стрепков ему подсвечивал своим. Заглянули на печку, в печку и под печку. В горнице тоже ничего не нашли. Только Стрепков обратил внимание на новые кирзовые сапоги:

— Откуда?

— Осенсь купила. У проезжего какого-то на пристани. Еще ненадеваны...

Стрепков внимательно осмотрел подошвы, каблуки и, ничего не сказав, положил сапоги на место.

Сам он ничего не искал, только внимательно приглядывался к Саньке и матери. Потом Стрепков придвинулся к столу, достал из планшетки лист бумаги, что-то написал на нем и сказал:

— Распишитесь, Косырина. Закругляйся, Истомин. А вас предупреждаю, чтобы не распространялись. Ни слова о сегодняшнем. Ясно?

И все трое ушли, не прощаясь.

Мать безучастно сидела на табуретке и, казалось, не услышала Саньку, когда тот оробело позвал ее:

— Мам, честное слово я больше не буду! Никогда не буду!

— Что не будешь? — как бы очнулась мать.

— Не буду! — у Саньки язык не поворачивался признаться во всех грехах. Но, может, он излил бы все-таки, что подспудно отягощало душу. Он был готов к этому. Только что пережитый страх, жалость к матери и к себе неудержимо тянули умыться щедрыми слезами, как в детстве, чтобы, как в детстве, неутешное горе сменилось чуть болезненным сладким покоем. Но жалобно скрипнула дверь, и сгорбленной тенью на пороге возник Шаров.

— Что же это такое, дядя Спиридон? — застонала мать и упала лицом в ладони.

— Поплачь, поплачь, Лимпида, — сдерживая густой рокошущий голос, сказал Шаров. — легче будет. Да к господу оборотись: все в его ру-

ках... Ты вот что, Лимпиада, на меня обиды и зла не держи. Меня этот Ванька-антихрист силком в понятия сунул. Как соседа. А я к тебе и к Максиму со всем уважением. Сама знаешь, какие мы себе хозяева... Вот... И сунул, значит, в понятия...

Он посмотрел на Саньку:

— Не бойсь, Шура. Бог не выдаст, свинья не слопаёт. Пошнурили и ушли. Невелик убыток...

Он еще что-то хотел сказать, но вздохнул и, только уже затворяя дверь, призадержался:

— Значит, покедова... Ты, Шура, заходи.

### 3.

Жизнь шла своим чередом. Кедровцы привычно делали свое дело: рубили лес, ловили рыбу, ставили на зиму сено и дрова, разгружали баржи и лихтеры с годовым запасом продовольствия, товаров, охотничьего провианта, керосина и солярки.

Когда приходили баржи и лихтеры, и в прошлые, мирные лета на разгрузку собирались почти все, кто мог нести хоть что-то, кроме себя. Собирались, как на праздник. Да, пожалуй, так оно и было: не суматошный и бестолковый аврал, а праздник был.

Мужики соревновались в силе. Особенно интересным и азартным было соперничество, когда выгружали мешочки с дробью, небольшие такие, продолговатые мешочки, по десять килограммов каждый. И все было наглядно.

Как-то завелись промеж себя Егорша Тихонов и Эйно Карху, из спецпереселенцев после финской. Егорша припросил пятнадцать мешочков на горбушу. Эйно тоже.

— Семнадцать клади, братва, справлюсь! — смеялся Егорша, когда снова в трюм спустились.

— Мне тоссе, как Егюорсса!

Егорша не смеялся, когда добрались до двадцати мешочков, а Эйно припросил:

— Ессо давай!

Правда, с двадцать второго его повело и груз рассыпался с горбуши, но смех был не обидный, а Егорша гоготал больше всех и хлопал Эйно по плечу:

— Молодцом, Суоми!

Эйно улыбался и уточнял:

— Зачем Суоми? Я карел.

...По каким дорогам ведет теперь война Егоршу Тихонова?

В рыбзавод пришли две баржи с солью. Их надо было опростать: одна нога здесь, другая там. Путина вошла в разгар. Рыба валом валила, а старые запасы соли вот-вот кончались. Да и погода могла перемениться. А соль, как известно, воды не любит.

Старая ли традиция собрала столько людей на рыбозаводском причале, напористое ли слово «мобилизация», возможность ли слегка разжиться солью для дома (из торговли она, как и многое другое, мало-помалу исчезала). Скорее всего, и то, и другое, и третье. Пришло столько, что не хватило ни носилок, ни лопат. В дело пошли старые мешки, ящики, а вместо лопат фанерки и дощечки.

Соль лежала в трюме навалом. И цветом, и видом походила местами на щебенку, местами на гравий, а то и на булыжник. Она слежалась, а от речной да, видимо, и от дождевой сырости запеклась почти броневой коркой, к которой без лома или пешни было не подступиться.

— Ничего, мужички, ничего, бабоньки! — балагурил Филька, опираясь на пешню, которой только что орудовал. — Сольца любит пот и опять же, наоборот. Ядреная сольца будет — солоне прошлогодней. А что серовата — то для скуса и ромата.

— А что такое — ромат?

— Это значит, чем роматне, тем наваристе.

Соль нагребают в мешки, носилка, тачки. Вереница людей, как замкнутая транспортерная лента. Она выносит из трюма под складские крыши новые и новые порции груза.

Кого тут только нет. И те, физический труд для кого тяжкое испытание, и те, что с ранних лет втянулись в унылую лошадиную работу. Но сейчас происходит такое, от чего примитивные мускульные усилия обретают духовность. Они стирают условные, но четкие границы и роднят людей, несхожих судьбою и опытом жизни.

В числе первых пришел на причал Митя-немой. Митя Холодов. В числе первых он впряг себя в тяжелую тачку. И чем больше уставал, тем больше радовался.

Вряд ли кто заметил, по крайней мере, обратил внимание, когда Митя прислонил тачку в сторонке и куда-то отлучился. Тачку прихватил кто-то другой.

Через часок пошабашили — малость передохнуть. Пристроились кто как на палубе под предполуденным солнцем. Филька лениво трепался:

— Такой здоровый кусок соли. Разбиваю пешней, а внутрих — червей видимо-невидимо. Ну, прямо кишмя кишат, подлюги. Все белые, жирные.

— Да ты обумейся. Филипп, что говоришь: какие в соли черви могут быть? — изумляется Черемниха.

— Да, значит, уж могут, ежеяи собственноручно видел.

— Врешь ты все.

— Не вру, а упреждаю. Для твоей же пользы, Марья Семеновна.

— Эк, хватил! Какая мне польза от вранья твоего?

— А такая, что не таскай домой кусками. Наче в капусту свою червяков напускаешь! — победительно ухмыляется Филька под общий хохот.

— Тьфу на тебя, пустобрех несчастный!

Но Черемниху уже не слушают.

На причале появляется Митя и с ним еще человек семь.

— А-а! А-а! — весело стонет Митя, махая фуражкой.

— Опять связался с этими... — горестно вздыхает про себя Андрей Васильевич Холодов на хмельную, по всему судя, радость калеки-сына. А когда распознает на причале Сидора Громова да Мишу Типсина, да Гришку Глазырина, отворачивается и с тяжелой бездумностью скользит взглядом по отполированной глади реки.

Потом опять оборачивается к причалу, поскольку Мишка Типсин кричит:

— Принимай пополнение, героический тыл, во главе с капитаном Холодовым!

— А-а, А-а, — подтверждает Митя.

— Поможем — как раз на перекур поспели! — скалит крупные желтоватые зубы Гришка Глазырин.

— Нажимай, кому делать неча! — с готовностью откликает Ильяка и думает про себя: дерьмово, что нет Петрушки Загайнова.

— Ну, по коням? — вопросом утверждает конец передышке Андрей Васильевич. И вчерашние солдаты вслед за Митей спускаются в трюм.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

### 1.

Не все мрачные прогнозы сарафанного радио сбывались.

Так, например, не пригнали никакую трудармию, которая, по слухам, состояла из одних отпетых ухорезов. Повальный тиф пока тоже не добрался до Кедрового. Хлебные пайки остались прежними. И вражеский флот не топил в узких протоках рыбацкие бударки и неводники.

Не все прогнозы сбывались, но кое-что оборачивалось и правдой.

Прошла мобилизация на лесоплав, в Лорбу, место с дурной славой из-за тяжелой работы, худой еды и женолюбивых десятников. Девчата и молодые солдатки боялись Лорбы пуще пожара и валом поперли в райбольницу. Там их уже поджидал фельдшер-акушер Манаенко, худощавый, с обличьем подгулявшего филина. Хрупкие стекляшки пенсне на монолитном носу не прикрывали его веселых, с острой ехидинкой глаз.

Проходя по коридору, он задержался у регистратуры:

— Много ли ко мне?

— Сколько есть — всех к вам главный велел.

Фельдшер-акушер окинул взглядом очередь и смиренно поинтересовался:

— У всех Лорба болит, гражданочки?

Которые охнули, которые фыркнули, которые залились румянцем.

— Как в пенсне глядели, — отозвалась Собянинская невестка Марфа. Манаенко, никак не отреагировав, зашел в кабинет и плотно притворил за собою дверь. Потом за дверью что-то звякнуло, скрипнуло и затихло. Потом дверь мяукнула и в проеме блеснули стеклышки:

— Трон готов, гражданочки. Кто первая ошастливит?

И дверь опять захлопнулась.

— Вот нечистый дух. Я на ревматизму надеялась. А этот обязательно сперва посадит на раскорячку, уж я его знаю по сенокосу, хрыча зловредного, — ругалась Марафа, — только все одно его доконаю!

— Тьфу, чего говоришь! Я, к примеру, не по женским, а с желудком...

— Так ему все равно. Он хоть на горло... через насквозь смотрит. Специалист потому что. И для плофипрактики...

— Для чего?

— Плофипрактики, говорю, так как по случаю войны вроде преудрежденье.

Малость расчужав, что к чему, из очереди первыми испарились девчата. Потом еще кое-какие пациентки засобирались по неотложным делам. И когда минут через двадцать Манаенко снова высунулся из-за двери, в коридоре не было и десятка человек.

— Кто с желудком — в четвертый кабинет, кто с сердцем — во второй, а верные подруги — ко мне! — ухмыльнулся фельдшер-акушер.

Не все худые прогнозы сбывались, но кое-что оборачивалось и правдой.

Хлеб на карточки давали, но стал он черным, сырым. Тяжелый мякиш отставал от корки и болтался в ней, будто корка была от другого мякиша. А сама корка неистребимо пахла прогорклым рыбьим жиром.

Деньги — легкомысленные оранжевые рубли, веселые зеленые тройки, легкие на трату, нейтрально-сероватые пятерки и десятки, ярко-коричневые тридцатки, которые так и просились лечь одна к одной в сундучок или еще куда поглубже — потеряли свою цену. А, может, наоборот. — прояснилась их настоящая цена и наглядно давала знать, что небольшой смысл — тратить ради их труды и дни.

Беспощадно обнажалась суть привычных, необходимых вещей и порою неожиданная, но неразрывная взаимная связь между ними. Чтобы иметь молоко, надо было иметь добротные довоенные сапоги, а чтобы иметь сапоги — располагать лишним мешком картошки. Первобытная экономия повседневной жизни с равнодушием стихийного бедствия учила ценить плоды человеческих рук.

Ваньша, понятно, и не пытался с такой отчетливостью формулировать свое отношение к этому. Просто ему было нестерпимо больно, когда мать и Бабоня начинали прикидывать, какие бы вещи обменять на молоко или на муку — к предстоящей зиме. Не жадность ныла в его душе, не скудость. В том, что дома становилось все меньше и меньше отцовских вещей, ему чудилось нечто такое, что опасно истончало связи между домом и отцом.

— Старуха Шарова к борчатке подговаривалась...

— К Степкиной борчатке? — под Бабоней резко скрипнула табуретка.

— А то к какой же? Не к Ваньшиной же.

— Ни стыда, ни совести...

— Подожди, маманя, дай толком сказать. За такую борчатку, говорит, от отела до запуска по литре каждый день договориться можно.

— Верь ей, колоде толстозадой. У ей вся совесть в окорок ушла! Аль про кустом забыла, Павлуныка?

Вряд ли мать забыла, если даже Ваньша до сих пор содрогается от злости и обиды.

Дело было где-то к середке марта. Даже, помнится, малость мело. Ваньша прибежал из школы и на успел бросить сумку, как Бабоня сунула ему бидончик:

— Сбегай за молоком.

— Дай отогреться, — затянул было Ваньша.

— Время не дает, паря. Картовничек гоношу.

Ваньша здорово любил картовник, да еще промялся за время уроков, так что бабке не пришлось повторять. Он вскачь понесся к Шаровым и только возле их ворот перевел дух. Пospел как раз ко времени. Старуха Шарова только что подоила корову и цедила сквозь ситечко в кринки пенистое парное молоко.

— Здорово, коли не шутишь, — помешкав, вполголоса отозвался на Ваньшино приветствие старик Шаров. Он сидел за кухонным столом и, покосившись на Ваньшу поверх очков, не вставая, протянул длинную моcластую руку к горке с посудой, поворошил там и вынул замусоленную тетрадку.

— Такс-с... Поглядим, — повернул он тетрадку половчее к свету висячей лампы.

Ваньша топтался у порога. Он всегда смущался в чужих людях и заходил в чужое жилье только по крайней необходимости. У этого же порога он всякий раз был бы рад провалиться сквозь землю, будто попрошайничал ради Христа или того хуже, будто от него ждали, что он тишком утянет что-нибудь.

— Гляди ты, а дивно время-то прошло, — удивился Шаров, копясь в тетрадке, — ты, поди, за молочком, соколик, прилетел?

— Ага...

— Так молочка-то нет.

— Как нет? — не понял Ваньша, взглянув на кринки. Старик перехватил его взгляд и усмехнулся:

— Есть-то, есть, да не про вашу честь... Ты вот что, передай Анисье Васильевне, что, стало быть, в расчете мы за костюмчик-то. Передай, денежки-то ноне даром стоят. Договаривались когда, — одна цена костюму была, а теперича другая... Вот. Передай...

Ваньша все топтался у порога.

— Дай-ка бидончик, — протянул руку Шаров — давай, давай, не бойся. У тебя, мать, осталось что в подойнике?

— С поллитру будет, — пробурчала старуха.

— Вот и плесни.

И уже Ваньше, подавая бидон:

— Передай Васильевне, как я сказал. И пуцай не честит меня скупердяем...

Когда Ваньша принес на доньшке молока, Бабоня взъярилась и, приговаривая: «В бельма бесстыжие выплесну, в бельма бесстыжие!» — схватила бидон и кинулась к Шаровым.

Картовника в тот вечер не было. И, просыпаясь ночью, Ваньша слышал, как судачат на кухне бабушка и мать...

— ...Дак как с борчаткой-то будем делать, маманя? — слышит Ваньша.

— Не верю я этим живоглотам. Да и жалко лопотины. Степка придет с войны и надеть нечего будет.

— Пришел бы, одежда същется.

— То верно, да не лежит у меня душа к такому делу.

— А Ваньше без молока нельзя с такими легкими...

— Мама, мама, мне можно и без молока! — отрывается Ваньша от книжки и выскакивает на кухню. — Не отдавай борчатку... этим!

— Тебе-то она зачем?

Ваньша молчит. Ему борчатка незачем. Ему страсть как не хочется ежевечерне ходить с бидончиком в чужой дом, задыхаясь от унижения и стыда. Борчатка ему незачем. Но из теплого овчинного меха не выветрился еще запах душистого табака, ременной кожи, тройного одеколона — запах всего, что носил и к чему прикасался отец.

## 2.

Шли дни, как пароходы, когда скользили напролет, а когда и задерживались так, что пропадал к ним всякий интерес. Только пароходы уходили и возвращались снова — одни и те же, а каждый день, при всем сходстве с предыдущим, был все-таки новым.

Отсверкав короткими грозами, проплыл по белым ночам июнь. Головоломным духом багульника и выжатой зноем из елей и сосен смолой истек июль. И август просыпал в тайге первые пригоршни рядной брусники.

Входили в загар спелости крупные дробины черемухи. После тихих парных дождей высунули изо мхов голые вспотевшие темечки младенцы-маслята. И уже нет-нет да и выглядывал из зеленого полога осин аловатый, как синичья грудка, предосенний лист.

В один из погожих дней устало тащились по тайге старик Шаров и Санька Косырин.

Вышли они из поселка в самую рань, после первых петухов. Старик неожиданно разбудил Саньку и, не дав ему путем проснуться, коротко распорядился:

— Пошли со мной. До крайности надо.

— Куда, дедо Спиридон?



— На кудыкину... — начал было раздражаться старик, но сдержался. — Тут недалеко, прихвати с собой кузовок.

— За грибами?

— За грибами, за грибами... Ты собирайся скорей, да обутки надень какие...

Когда шли по поселку, не встретилась ни одна живая душа, не взыала ни одна собака. И Санька, видя настороженную спину старика Шарова, сам отчего-то насторожился и молчал, хотя язык так и чесался от вопросов. Санька чувствовал, даже знал, что старику не до разговоров.

Молчком выбрались огородами на Подгорную сторону и спустились в Кержацкий лог, по самому дну которого шумно бежала по обкатанной гальне речка Безымянка. На жердочках-мостках какая-то женщина поло-скала постирухи.

— Тишше!.. — внезапно остановившись, зашипел старик, когда Санька наскочил на него.

— Я нечаянно.

Женщина посмотрела в их сторону. Лицо незнакомое. Видимо, из приезжих, которых за лето порядком понаплыло в Кедровое.

— Растележилась, — воркнул себе под нос Шаров, хотя женщина, взяв корзину, сошла с мостков на берег, чтобы освободить им дорогу, — понаехали тут всякие...

Санька понял, что старик не хочет, чтобы их видели. А почему, — про это оставалось лишь строить догадки. Ясно, что за грибами тайком не ходят. Да у старика, кроме ружья и сумки через плечо, ничего не было. Ружье — понятно. Охотников мало осталось, медведи шлялись рядом с поселком и походя драли коров. Насчет проверки чужих сетей — тоже не получалось: в той стороне, куда они направились, не было никакой подходящей воды — ни речки, ни озера.

Шли долго широкой просекой, и Санька едва поспевал за стариком. Встречь им над просекой поднялось солнце. Оно немного остыло за ночь и на нем ненадолго можно было задержать взгляд.

Едва успев нырнуть в неглубокий ложок, просека неожиданно уперлась в нетронутую топором стену ельника. Едва протоптанная тропинка вывела их на гриву и опять пошла под пологий уклон, лутаясь в цепких кустарниках.

Идти становилось труднее, потому что ноги чем дальше, тем глубже тонули в мягком мшаном ковре. Отогретая разгулявшимся ведренным ут-ром, дымными волнами заколыхалась мошкара, норовя попасть в глаза, в рот, в ноздри, забраться под воротник.

Никогда еще Санька не заходил так далеко в тайгу. Малинники и грибные места, обильные россыпи брусники и черники со всех сторон, кроме речной, подступали вплотную к Кедровому. Промысел ореха тоже был рядом. Да и любую мелкую свежатину от зайца до глухаря можно было добыть и на километр не отдаляясь от крайних построек.

Ноги утопали все глубже и глубже. Вскоре под ними захлюпала вода.

Ельник сменился чахлым сосняком, а тот уступил место редкому мелко-лесью. А мелколесье, расступившись, открыло зеленую болотину, за которой довольно далеко впереди щетинилась ельником невысокая грива.

Шаров остановился:

— Теперича близко. Перейдем эту хлябь, отдохнем, а там и рукой подать.

— Дедо Спиридон, через болото?

— А то как еще? Иначе как через болото тут не пройдешь... Промылся, поди, Шура? Солнце вон куды поднялось.

— Да нет...

И в самом деле, у Саньки пропал голод, когда стало ясно, что придется переходить через болото. Спрашивать, зачем да почему, было поздно, и Санька смирился перед неизбежным.

— Вот что, сыми сапоги.

Санька снял.

— Клади их в кузовок, а кузовок давай сюда.

Старик Шаров достал из-под куста небольшую жердочку и подал Саньке:

— Теперича глаза в руках держи, ступай, куда я ступать буду. Ежели повалишься, падай на жердину, не даст провалиться... Робеешь?

— Н-нет, — нерешительно откликнулся Санька.

— Ну и верно, Шура, нечего робеть: раньше смерти не помрем. А я тут кочку каждую знаю. Только ты по моим следам, по моим следам стремись. И никуда в сторону — тогда беда... Ну, пошли, Шура. По моим следам!

Санькины глаза застилал въедливый пот, в них лез гнус и летели грязные шмотья из-под Шаровских бродней, когда тот прыгал с кочки на кочку. Санька, напрягаясь до дрожи, прыгал следом, порою немного помогая себе податливо уходившей в бездну жердочкой.

— Не опирайся, неси на весу! — рявкнул старик, обернувшись.

Немного передохнули возле облезлой, умирающей сосны на мизерном острове.

— Ну, теперь совсем рукой подать... — переводил дыхание Шаров, — жердину оставь тут. Прислони к дереву. Тут дальше не опасно, грязь только. Однако ты все одно не зевай — по следам иди... Устал?

Санька только мотнул головой.

Наконец, уляпанные с ног до головы прилипчивой болотной грязью, они приникли к сухим и теплым корневицам живых елей, к надежной твердой земле, присыпанной старой хвоей. Санькины руки и ноги вздрагивали от усталости, и глаза помимо воли закрывало отяжелевшими веками.

— Давай, Шура, пожумряй маленько, заработал, — расслабленно хохотнул старик Шаров, вынимая из сумки и тут же разворачивая свертки, — малосолки вот бог послал, нельмочки. И мяско есть, яички...

У Саньки слюнки возжей потекли и аж заломило в челюстях при виде такой внуснятины.

— Давай, Шура, не робей, тут хватит досыта, а придем в избушку, еще подмолотим чего.

— А далеко еще?

— Да нет, недалеко теперича.

Мир снова раздвинулся над Санькиной головой. И был он безопасен и приветлив. И Саньке стало смешно, что он так трусил на переходе, и нисколько не стыдно было за трусость.

— Дедо Спиридон, знаешь, как я испужался перед той сосенкой, когда ты по пояс ушел?

— Да и мне страховато сделалось: неужто, думаю, промахнулся? Потом чую: на твердом стою. Ну, господь спас... Сколь хожу к избушке своей, каждый раз страх терплю... Боронит бог, однако.

— А мы в избушку твою идем?

— Туды.

— А...

— Не торопись, Шура: все узнаешь в свой час.

От усталости и сытости Саньше лень было даже пошевелить языком.

— Я вот что спросить у тебя хочу: ты папаню своего любишь?

— Да что ты, дедо Спиридон, спрашиваешь? Знамо дело, люблю!

— И все бы для него сделал?

— Все бы сделал, только бы живой остался и домой вернулся.

— Вот я и вернулся, Шура! — раздался позади вздрагивающий голос. Хрустнул сушняк, и от смутной тени кустарника и разлапистых елей отделился человек. Борода, как серый лишайник, свисла со щек и подбородка, только глаза угольно, знакомо горели на чужом лице под козырьком кепки. И до озноба, до немоты пугающ он был не одичалым обликом, а противоестественным присутствием здесь, на дремотном клочке урмана, посреди болотной трясины.

— Не узнал?

— Папка... — еле двинул Санька одеревеневшими, как на морозе, губами. Происходящее настолько противоречило реальности, что Санька крепко, до ломоты в скулах, зажмурил глаза. Он зажмурил глаза и почувствовал, как дрожащие руки обнимают его, гладят, ласкают. Его лицо, прижатое к телогрейке, потонуло в резком запахе давно немытого тела и крепкого самосада, к которому примешивалась холодная горечь дыма давно остывшего очага. И Санька зарыдал от неизъяснимой тоски и жалости.

— Ничо, ничо, сынок, — Саньку осторожно гладили отцовские руки. Такое вот — ласковое и осторожное прикосновение этих рук он испытал только однажды, когда отец уходил на войну.

— Ничо, ничо, сынок...

— Сомлел парнишка. Ладно, Максим, навидаетесь еще. Пошли в избушку — береженого бог бережет. Да и принес я кое-что... ради свиданьца...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

### 1.

Лукерья по привычке хотела подsunуть солдатский треугольник под дверь, но заметила, что замка нет, и замешкалась: «Зайти или уж не надо? А, ладно: зайду — поглядеть, как счастливые люди живут». Она вошла в сумрачные сенцы и постучала о косяк.

— Заходите, не заперто, — глухо откликнулась Антонина.

— Не ждешь гостью? **Добрый вечер.**

— Милости просим. Проходи... Ждала-ждала и ждать перестала...

— А к тебе не шибко и попадешь: замок да замок все. Поцелуешь пробой да воротишься домой.

— Скажешь тоже... На работе я днем-то... — Антонина выжидательно посмотрела на Лукерью. — Поди, и сейчас по заделью какому — с сумкой своей.

«Ага, не терпится узнать! Помучайся, помучайся, подружка!» — с какой-то озорной злостью подумала Лукерья, а вслух вяло отперлась:

— Да какое там заделье? Смотрю, открыто. Дай, думаю, зайду, погляжу, как живешь-можешь, что новенького...

— Чего там новенького? Живу... Это у тебя новости надо спрашивать: каждый день вон сколько домов обходишь.

— Так во всех домах почти одна и та же новость — горюют да тревожатся.

— А сама-то?

— Что сама?

— От Феди так ничего и нет?

— Так ничего и нет.

Обе испытывали неловкость, и разговор шел натужно, с остановками. И слова — что для одной, что для другой — значили самую малость. За словами и помимо слов они старались обнаружить другой, потаенный смысл. И если бы разговор передать так, как он складывался в их уме, то он бы звучал совсем по-иному.

«Любопытно?» — спросила бы Антонина.

«А ты думаешь? Еще как», — откликнулась бы Лукерья.

«Осудать пришла?»

«Больно надо. У тебя своя голова. Живи, как считаешь правильно».

«Не с тобой же, с монашенкой, совет держать. Засыхай сама, если хочется».

«Думаешь, война все слышет?»

«Спит — не спит, но и лишнего не припишет. Думаешь, Федор почему тебе писем не шлет?»

«Ну, скажи».

«Нашел там себе королеву походную».

«Побойся бога!»

«Бога нет. И совести тоже. Небось, слыхала, что фронтовики ска-  
зывают».

«Врут все, на себя наговаривают. До того ли на войне?»

«Ты, небось, не наговариваешь... Кому надо, тот и на войне найдет».

«Федя не такой...»

«А я такая? А ты что знаешь про меня, кроме того, что долгие язы-  
ки наболтали?! Ты ко мне с новогодья носа не показывала, так и судить  
меня нечего, подруженька!»

У Антонины бы даже прошибло слезу от обиды и злости на льнучих  
мужиков и злоязычных баб.

— Сымай ярмо, — кивнула Антонина на почтарскую сумку, — да  
проходи в горницу. Я незадолго до тебя керосинку запалила, чай поста-  
вила. Попьем вместе. Со свежей брусникой. В воскресенье за лесхоз бе-  
гала, набрала.

— Не беспокойся ты, — не очень искренне откликнулась из горницы  
Лукерья. С утра маковой росинки не проглотила она, разнося почту, так  
что и ноги и руки дрожали от голода и от усталости.

Лукерья села возле стола и с ревнивой придирчивостью оглядела не-  
большую чистенькую комнатку, любопытствуя, какие могли произойти пе-  
ремены с тех пор, как она не была здесь. Но изменений никаких вроде  
не произошло. Кровать — полутораспалка, с горкой подушек и голубым  
пикейным покрывалом по-прежнему поблескивала никелированными ши-  
щечками. Лопухие листья герани выглядывали из-за белых, тронутых по  
нижним углам вышивкой, занавесок. Та же большая рама на стене с  
многочисленной живой и покойной родней под стеклом.

Только над комодом в простенке висела новая большая фотография.  
Павел на ней снят в военном, по пояс. Он, видимо, стоит, погому что си-  
дячий так молодецкато не расправит плечи. В пилотке на стриженной голо-  
ве. В петлицах на воротнике по три треугольника.

— А эту карточку я не видела.

— Она недавно. Перед весной прислал. Алеша Супротивин увели-  
чил, — заглянула из кухни Антонина, — хорошая, правда?

— Хорошая карточка. Да и сам неплох, — не удержалась Лукерья  
от капельки яда.

— Уж верно, — хохотнула Антонина.

— Луша, возьми тут клеенку, накинь прямо на скатерть.

Куда и девалась настороженная скованность. Может, она пропала от-  
того, что в давно знакомом и приветливом для Лукерьи доме все остава-  
лось, как было в другие, счастливые времена. Она и позабыла, что при-  
шла сюда, неся в сердце острый холодок враждебности.

Когда на столе уже стоял чай, и глазунья на сковородке, Антонина  
вдруг звучно хлопнула себя по пышным бедрам:

— Чуть не забыла, голова дырявая! С того нового года еще сохрани-  
лось. Портвейное... — пояснила она, выставляя распечатую бутылку. —  
И добавила, с веселой насмешливостью блестя глазами: — Ты тогда не

успела попробовать. Ладно, не хмурься. Мне ни тарелки, ни вывески Стрелковской не жалко!

И обе захохотали, заново и по-новому переживая новогоднюю историю.

— Ты ешь, ешь, — потчевала Антонина.

От рюмки вина и сытости лениво и усмешливо кружились мысли. И только случайно попавшаяся на глаза почтарская сумка напомнила Лукерье про письмо.

— Я ведь порадовать тебя пришла, — метнулась Лукерья к сумке.

— Письмо?!

— Оно самое!.. Попляши, попляши, у тебя ножки хороши!

Антонина вздрагивающими пальцами развернула и бережно гладила смятый по сгибам листок с торопливыми следами влажного чернильного карандаша и жирными вычерками военной цензуры. Она нестерпимо жаждала впиться глазами в этот листок, чудом прилетевший из грозного полымя, но оттягивала этот момент. Ведь письмо было в руках и, значит, дышал, жил человек, написавший его. И это было так велико — почти все, чего желала для себя Антонина, — что сердце просило хоть маленько перевести дух.

— Не обращай на меня внимания, читай. Читай, не мучай себя!

— Сейчас, сейчас...

Антонина пробежала глазами несколько начальных строчек. Взгляд ее метнулся к концу, потом к началу и растерянно остановился на Лукерье:

— Ничего не понимаю... — почти беззвучно пошевелила она посеревшими губами. — Ничего не понимаю... Прочитай вслух.

— Да как я...

— Прочитай, Луша. Я не могу... У меня глаза не верят... Читай!

Лукерья опасливо взяла письмо.

— «Добрый день или вечер, Антонина Ивановна. С приветом к вам бывший муж...» — начала Лукерья и осеклась, боясь взглянуть на Антонину.

— Читай!

— «...к вам бывший муж Павел Белых...» Нет, не могу.., не могу, Тонечка!

## 2.

Не все предсказания досужих языков сбывались, но кое-что оборачивалось и правдой.

Эвакуированных навезли. И гораздо больше против ожидания. Суток двое прогомонили они на площади огромным горестным табором, обнажив перед кедровцами нищету и сиротскую неприкаянность.

Старожилы вслушивались в незнакомый говор цыганистых южан, в распевную речь коренной близмосковской России и сокрушенно качали головами: где только не сорвала людей война с родных насиженных мест!

Но больше всего поражали душу ленинградцы, особенно дети. Голубоватые от бескровья, как безобидные привидения, неуверенно маячили они возле ближней продуктовой лавки. Одни только глаза жили на неподвижных лицах. И эти страшные глаза неотрывно смотрели на сырые ломти пайкового хлеба...

Мало-помалу табор рассасывался.

Часть эвакуированных развезли по рыбоучасткам. Остальных, не дожидаясь официального уплотнения, разобрали по домам кедровцы.

Ваньша, стоя на толстом чураче, обирал в палисаднике черемуху. Исполу, как говорила Бабоня: одна ягодка в корзинку, другая в рот. Пахучая, сладкая, с едва заметной горчинкой мякоть бархатисто обволакивала язык и десна и как бы дразнила: еще, еще возьми.

Корзинка уже наполнилась до половины, когда Ваньша услышал слабый и дробный голосок:

— Мама, посидим на скамеечке, у меня ноги не идут!

Ваньша раздвинул густые ветки и увидел на улице измученную женщину и девочку. Женщина держала в руках сверток. «Ленинградцы, наверно». — предположил Ваньша.

— Мальчик, — заметив его, позвала женщина, — кто-нибудь взрослый дома есть?

— Бабушка, — откликнулся Ваньша, — вы заходите, калитка у нас не закрывается. И крикнул в открытое окно: — Бабоня, к тебе!

Женщина и девочка нерешительно приблизились к калитке, и во дворе послышался приветливый Бабонин голос:

— Проходите, проходите, гостями будете.

— Да нет, зачем же проходить и беспокоить вас? Я всего минутку стниму. Я хочу узнать... Я хочу спросить, нельзя ли у вас купить немножко продуктов?

— Какая купля нонеча?

— Тогда, может быть, обменяете на этот свитер? Посмотрите, он еще совсем новый... Рукава вот немножечко попачкались. Я в дороге на Лелечку его надезала... Знаете, на реке по ночам сыро и холодно... Все боялась, как бы Лелечка не заболела и не умерла, как Игорек... Он тоже...

Так странно звучал голос женщины, произнося сбивчивые слова, что Ваньше захотелось непременно увидеть ее лицо. Он палисадом обежал дом и оказался у крыльца, на котором оцепенело стояла Бабоня. А женщина с первой ступеньки протягивала ей яркий свитер. И все говорила, боясь сделать паузу и услышать отказ.

—...тяжело терять... Измучилась страшно, на полчаса вздремнула, не более, проснулась будто кто-то толкнул, а он уже остывает... И слезинка в уголке глаза... Он плакал и звал меня, а я... Лелечка слабая...

Лицо женщины, каким он его увидел сквозь ветки, показалось ему старым, почти не моложе Бабони, а голос был молодой и звучный.

—...он совсем новый. Нам нужно совсем немножечко, чтоб только Лелечке покушать...

— Совсем-совсем немножечко, — слабеньким эхом повторила девочка и потупилась.

Это было так неожиданно и так безнадежно, что без труда дошло до женщины, забывшей обо всем на свете, кроме того, что необходимо добыть хоть немного еды для девочки. Она умолкла, и ее сухие, горячие, огромные от худобы глаза медленно поплыли в слезах.

Ваньша торопливо проглатывал подкатившийся к горлу спазм.

Бабоня вышла из оцепенения и махнула рукой на свитер, смятенно повторяя:

— Как можно? Как можно? Убери, милая... Как можно? Спрячь...

— Не обменяете? — испуганно просила женщина.

— Нет! — почти выкрикнула Бабоня.

Женщина повернула, чтобы уйти.

— Постой! Ты куда отправилась? В избу заходите. В избу, говорю, заходите! Я говорю, в избу заходите, — будто меленькой объяснила Бабоня женщине.

— Так ведь...

— Заходи, девочка, не робей.

Девочка первой шагнула к крыльцу.

— Ну, ну, иди да маманю веди с собой.

— Мама, идем! Бабушка нас приглашает к себе в гости!

— Приглашает, приглашает, заходите.

Девочка потянула мать за руку:

— Бабушка добрая, не бойся, мама. Она хлебушком угостит.

— Ох, ты, господи, господи! Да заходите же! Ваньша!

А Ваньша уже бежал в палисад. Когда он вернулся, неся корзинку с черемухой, гости уже сидели на лавке возле обеденного стола. Бабоня в закутке возле печи разжигала керосинку.

— Сейчас грибки жареные разогреем, свежие грибки, нонешные. Это скоро у нас.

— Право... Простите, я не знаю, как вас называть...

— Анисья Васильевна я. Молодежь кто теткой Анисьей, кто бабкой Анисьей кличет. Внучок вот Бабоней окрестил. Ваньша, сходи-ка в погреб, достань молоко. Крынка на верхней ступеньке стоит.

Ваньша извлек из подполья холодную, запотевшую кринку. Бабоня поставила на стол две полные кружки молока:

— Заморите червячка, пока жарево подходит.

— Ой, не знаю, как благодарить вас, Анисья Васильевна, вы нам жизнь возвращаете!

— Так уж и жизнь... Пейте на здоровье.

— Как вкусно! — задыхаясь от наслаждения, прошептала девочка.

— Лелечка, не спеши, некрасиво.

— Тебя-то как называть?



— Простите, — почему-то из-за такого пустяка страшно смутилась женщина. — Я, как последняя невежа, не представилась вам. Зоя Викторовна. Зоя Викторовна Муравская...

— Допивай, Зоя Викторовна, молоко, опрастывай кружку. Я еще налью. Ой, заболталась! Пристынет к сковородке-то...

Когда Бабоня поставила на стол грибное жарево, помидоры, набравшиеся бледного румянца в отслужившем свой век валенке, молодого перового лука, горку домашнего хлеба, Зоя Викторовна и Леля так распахнули глаза, будто первый раз в жизни видели пищу.

— Это все нам?

— Лелечка, стыдись... — почти простонала Зоя Викторовна, стараясь погасить ресницами голодное свечение глаз.

— А что стесняться? На то и сготовлено, чтобы кушать, — положила Бабоня вилки.

— А вы... а мальчик...

— Да мы перед вами только отпаужнали.

Ваньша смутился и ушел в комнату. Он считал стыдным смотреть на людей, занятых едой. Так его воспитывали. И сам он чувствовал себя, как на угольках, когда чужой человек заставал его за столом. Он не любил даже, когда Бишка садился перед столом на хвост и дрыгал передними лапами, выслуживая кусочек.

Анисья Васильевна сидела напротив своих нечаянных гостей и, оперев острый подбородок на темную высохшую руку, жалостливо смотрела, как малышка с беспомощной щенячьей жадностью ловила вилкой ускользавшие грибы.

— Не торопись! — воспитывала Зоя Викторовна.

— Не приструнивай, приспособится.

Временами глаза ее, полинялые от всякого-разного, что пришлось повидать в жизни, присматривались к чему-то настолько дальнему, что становились, как щелочки на мятом пергаменте. Наверно, они видели пыльную и горячую от зноя дорогу, по которой еле переставляла она одереветневшие ножонки, держась за материнскую юбку. И всю в заплатках нищенскую суму через плечо. И заскорузлые корочки на невымытой ладошке... Очередной тысяча восемьсот голодный год над притихшими деревнями России... И выплывшие глаза обволакивало мутноватой влагой.

— Большое вам спасибо, Анисья Васильевна!

— На здоровье... Ягодок поешь, Леля?

— Не надо беспокоиться, она не хочет. Ты не хочешь, Леля? — внушающе спросила Зоя Викторовна.

— Ну как не хочет! — рассмеялась Анисья Васильевна. — Малому ягодка конфетки слаще.

Леля осторожно, но шустро, как воробышек, по ягодке подбирала черемуху. Зоя Викторовна мелкими глотками прихлебывала чай.

— Ты скажи, Зоюшка, далеко ли дом-то ваш? Не из Ленинграда слушаем?

— Нет, в Киеве жили мы...

— Это не там ли, где святые места Печерские?

— Там.

— Слыхала. Знать, до того Киева язык доводит. Не доведет теперича... Работала где, али при детях состояла?

— Работала. Артисткой была в филармонии, пела.

— А хозяин-то на войне?

— Муж? — догадалась Зоя Викторовна. — На фронте. Он военный, в первый день ушел. Не знаю только, жив или нет. Разбросала судьба. Через месяц и мы от бомбежек сбежали, — она умолкла, но, уловив в глазах старухи сочувствие, нервно зашепила выговорить все, что почти не встречало отклика на скорбных беженских дорогах...

— Мама, — прошептала Лелечка, — я так спать хочу, что просто невозможно.

— Сейчас пойдем, сейчас пойдем, — торопливо засобиравлась Зоя Викторовна.

— Куда пойдете-то?

— Туда, на берег. Нас старичок один в сторожку переночевать пускает. Он склады сторожит.

— Это Шаров-то? Да он, поди, обобрал вас до нитки, аспид собацкий? Как был кулаком, так и остался.

— Что вы, что вы, я только пыльник ему отдала.

— Чего?

— Пальто такое, очень легкое, для лета.

— Дождется когда-нибудь, живоглот, все слезки отольются.

— Мама, я сейчас усну...

— Разморило от еды-то.

— Сейчас пойдем, доченька.

— Вот что, никуда вы не пойдете, Зоенька. Ваньша, вынь подушку да одеяло на твой диванчик. Ляля спать хочет... Ты, Зоенька, не делай такие глаза.

— Да у нее эти... паразиты...

— Вши, что ли? Делов-то! Сегодня у Холодовых баня. Всю скотинку выпарим. Эка невидаль.

...Недаром замечено, что человек, если он в действительности человек, даже погладив на улице бездомного котенка, почувствует на себе обязанность перед неразумным сгусточком жизни. Может ли он, пусть минутно обогрев человека в беде, бросить его на произвол судьбы, если в силах помочь и дальше?

Так нежданно-негаданно выросла семья Лекаревых.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

### 1.

Война не война, а молодость брала свое. Она куда настойчивей, чем в мирное время, подступала к сердцу, считая торопливые дни. Женихипогодки вот-вот должны были уйти на войну. Вечерами, когда они с деревянными винтовками пылили в ополченском строю, девчата, пощелкивая кедровые орешки, чинно прогуливались по дощатому тротуару и слушали бодрые песни:

Бей, винтовка,  
Метко, ловко  
Без пощады по врагу!  
Я тебе, моя винтовка!  
Острой саблей помогу!

Были и еще песни — из новых:

Эй, комроты,  
Дашь пулеметы,  
Дашь батарей,  
Чтобы было веселей!

преувеличивала одна уставные права и возможности ротного командира. И в этом же духе ей откликнулась другая:

Боевая честь нам дорога.  
Кони сытые  
Бьют копытами.  
Встретим мы по-сталински врага!

Но плотнели мягкие августовские сумерки и умолкало натужное пенье, уступая тишину негромкому голосу души.

Просторная поляна под тремя огромными кедрами на взлобке речного яра с незапамятных времен привечала молодежь. Если бы из этих кедров понаделать скрипок, то те бы сами собой спели и про молодого казака, который по Дону гуляет, а потом размашисто проскачет по другой песне «через манчжурские края», и про Ермака, которому не так уж далеко оставалось плыть до этого берега. Сейчас кедры прислушивались к иным словам, к иной музыке, будто старались запечатлеть их в годовых кольцах для будущих поколений...

На длинной лавочке, на небольшой кучке бревен, давным-давно сваленных здесь невеста для чего, цыгарки короткими вспышками высвечивали то одно, то другое лицо. Арканя Бурков с баяном еще не приходил. И вялый разговор еле преодолевал дневную усталость.

— Загулял где-то Арканя. Поди, не придет.

— Как не придет, когда сулил прийти?

— Огурцы солила — стопочку сулила... — обрадовался Васька Рыбкин складному слову.

— Пальцем в небо, — подытожил Юрка Савиных и пояснил: — Все равно замена Фильке-трепачу из тебя не выйдет. Слаб на голову.

Девчата приснули, прикрывая платками губы.

— Тебе шестимесячную силу тоже скоро снимут, — огрызнулся Рыбкин.

— Скоро всех под нулевку, — напомнил Тима Старосельцев про близкое будущее, и перепалка погасла.

Но не страх перед ним, перед будущим, обозначила долгая задумчивая пауза. Молодость не верит в смерть. Ведь умирают только соседи, знакомые или знакомые знакомых. Печти все эти парни не бывали на юге дальше Атлыма, что километрах в шестидесяти от Кедрового. Их манило и заранее удивляло знакомство с громадным миром.

Пусть этот мир полыхал в огне. Тем более! Он звал их. Он сам боялся сгореть дотла. Он не мог без них обойтись.

— Через две недели отправимся. Точно, — сообщил Савиных.

— Ну да!

— На что спорим? Кто разобьет?

— Да ладно тебе! Откуда знаешь?

— Старший лейтенант на перекуре с Голоушкиным говорил. Говорил, к пятнадцатому со всего района призывники здесь будут. Говорил, пока формируют команду и пока парход придет, надо казарму где-то устроить. В клубе, наверно. Про клуб поминали.

— Ну, тогда точно!

Девчата притихли, прислушиваясь к разговору парней.

— Скорее бы! — вздохнул Савиных.

— Ясно: дома тебе меж Анчуткой и Нинкой страшной войны. Вот соберутся вместе да выложат, как Савраску. Куда без снасти пойдешь? — со смешливой задумчивостью отозвался Тима Старосельцев.

Смущенно захихикали девчата, гоготнули парни над котоватым Юркой.

— Понизят в должности до мерина, — подбросил угольков Васька Рыбкин, намекая на недавний перевод Юрки из мотористов в грузчики.

Парни захохотали так, что вороны заплодировали сонными крыльями.

— Понизят!..

— И карточки иждивенческие дадут!

— Сколько мерина ни корми!.. Ха-ха-ха! — хохотали ребята — не для обиды, а просто радуясь веселой минуте.

Возле черной хибары сельсовета раздраженно взрывнулся баян. Видимо, кто-то из добровольных носильщиков неумелым обращением причинил ему боль.

— Арканя!

— Ого-го! Про что смеетесь? — подходя, стозвался Арканя.

— Что за шум, а драки нет?

— А, Мартын с балалаем! — воскликнуло сразу несколько голосов, разглядев Илиодора Мартынова с баяном под мышкой. Заковыристое имя — Илиодор — сунтовилось улочному упрощению, и он именовался от фамилии — Мартыном. А поскольку чаще всего таскал Арканин баян, кто-то припечатал к нему прозвище. — «Мартын с балалаем».

— Ну, братцы кролики, будет вам песня. Только сегодня по репродуктору ухом зацепил. «Огонек» называется.

— «На позицию девушка» — так начинается? — робко подала голос Маша Телегина.

— А ты откуда знаешь?

— Я несколько раз слышала. И слова запомнила...

— Ну, коли так, — давай!

Арканя взял несколько звучных аккордов, как бы нащупывая мелодию.

На позиции девушка, —

с трепетной звонкостью начал рассказ девичий голосок, —

Провожала бойца.

Простые, безыскусные слова говорили о самой жизни, о самой судьбе:

Темной ночью простились  
На ступеньках крыльца.  
И пока за туманами  
Видеть мог паренек, —  
На окошке на девичьем  
Все горел огонек...

Будут и туманы, и дожди. И не раз пурга переметет дороги к терпеливому огоньку. И не один огонек, высоко вспрыгнув напоследок, погаснет. А чей и когда — этого еще никто не знает. Все еще впереди — и жизнь, и смерть, и бессмертие.

## 2.

Замедленной молнией косо перечеркнув небо, скользнула звезда.

— Я загадала...

— Что загадала?

— Не скажу...

— Почему?

— Нельзя говорить: если скажешь, то может не сбыться. Аркаша, ты много знаешь, много книг прочитал, это правда, что желания сбываются?

— Не знаю. Нет, наверное.

— Хорошо бы, если бы сбывались!

— А что хорошего?

— Как? — удивилась Маша. — Я бы на всю жизнь такого нагадала!  
— А другой кто со зла или сдуру тебе бы тоже такого нагадал!..  
— Нет, ты не понял... Чтобы только хорошие желания сбывались, а не злые. Понял?

— Чего же тут не понять?..

Они помолчали.

— Ты о чем думаешь, Аркаша?

— Так сразу и не скажешь... Не могу даже представить себе, что кого-нибудь из наших парней или меня могут убить.

— Аркаша, а тебе... не страшно?

— Страшно? — удивился Арканя. — Что ты! Я не об этом думаю. Я думаю, как потом будет, когда война кончится.

Он не сказал, «после победы», потому что был пока почти совсем не причастен к ней, к будущей победе.

— Мне по временам уже кажется, чтой война всегда была и что никогда не кончится... Конца ей не видно. Сегодня по радио «В последний час» слушала: наши опять отступают. Все отступают и отступают...

— Ничего, и наступать будем. Вот приморозит немчуру зимой, и хана ей будет.

— Аркаша, — голос ее неожиданно и странно вздрогнул.

— Что? — еле слышно откликнулся Арканя. Волнение передалось и ему.

— Аркаша, я все хочу спросить у тебя... Мы ведь почти не дружили. Правда? Почему ты последнее время меня провожаешь? Тебе ведь скоро уезжать, тебя, может, другая ждет... Нет, я не так говорю, я знаю, что ждет. Знаешь, как Ускова Лиза в тебя... Может, и тебе... Я хочу спросить, ты ко мне серьезно относишься или... просто так?

— Очень серьезно, Маша. У меня ведь с Лизой Усковой ничего серьезного не было.

— Знаю. Если бы было, я бы близко к себе подойти не дала.

— Она просто веселая...

— Я не веселая, — стараясь не выдать голосом невольного ревнивого упрека, сказала Маша.

— Ты — совсем другое.

Она и без того знала, что она «совсем другое», но ей хотелось слушать и слушать об этом.

— Забудешь про меня там...

— Нет, никогда не забуду!

Он взял ее ладони.

— Холодные... А ты?..

Она поняла, о чем он спрашивает, но, не отнимая рук, медлила, ей была приятна смятенность, с которой он ждал ответа.

— Ой, Аркаша, пальцы больно!.. Я буду ждать тебя, Аркаша. Всю войну буду ждать.

Незаметно поворачивалась над ними, как стрелка на циферблате, руч-

ка Звездного Ковша, отмеряя вселенское время. Но они не думали даже о земном, человеческом времени. И крупные спелые звезды были вовсе не звезды: это лучики солнца прожгли черный полог ночи, за которым бушевал ослепительный день.

3.

Замедленной молнией, косо распоров небо, вспыхнула и погасла звезда.

— Как трассирующая пуля... До сих пор не могу привыкнуть к тишине.

— Михаил, а вы долго были на передовой?

— Нет, всего три месяца. Потом по госпиталям загорал.

— Муторное дело.

— А вы тоже?

— Приходилось. В гражданскую. Примерно, в вашем же возрасте, порядочно провалялся. Не столько из-за раны, сколько от голодухи и тифа. Знаете, как было...

— Читал.

— Читал! — усмехнулся Барабаш.

— Я ведь не мог видеть, — смутился Михаил.

— Я не в упрек. Конечно, не могли видеть. Я о том, как быстро стало историей мое молодое время. Погодите, и ваша молодость станет историей, и гораздо скорее.

— Да, уж попал в историю. Влип, можно сказать, нога без пальцев и... — Типсин осторожно подвигал культей. — К протезу все никак не могу привыкнуть. Надену — будто пальцы в железо закованы, болят. Хоть и нет их, а болят... Вот что-то сыреть начала. Видно, опять рана откроется.

— Что же делать? Как-то надо привыкать к новому положению. Это единственный выход... Конечно, легко говорить, но это действительно так.

— Я же не жалеюсь, — досадливо мотнул головой Михаил, — я это как факт...

— Я и не подумал, что вы жалуетесь. Лично о вас я вообще ничего такого не думаю. Что же мы стоим? Давайте присядем... Барабаш усмешливо взглянул на Михаила. — А то меня ноги не держат. Устал за день чертовски. Вот тут на крыльце и присядем.

Эта встреча была, пожалуй, не совсем случайной. Михаил ковылял домой и когда проходил мимо райкома, Барабаш появился на крыльце и окликнул...

— Закуривайте...

— Ого! «Казбек»! — вырвалось у Михаила.

— Не дают начальству умереть без папирос, — рассмеялся Барабаш. — Я, Михаил, вот о чем хотел поговорить с вами.

Барабаш сделал глубокую затяжку, и огонек папиросы осветил его лицо, ставшее еще истонченнее от втянутых щек. Михаил ждал, что скажет секретарь райкома.

— Как думаете, нормально ли у нас обстоит дело с вашими товарищами, с фронтовиками?

Пожалуй, Михаил ждал этого вопроса, во-первых, потому что сам в последнее время задавал его себе, и, во-вторых, не почесать же язык уселся с ним на райкомовском крыльце Барабаш.

— Думаю, нормального мало.

— Это верно: нормального мало. А почему?

— От безделья все.

— Полбеда было бы, если только от безделья... Все гораздо серьезнее и глубже. Как тут сказать? Социальнее, что ли, политичнее.

Михаил насторожился. Он хоть и вскользь познакомился с жизнью, но всякого пришлось повидать. В том числе и любителей пришивать политику по любому поводу. Неужели и этот под медведя политику подведет?

— Не согласны со мной? Сейчас поясню. Думаю, согласитесь. Дело тут вот в чем: фронтовики наши на божницу себя посадили. Памятник соорудили себе... на постаменте из людской жалости. Но больше на собственной жалости.

Михаил заерзал на ступеньке: Барабаш вlepил в десятку. Точнее некуда. Разве сам Михаил не жалел себя? И разве с болезненным удовлетворением не замечал жалости к себе в глазах людей? Так, все так. И ощущение особой исключительности создавало видимость морального права совершать сомнительные поступки.

Так, все так.

Коль пролил кровь, коль прошел по самому краешку собственной могилы, так что земля осыпалась в нее из-под каблуков, значит, все дозволено и все по гроб обязаны искательно благодарить за исполненный долг.

Вон Дегтярев куражится: «Я кровь проливал!» Так если не проливать сейчас кровь, то как потом жить? Громов обижается: «Думал, после фронта должностенку дадут, которая попрличнее, думал, имею право, а меня в кладовщики к железу суют!» Дай ему должность какую, он со своей грамотешкой да по пьянке любое дело завалит.

А сам чем лучше? Инвалид... Пенсионер краснорожий. Неужто дела полезного найти нельзя? И с обеими-то руками грех было бы с грамотой да с головой лошадей понукать — для государства накладно. Ладно, руки нет, так голова-то при месте, в исправности!

—...страшное жалость с человеком натворить может, — проник в сознание Михаила голос Барабаша, — особенно жалость к себе. Она делает человека жестоким к другим людям... Не согласны? Не убедил? Возражайте.

— Да что тут возразишь?

— Я надеялся, что вы поймете меня. Знаете, почему?

— Почему?

— Потому что знаю, как вы здорово придумали с разгрузкой соли. Рука не после этого ли болит?



— После этого... Только не я тут организатор. Холодов во главе был, Митя... Дмитрий Андреевич.

— Знаю, все знаю. Скажите только, как вам удалось расшевелить на такое эту вольницу?

— Да на гордость мужскую поднадавили, — усмехнулся Михаил. — Дело внутреннее, полюбовное. Он вспомнил, как взъелся Сидор Громов, выпучив оставшийся глаз, на его слова: «Ты будто специально за ранением на фронт ходил, чтобы прятаться теперь за инвалидность!» «Что я, самострел, по-твоему?», «Никто не говорит, что ты самострел, а похоже, от передовой по скромности уклоняешься». «Да я покажу тебе за такие слова!» «Покажи на разгрузке, там жена твоя из сил выбивается. И мы, так же фронтовики, идем туда».

— Как сами дальше планируете жить, Михаил?

— Думаю, да ничего путевого придумать не могу. Наверно, учиться поеду.

— Куда?

— В педагогический хочется.

Но ведь вы, наверно, все перезабыли, что в школе прошли? И не подготовились...

— В том-то и дело. Год, пожалуй, пропадет.

— Вот что, Михаил, у меня к вам деловое предложение есть. Секретарь райкома комсомола у нас давно уже в школу обратно просится. Знаете ведь ее — Кузнецова Валентина. Да, откровенно говоря, не такого молодежного вожака в нынешнее время надо. Как смотрите, если при вашей помощи мы отпустим Кузнецову в школу?

— Как это — при моей помощи?

— А так: вы замените ее.

— Я?! Что вы! Я же о такой работе представления не имею, опыта совершенно никакого...

— Не знаете — узнаете. Насчет же опыта я вам скажу: тот, который есть у вас, не заменят пять лет мирной жизни — фронтовой опыт. А сейчас в тылу по-фронтовому надо работать, особенно в комсомоле. В общем, здесь мы с вами ничего решать не будем. Приходите завтра ко мне ровно в два. Вместе с товарищами обговорим, посоветуемся, там и решим. В общем, до завтра, Михаил.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

### 1.

Замедленной молнией, косо перечеркнув небо, упала звезда.

«Не моя ли», — подумал Максим, и хмельная слезинка запуталась в грязной свалявшейся бороде.

Сырым холодком потянуло со стороны болота и приятно остудило разгоряченное лицо.

«Ништо. До сих пор не пропал и дальше не пропаду», — успокоил себя Максим и отворил тяжелую дверь избушки.

С воли особенно тяжелым и спертым показался воздух в избушке. Плотнo спрессовались в нем запахи спиртного перегара, чеснока, махорочного дыма, овчинной кислятины и еще бог знает чего.

— Прикрой дверь-то, пиликалку задует, — пророкотал Шаров, заслоня хваткой ладонью зыбкий огонек жировой коптилки.

— Холера с ней, мимо рта не пронесем. Душно, глухо тут...

— Не ндравится, значит?

— А тебе нравится?

— Я что. Это ты теперича по одежке протягивай ножки...

— Больно веселый, погляжу, Спиридон Данилыч, — в голосе отца Санька расслышал знакомые угрожающие нотки.

Санька притулился на лежанке за печкой. Он лежал, боясь разлепить крепко зажмуренные веки и все еще надеялся, что вот сейчас он проснется и все окажется нелепым сном.

— Больно веселый. Как бы не попечалиться.

— На то и выпивка-закуска дадена, чтобы веселым быть. Ты не особачивайся, Максим. Давай садись, выпьем, а то сидим тверезые. Чую, разбавили паскуды спирт-то.

— Давай, выпьем, — вяло согласился Максим. Видно, свежий воздух и вспышка раздражения немного разогнали первый хмель.

Чокнулись. Крякнули. Занюхали.

— Давай еще — пустим внучка за дедушкой, чтобы чувствительней оказалось.

Молча закусили.

— Сугрев пошел. Чуешь?

— Чую, — повеселев, отозвался Максим. Тяжкий морок медленно сползал с души, и, казалось, отступала глухая стена, в которую уперлась Максимова дорога.

— Я думаю, зиму бы еще продержаться, а там все перевернется по-другому, — он понизил голос: — Шура... Шура, ты спишь?

Санька молчал. Что-то подсказало ему, что откликаться не надо и что он узнает самое главное, и все станет на свои места.

— Спит, намаялся парнишка, — сказал Шаров, — шутка — эво сколько верст отмахать... Так, говоришь, по-другому все повернется?

— Повернется. Какая силища прет, и нет ей останову. Может, на зиму замешкаются, зиму нашу не терпят, а летом или, на крайность, к первому снегу кончится все.

— Слава бы богу, слава бы богу! Закарачунят антихристово отродье. Глянуть бы, как закорчатся «товарищи»... У меня и так кой-кто корчится. Надумал я тут кой-кому письмишки черкнуть на войну.

— Какие письмишки? Зачем?

— Да так, душевно посочувствовать, значит. Пашке Белых, к приме-

ру. Так, мол, и гак, Паша: баба твоя паскудина подзаборная и ты что есть слову ейному не верь. а спокойно защищай Родину.

— Говнюк ты все-таки, Данилыч, как есть вонючий.

— Ну, ну, чистенький!

— Тише гуди! Шурка проснется. Ему не обязательно про все слушать. Мал еще. Да и мозги в школе свихнуть успели. Мало что...

— Борони бог! Я тихо... тихо... Давай за конец всему выпьем.

— За какой такой конец? Ты про что?!

— Сам-то тише!

— Никакого конца не будет. Самое начало начнется... Верну все папанино... Он уважает самостоятельных хозяев... Немец-то...

Санька чуть не вскрикнул. Он и раньше понимал, чтостряслась беда, виною которой был отец, но мозг защищался, придумывая всякие невероятности. Может, отец шпионов ловит, выполняя особое задание. Может, не приняли его в армию и он скрывается со стыда, ведь Санька сгорел со стыда, если бы его самого не приняли в армию. Но произнесенное вслух черное слово «немец» пронзило его насквозь, напавал убив спасительные фантазии.

Что делать? Что делать? Все существо его рвалось к какому-то активному действию, но он не знал, что и как делать, чтобы навсегда исчез этот бред наяву.

Отец и Шаров размашисто чокались, и разговор становился все бесвязнее. Но Санька уже не прислушивался к ним. Он знал все, что ему надо было знать, и ждал, когда хмель уложит их в мертвецкий сон. Ждал, чтобы уйти туда... «Туда» — значит, подальше от душного логова, к людям. Ведь так хорошо, когда много людей!

— Выпить еще найдется?

— Досыта хватит... Первый глоток в лавку упрется, а последний в горле булькать будет...

— Ты же только две приносил...

— А у меня и тут есть, ежели ты до меня не натакался... не натакался?

— Нет, не видал... Ты погоди... Ты про какой конец говорил?.. Какой конец?..

— Отродясь в том конце не был... Я токо сюды, к Лосиному болоту за зверем хожу...

— Ты меня зверем? Ладно... Зверь и есть... В берлоге...

...Отец храпел на лавке, а Шаров спал, уронив голову на стол.

Дверь тонко скрипнула, заставив Саньку замереть. Но отец и старик спали, и он выскользнул на волю.

Глухая ночь обступила его со всех сторон, и в ночи враждебно затаилась лес.

Санька хорошо помнил, что тропинка к болоту вела прямо от крыльца, никуда не сворачивая. Он нащупал ее ногами и осторожно пошел вперед.

Было страшно. Но еще страшнее было вернуться назад. Будто чья-то ладонь подталкивала его — иди туда, туда, к людям!

Когда Санька, наконец, выбрался к болоту, краешек неба немного посветлел, и Санька обрадовался, увидев на его фоне силуэт засохшего дерева.

«Теперь доберусь!» — и он сделал первый торопливый шаг, второй, третий. На островке возле дерева, передохнул, набираясь сил. Поискал жердину. Не нашел. Махнул рукой — так сойдет. На кромочке островка пригляделся к ближней кочке. Прыгнул. И трясина скользко расступилась под ним.

...Ночная птица вскрикнула, что ли, и снова тишина сомкнулась над болотом и лесом.

## 2.

Туманы курились над рекой и, грузно всплывая к небу, становились низкими тучами. Дождь хлестал набухшую землю. Серые тучи, серые лужи, серые дома...

В один из таких сереньких дней Петро Загайнов протиснулся через калитку: «Для клопов смастерили!» Он протиснулся через калитку и ветер бросил в лицо пригоршню дождя.

— Ух ты! — не выдержал он.

Ему отродясь не доводилось видеть такой красоты.

Ветер гнал рябь по канаве. Ветер рвал с палисадов листья, и они, березовые, осиновые, трепетными бабочками шарахались над безлюдной улицей.

Несколько минут назад Петра из вонючей одиночки Истомин отконвоировал к начальнику райНКВД Фоминых.

Большой кабинет был светел, чист и пропитан ароматом хорошего табака и одеколона. Даже в ноздрях засвербило от такого роскошества. Петро не удержал чих.

— Будьте здоровы, Петр Ильич! — весело сверкнул глазами Фоминых.

— Чего и вам желаю, — деликатно отозвался Петро.

— Ну, это вы бросьте! — рассмеялся Фоминых. — Пожалуйста, — показал он на мягкий стул возле своего стола.

— Да мне садиться расходу нет...

— И я так же думаю, — подхватил начальник, — но вполне можете. Вполне можете сесть, Петр Ильич, при вашей несдержанности, при вашей безответственности. Я рад вам сообщить, что дело следствием прекращено... Но должен предупредить. Должен предупредить: воздерживайтесь от резких высказываний. Слово не воробей... Подумайте, прежде чем сказать. Время сейчас такое, что разные люди одно и то же слово понимают по-

разному. Поэтому я и не приношу вам извинений, хотя в принципе обязан принести их. Но не буду. Можете обжаловать это обстоятельство. —

— Что вы, гражданин...

— Товарищ!

— Товарищ... Фоминых...

— И знаете почему? Я убежден, что вас надо было наказать. Конечно, не так, но надо было. Нельзя в такое время допускать разгильдяйства. Оно слишком дорого обходится нам. А сейчас идите, товарищ Загайнов, с глаз долой. Мог бы вас еще порадовать, но не буду... Хотя ладно — скажу: вас призывают в армию. У меня все.

— Спасибо, товарищ Фоминых! До свиданья!

— Ну уж нет! Прощай, по возможности, навсегда, друг любезный! Проводите, — крикнул он, когда Петро выходил из кабинета.

Какой чудесный день встретил его за тесной калиткой.

### 3.

Вот и пришло время проститься с Кедровым...

Пароход увозил парней.

Золотое осеннее солнце поднималось из реки у далекого створа, у мыса Большой Камень, и река пламенела и ослепляла.

Пароход увозил парней.

Он уже дотаивал в текучем пламени реки, а над высоким кедровским яром все вспархивали девичьи косынки и материнские платки...

Кончалось второе лето войны.

ВЛАДИМИР ТУРКИН

## МАЛЬЧИШКАМ ИЗ ГОРНОПРАВДИНСКА

Здесь, у пристани Горноправдинска,  
Им сегодня чортovski празднично.  
Толя с другом—таежники бойкие—  
Две вихрастые головы  
Не видали лишь фильмы ковбойские  
Да писателей из Москвы.  
В ожиданьи приезда нашего  
Возникали то там, то тут,  
А сейчас—впереди Агашиной,—  
Чуть подпрыгивая, идут.  
Знают, как вертолеты сделаны:  
«В—двенадцатый», «Ми—шестой»,  
Знают, как подо льдами белыми  
Рыба мучается маятой.  
Знают, как буровые вышки  
Землю вспарывают насквозь,  
А вот тех, кто делает книжки,  
Видеть в жизни не довелось...  
Не ругайтесь, отцы и матери,  
Что не тянет ребят домой:  
Вдруг Фадеев — из хрестоматии!—  
Выйдет к ним походкой прямой.  
И не надо над ними подтрунивать,  
Не в какой-нибудь «божий рай»  
Им сегодня с Юлией Друниной  
Убегать на передний край,  
Возвращаться живыми-целыми  
Из войны, как из темноты.

И на яркую авансцену  
Выносить тете Юле цветы.  
Ах, какого грядущего зарево  
Из-под Толиных брызжет век!!!  
Я шагами Толи Назарова  
Ухожу в двадцать первый век.

г. Москва.

ЕВГЕНИЙ ВДОВЕНКО

## У ЕРМАКОВОЙ ЗАВОДИ

В поводу ли иду у судьбы?  
Что сулит мне мечта дорогая?  
Дом заезжих дымит в две трубы,  
Примостившись под боком Вагая,  
Отряхнула тайга кедрачи  
И рябиной двory отрябили.  
Припоздалые бродят грачи  
По полям опустевшей Сибири.  
Я иду, не считая борозд,—  
Зря ли пуще неволи охота?—  
Углубляюсь в частину берез,  
Оттесненных тайгою в болото.  
В рукава убегает река,  
Островок огибая подковой.  
Здесь ли кончился путь Ермака?  
Заводь, вроде, его,—  
Ермакова...  
Ты не скажешь мне,  
Мудрый Иртыш.  
Мудрость рек  
Только рекам понятна.  
Вот и ты, мое сердце, молчишь,  
Не торопишь вернуться обратно.  
Загадалось ли что,  
Занялось  
И в твоих затонилось протоках,  
Словно дремлющий,  
Раненый лось,  
Не смыкающий чуткое око?



Не таись!  
Распружинь свой кулак!  
Пусть закроется глаз,  
Пусть подремлет.  
Пусть льяной,  
Мореликий Ермак,  
Как во сне твоём,  
Выйдет на землю.  
Выйдет,  
Свистнёт разок  
Да другой,  
Да сверкнет голубыми глазами,  
Да пройдет иртышской тайгой,  
Дорогими гремя железами.  
Он бы нам и понясть подсобил,  
Чьим земля здесь  
Дыханьем согрета.  
Пахнет хлебом и нефтью Сибирь,—  
Неужель он не знает об этом?

## ОДА ТЮМЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

На Тюмень набегают морозные тени,  
Поневоле по брови залезешь в меха!  
Сколько нас,  
Подсчитай-ка,—  
В Тюмень,  
Из Тюмени,  
На Ишим, в понизовья,  
На Вартовск, в верха!..  
Управления,  
Тресты,  
Отделы,  
Конторы,  
Что ни день,—  
По завязку набиты людьми.  
Мельтешат этажи  
И скрипят коридоры  
Да усердно машинки стучат за дверьми.  
Пусть потомки  
Тропы не отыщут к надгробью,—  
Значит, правда,

Ермак и поныне живет.  
И летят его струги просторною Обью,  
Над которой бессмертное солнце встает.  
Стрелы кранов повсюду —  
Не стрелы со свистом.  
Сталь со сталью встречаются здесь —  
Не мечи.  
Вышки прут из земли,  
По-сибирски плечисты,  
По-сибирски и кряжисты,  
Как кедрачи.  
А с тобольской горы оглянись,  
Осмотришь-ка, —  
Вся Сибирь,  
Вся Россия,  
Советский весь край  
Строят жизнь,  
Рукава засучив по-сибирски,  
Да такую,  
Что с нею мечом не играй!

г. Тула.

**ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ**

\* \* \*

Внизу —  
    снега, как синий воск.  
Мир обратился в карту.  
Летим в Тобольск!..  
    Идем в Тобольск  
по голубому марту.

Внизу —  
    леса  
и—птичий свист,  
внизу —  
    атланты-кедры,  
Поземка затевает твист,  
заигрывая с ветром.

И вот уже внизу —  
    ни зги,  
лишь в тучах —  
    солнца блески.  
Но в белой кипени пурги  
нам светит кремль тобольский!

г. Ленинград.



Прикрикнул, споры оборвав:  
— Да что вы, братцы, все о деле?  
Кто заикнется первым—штраф...  
Я знал людей в различном званье,  
Которым выпало хлебнуть  
Таких работ, что о призванье  
Неловко было бы загнуть.  
Но и в коротком перекуре  
Я не садился к ним чужим  
Лишь потому, что был в их шкуре,  
Что сам работал и служил  
Не там, куда мечта летела,  
А там, где жизнь внушила мне:  
Сознанье сделанного дела  
Живет с призваньем наравне!

\* \* \*

Я однолюб.

Не думал делать выбора,  
Они запели в прашуре, в отце—  
Зеленые холмы твои, Звенигород,  
И одноглавый храм на Городце.  
Я любовался красотой неброской  
Озер равнинных, чей характер тих,  
Но знал, что Невский, мой святой, мой  
тезка,  
Врагов Руси топил в одном из них.  
И Боголюбский для жены Улиты  
Построил церковь Покрова,  
чтоб в ней  
Оплакать сына после скорбной битвы,  
А значит—и для матери моей.  
Я однолюб.

И этой веры главной  
Не вытравить, не растворить в крови,  
И каждый храм вознесся одноглавый  
Во славу той единственной любви.

г. Москва.

ЮРИЙ НАДТОЧИЙ

## ЗАВИТЕНЬ

*Рассказ*

Глаза у него были пьяненькие и веселые. Печаль в них мы после рассмотрели. А тогда он фертом прошелся по залу районного Дома культуры, где работали мы с Витькой Синицыным, и объявил:

— Имеет честь быть посланным на помощь столичным художникам поэт, живописец и философ дядя Дима.

Изобразил он все это так здорово, что показалось мне, отпустит сейчас дядя Дима «алле» и закрутит что-то вроде заднего сальто. Наверное, такое же впечатление было и у Витьки, он даже напрягся весь, но дальше ничего не произошло, и мы со своих лесов стали бесцеремонно рассматривать маленького человечка с широкой улыбкой.

От его улыбки нам с Витькой вдруг тоже стало весело, мы прыгнули с лесов, а Витька схватил гитару, выдал что-то невообразимо приветственное и пророкотал:— Привет, старик.

— Я не старик,— ответил дядя Дима,— а выгляжу старше лет своих оттого, что позволяю себе, как говорит здешний врач Иван Федорович, злоупотреблять алкоголем, а также мыслями.

— Ну, тогда «позволим»,—кратко резюмировал Витька.

Я даже удивился. Себе-то мы не «позволяли». Мы очень торопились, до праздников оставалась неделя, а через неделю в этом зале должно было проходить торжественное собрание при новом, так сказать, интерьере. Вот из-за этого интерьера мы и не спали понастоящему уже третьи сутки. Вся загвоздка-то в том, что и Витька, и я, так, любители, до профессиональных оформителей нам далеко. Он — оператор на подмосковном заводе, я — студент. Но за дело мы взялись рьяно, тем более, у Витьки был кое-какой опыт, работал здесь в строительном отряде.

Потом, в Москве, долго рассказывал мне о большом северном селе, раскинувшемся на крутых красных берегах Мезени.

Вот и прогуливал я занятия в середине сессии на этих берегах.

Только не до них нам было. О работе Витька договорился заранее, и время — деньги. А до столовой маршрут короткий.

И сейчас Витька повторил свое присловье, убрал стаканы, велел дяде Диме разводить марганцовку и красить доски под старое дерево.

— Старое так старое, — согласился дядя Дима, прилежно размывая марганцовку. — А вы объясните мне, почему вы это дерево хотите старым видеть и почему все старое ценится больше?

— Красивше старое-то.

— Не только в красоте дело, — серьезно ответил дядя Дима, — но и в ясности, она со временем приходит. Видят ее немногие, те, кто сам ясен. Для этого души нужны, как у вас, друзья мои. Творите вы сейчас, конечно, халтуру, но это для вас временно и пройдет, и уважаю я вас поэтому, и люблю уже. А так, что — и на солнышке пятнышки есть, только утешаться этим не стоит.

Дядя Дима отбросил кисть, величественно встал среди своих досок.

— Вот Пушкин... чувствую я в нем уклончивость этакую. Кажется, и ухватил, ан и нет его, опять ушел. За что я к нему настроженно подхожу, не как к Лермонтову, тот весь открытый, как я, все равно.

— Загнул, — переглянулись мы с Витькой.

Мы и слушали, и не слушали дядю Диму. Нам нужно было до вечера установить пятнадцать люминесцентных ламп, за каждую по пять рубликов шло, потом сделать вокруг них этикие тени разноцветные. Делались тени просто: выдували на потолок краску из пульверизатора, вид получался художественный и оплата тоже. А насчет душ, так что ж, спасибо, только работать бы тебе, дядя Дима, быстрее надо.

Под вечер зашел заместитель председателя райисполкома товарищ Блинов. Хмыкнул, увидев дядю Диму, сказал: — Новое поприще, Дмитрий, нашел? — и стал расспрашивать Витьку о работе. Уходя, опять хмыкнул.

— Брат мой, — объяснил дядя Дима. — Вместе росли. Только не везло мне как-то. Талантами я страдал.

Лица у нас вытянулись.

— А который человек талантами страдает, тому человеку поначалу все кажется, что ему больше других возможно. Да и потом тоже кажется.

Он посмотрел на нас, дядя Дима, почему-то неудобно стало от его взгляда. Не знаю, как Витьке, а мне так очень неудобно. Может,

еще и оттого, что начал читать дядя Дима стихи. Свои. Это я понял по той тоске в его голосе, которая ни на миг не давала засомневаться в том, что раскрывает человек в беспомощных словах душу.

— Ну, как?— остановился он.

— Ничего, конечно, стихи,—согласился Витька.—Ты бы нам лучше, дядь Дим, о своей жизни рассказал, в стихах я что-то мало понимаю.

Врал, конечно, Витька. Немало понимал он в стихах. Просто нехорошо, когда жалеешь человека, а тут нам что-то уж больно жалко стало дядю Диму.

— Меня ведь Лебедев-Кумач за стихи хвалил,— говорил он.— В письме. После того и завертело. А все мне хотелось свет повидать, В армии отслужил и на поезд, Где работал, а где и просто ездил. На товарняках да на крышах вагонов.Смотришь вокруг — хорошо. Однажды мимо столба проезжал. «Азия — Европа» написано было. Разглядел. А эти на него из окна вагона смотрели, вот дураки. А разве из окна так видно!

Что-то притихли мы от этих слов.

— Мудр, ты, дядя Дима.

Теперь много времени уходит на треп, зато по утрам есть кому будить нас. Дядя Дима пробуждается, как птичка, рано. Он и спит с нами на диване в зале, встает, отряхивается и начинает расхаживать. От этого мы и просыпаемся.

Два раза приходила за дядей Димой жена, крупная, сильная женщина. Разговаривала тихо, вздыхала.— Завитень ты, Дмитрий Иванович, был, завитнем остался. Что людей-то смешишь? Ну, робь здесь, затеял опять, небось, что—бог с тобой, а ночевать-то домой все ходют. А ты, ишь худой какой стал, хоть бы и получал что.

Но домой дядя Дима никак не мог идти. Под вечер он становился неразговорчивым, загораживался ширмой и укладывался на наш диван только под утро.

Угадала его жена. Дядя Дима писал картину.

Я так и не увидел ее законченной. Картины пишутся долго, а время наше было короткое. Помню только, что чувствовался в ней размах, который никак не смог бы уложиться в рамки. Дядя Дима был поэт, но не мастер.

Кстати, уже в Москве мы с Витькой узнали значение слова «завитень», услышанного там, в районном Доме культуры.

Завитнями называют на севере деревья, волокна у которых идут не прямо, как у всех деревьев, а завиваются спиралью. Дерево это не то, что на постройку дома, а даже на черную баню не годится. Обязательно изогнется дугой и выпрет из стены. У предусмотрительных хозяев дорога им одна — в огонь.

Живи, дядя Дима.

п. Яр-Сале.



ИВАН ИСТОМИН

## ВСТАНЬ-ТРАВА

*Главы из второй книги романа «ЖИВУН».*

### СКОРБНАЯ НОЧЬ

Приполярье.

Лунная ночь.

Тускло светились звезды.

Завывал лютый северный ветер.

Лампа с увернутым фитилем еле освещает комнату.

— Пи-ить..

Илька разметался в жару. Бред и действительность перепутались в воспаленном мозгу. Временами он видел себя здоровым — действовали и руки и ноги — не парализованы. Но ходить не мог — не помнил, как ходить. Он почему-то летал и было ему весело и радостно. Лишь пить хотелось. Но он не мог напиться, хотя кругом была вода...

— Пи-ить..

Он видел себя уже среди утренних цветов. Мама купала его в росе. Приговаривала ласково: «Еще, еще, мой зайныка, мой маленький сыночек! Роса — травяная слеза. Чистая, радостная. Самая для тебя пользительная. Особливо со цветочков душистых-запашистых. Вон сколько их, ясных слезинок-бусинок в синих колокольчиках! Все их выльем-вытрясем на тебя!». А Илька, глядя на мокрые цветы, облизывал сухие губы: ох, как пить хотелось! Ну, мама же! Почему ты не слышишь?!

— Пи-ить!..

Еленя вскочила с кровати, взяла со стола кружку и поспешила к Ильке:

— Родной мой, долго звал, поди... И весь раскрылся..

Она поправила одеяло, смочила тряпку, высохшую на пылающей голове.

— Вот беда-то... Жар какой...

## 2.

В эту ночь торопливо шел по безлюдной улице человек. Морозно скрипел под его валенками снег. Временами он оттирал обожженные острым студеным ветром щеки. Был это председатель сельсовета Роман Иванович, прозванный по улочному Куш-Юром, Гололовым.

Куш-Юр повернул к крыльцу Варов-Гриша, Гриши-балагура, отряхнул от снега валенки, отворил дверь. Переступив высокий порог, задержался, негромко кашлянул—может, кто отзовется. Было тихо. «Спят»,— подумал Куш-Юр и кашлянул громче.

За пологом резко скрипнула кровать.

— Это я, председатель сельсовета. Срочно надо мне Григория... да и вас тоже...—прошел в комнату и, шумно передвинув стул, сел. Завозился в своих кроватках ребятишки. «Разбудил ребятишек»,— упрекнул себя Куш-Юр и негромко позвал:

— Вставай, Гриш.

Заспанный Гриш высунулся из-за полога.

Куш-Юр извлек из-под малицы листок бумаги.

— Здравствуй. Что стряслось-случилось?— хрипло со сна спросил Гриш.

— Ленин умер..

— Что, что?!.. Ленин?!..

— Да. Позавчера вечером. В шесть часов пятьдесят минут...

— Ой, ой, ой...

Зашевелились и спящие в соседней комнате. Куш-Юр, сгорбившись, беззвучно плакал.

— Ну-ка,— Гриш дрожащими руками взял бумагу и долго читал, хотя написано было немного. Потом отдал листок обратно, сказал горестно и растерянно:

— Как же так? Как же так?

— Бумагу из Обдорска доставил каюр. Телеграфа-то нет...— после долгой паузы сказал Куш-Юр.

Гриш, не слыша его, все повторял:

— Как же так? Как же так?.. Ленин скончался!..

Еленя тоже плакала. У Ильки жар заметно спал, и он различал в полумраке Куш-Юра, который уже собирался уходить.

— Кто умер, мама?

— Ленин...

— Владимир Ильич, — тихо добавил Куш-Юр.

Для Ильки Ленин был добрым богатырем из бабушкиных сказок. И то, что он умер, отнимало у него эти сказки, отнимало надежду на исцеление, которое мог принести ему добрый богатырь и волшебник — Ленин. И Илька заплакал горько и безутешно.

Куш-Юр взглянул на него:

— Разбирается...

— Болеет вот...

— Да-а, плохо у нас — до сих пор нет фельдшера...

— Ленин ведь ранен был? — спросила Еленя.

— Был... — вздохнул Куш-Юр. — Ну, я пошел. Не забудьте другим передать эту горькую весть. Ободняет — соберемся в Нардоме.

— Как тут забудешь-запамятуешь? — Гриш одним взмахом надел на себя малицу и вышел за Куш-Юром.

Морозный туман обдал его щеки, но не мог остудить. Прямо перед ним низко над горизонтом тускнела предутренняя луна. Она странно пульсировала: то раздваивалась, то опять обретала привычные очертания. Гриш вытер мокрые глаза.

Над поселком стояла хрустящая безлюдная тишина. Лишь ветер да шелест снега нарушали ее. И от этого на душе было столь маечно и тоскливо, что Гриш, проваливаясь в снегу, заметался по двору.

«Что-то надо делать! Что-то надо делать!» — лихорадочно пронеслось в мозгу. Гришу казалось, что если предпринять какое-то действие, то отодвинется от сердца, а может и уйдет навсегда, оказавшись тяжелым сном, жгучая тягость.

«Как же так — умер? Умер!» — билось в висках.

Он бесцельно метался по двору, пока не наткнулся на припорошенную снегом кучку жердей. Остановился.

«Древко. Древко для траурного флага сделать надо. Такое, чтобы флаг этот увидели все, у кого есть глаза!»

Гриш выбирал заготовку для древка, а мысли его были далеко. То есть они по-прежнему были прикованы к тому необъятному и огромному, что вбирало в себя слово Ленин, но они были обращены в прошлое и, как ни странно, в то же время в будущее.

Слово это, имя это Гриш впервые услышал от Куш-Юра, когда их партизанский отряд выкуривал из урманов колчаковские и кулацкие банды, в самое трудное, в самое кровавое время. Гриш знал, за что боролся тогда. Но сомневался, что такая гольтьба, как он, действительно способна взять и удержать власть в своих руках. В кровавую заваруху он бросился, очертя голову — от отчаяния. Но все равно было бы тяжело сложить ее за безнадежное дело.

Однажды у ночного костра, который со всех сторон обступала враждебная неизвестность, почувствовал он руку на своем плече и оторвался от невеселых дум.

— Что затосковал?—спросил Куш-Юр.

— Да просто так...—нехотя откликнулся Гриш.

Роман Иванович понимал, что совсем не «просто». И тогда Гриш услышал от него, что борются они за то же самое дело, за которое борется и Владимир Ильич Ленин. А Ленин это такой человек, за которым стоит вся партия большевиков и все трудящиеся. И нет такой силы, которая могла бы их одолеть.

— Если уж поднялся весь народ,—говорил Куш-Юр,—то его нельзя победить никаким выродкам. А если поднялся весь народ, то и ты с ним подымайся...

Так в самые трудные и решающие для себя дни с именем Ленина Гриш обрел веру и смысл жизни.

И он не терял этой веры даже тогда, когда развалилась коммуна, в которую он вложил всю душу: что ж, в чужие головы свои мозги не вложить. Не пришло еще время коммуны. Сегодня не поняли люди преимущества общего труда—завтра поймут. Да и перехватили малость тогда, обобществив даже домашнюю утварь... Это тоже надо понимать... В следующий раз уже не будет таких ошибок. Ленин путь покажет.

«Умер! Умер!»—опять застучало в висках.

### 3.

К утру не потеплело, хоть ветер приутих. Наоборот, мороз стал еще злее, сгустив воздух в зыбкий туман, в котором солнце походило на луну. Солнце было без лучей. Солнце было холодным. Солнце было серым, и ни одна живая краска не трепетала ни на небе, ни на земле. Только высоко над Нардомом кроваво стекал по древку траурный кумач.

Люди, оповещенные с ночи, шли к Нардому, и еще никогда на улице поселка не было так много людей и никогда не было так тихо. Люди смотрели на траурный флаг и опускали глаза. И если многие из них не понимали, не могли по полной безграмотности осознать всю трагическую глубину утраты—они были людьми. И частицы их скорби, сливаясь воедино, становились такой огромной и нестерпимой скорбью, что каждый из этих людей бессознательно старался нащупать локтем локоть другого.

Люди стекались к Нардому, но почему-то не решались войти. Они плотной и молчаливой толпой обступали высокое крыльцо и замирали в терпеливом и тоскливом ожидании.

Чужеродно заскрипела в тишине дверь, и на крыльцо вышел

Куш-Юр. И тишина стала еще плотнее — такой плотной, что трудно стало дышать. Председатель сельсовета был без шапки. И люди, увидев его бескровное лицо, неузнаваемое от страдания, повинуясь какому-то единому побуждению, тоже обнажили головы.

Горячечные, тоскующие глаза Куш-Юра вглядывались в лица, в глаза тех, кто стоял перед ним. Он судорожно сглотнул раздиравший горло плач и сказал совсем не то, что намеревался сказать, ступая на крыльцо:

— Вот... Мы и остались одни... без Ленина...

И вдруг чье-то женское рыдание навывлет прожгло сердца. Сдерживаемое всхлипывание пробежало по рядам, и Куш-Юру на миг показалось, что он не выдержит горя и сердце его разорвется, и так будет лучше — легче. Но он овладел собой.

— Без Ленина... Он был нам вождем и отцом. Как отец, он хотел для нас счастливой жизни, и как вождь, вел нас к ней... Он дал нам силу в борьбе за нее. И теперь никакой богатей с черным сердцем не посмеет поднять руку на то, что принадлежит нам!..

Голос Куш-Юра креп. Твердело лицо. Во взгляд возвращалась непримиримая твердость.

— Все, что дал нам Владимир Ильич Ленин, никогда не умрет, и старое никогда не вернется! И пока бьются наши сердца, он будет жить в них. Он будет жить в сердцах сыновей, которым мы дадим жизни! Он хотел для нас счастья — и мы будем счастливы. Сегодня у нас огромное горе. Умер Ленин. Умер отец. Человек смертен. Но бессмертны его дела. Но есть на земле мы... И каждый наш шаг к общему счастью — частица бессмертного ленинского дела!.

Морозный туман густел над поселком. Каменела тишина. Твердели лица людей. Стекало над ними пламя склоненного знамени. И это пламя было негасимо.

## ЗАБОТЫ, ЗАБОТЫ...

Надумал Гриш строить новую избу.

— Нельзя в старой жить — вся ушла в землю. Вот-вот потолок обвалится, придавит с ребятишками, — рассуждал он.

Вот и возил лес. Лес хороший, бревна ровные, будто свечи. А когда оттаяла немного земля, заложил Гриш первый венец. Пришла путина, и отправился он на лов весенней рыбы.

Рыбаков снабдили сетями, мережей, продуктами на дорогу. Гриша хотели поставить главным над всеми бригадами, но он отказался.

— С меня одного бригадирства хватит, а потом вон изба ждет не дождется.

— Да-а,— согласился Куш-Юр,— но больно уж маленький домик строишь.

— Зато сделаю терем-теремок!

Еленя, пока муж был на путине, делала кирпичи, заготавливала мох для избы, сено для скота — как могла и сколько могла...

...Илька радовался лету. Он выбрался на улицу. И сестра Февра и четырехлетний братишка Федюнька тоже раздетые выскочили. Тепло, солнечно, безветренно. Высыпали во двор из соседнего дома их сверстники — дети дядьев и теток.

Вышла бабушка Анн с очередной внучкой на руках — с годовалой Груней.

— Ох-хо, вот где весело-то!.. А Ильика, бедный, один.

Бабушка села на крыльцо:

— Иди ко мне, Иленька!

Илька очень любил бабушку за ворчливую ласковость. А еще он любил ее за песни.

Она пела песни, которые придумывала, должно быть, сама, на ходу — про все, что видела вокруг. Сидя перед топившейся печкой, она пела:

Топись, топись, печка,  
Вейся, дым, колечком  
Над избой Акима,  
Над амбаром Клима,  
Под клюкою бабушки.  
Под ухватом матушки...

Илька знал: Аким и Клим — их соседи. Аким живет ближе к Оби, а Клим — к речке Югану. Мальчик представлял себе, как дым, выплыв колечком из трубы, поплывет сперва к дому Акима, затем повернет обратно, наискосок, к амбару Клима, и, наконец, возвратится под клюку и ухват. Забавно!

— Бабуся, откуль у тебя такая песня?

— Плохая, что ль?

— Хорошая. Даже смешная.. А я песни не умею придумывать.

— Не горюй, детка. В твоем роду по бабушке-дедушке и певуны, и плясуны бывали. Даже иконы малевал один. Тоже был калека. Аристархом звали. Авось, бог пожалует и тебя, коньэра, одарит умением к чему-нибудь...

Ильке не нравилось, что бабушка без конца повторяет «калека», «коньэр». Чтобы отвлечь ее, он попросил спеть другую песню.

— Вот, про Боба послушай:

Боба, Боба, бороду  
Отрастил ты смолоду!  
Поменяй-ка на косу.  
Я те травки накошу.

Зелень-травки накошу  
Коровенку накормлю.  
Коровенку накормлю,  
Молочка я надою.  
Молочка-то надою,  
Ребятишек напою.  
Ребятишек напою,  
Щепок с ними соберу,  
Щепок с ними соберу,  
Жарко печку натоплю.  
Жарко печку натоплю.  
Мягких шанег напеку.  
Мягких шанег напеку.  
Да в чулан я положу.  
Я в чулан-то положу.  
Понакрою—позапру.  
Понакрою—позапру,  
Ступкой крепко сколочу.  
Белый пес не отопрет,  
Черный пес не отберет...

— Ох-хо! Забывают тебя ребяташки...

— Бабушка вышла!—крикнул игравшим на досках ребятам  
Петрук.— Поет что-то. Послушаем?

— Послушаем!..—откликнулись ребята.

— Ага, пришли. Ильку-то зачем бросили? Эх, вы-и!

Ребята наперебой стали оправдываться.

— Ладно уж. Сейчас мы его развеселим,—и, хитро моргнув  
глазами, начала:

— Никэн-Вась, Никэн-Вась  
Шел за зайцем, горопясь,  
Через гору, через пруд,  
А зайчишки — тут как тут.  
Словхотился: «Белый свет!  
Есть пицаль, патронов — нет!».  
А зайчишки: «Ха-ха-ха!..»  
И взялися за бока!  
Шел баран, заблеял: «Бе-э!  
Ну, охотник! Тьфу, тебе-э!»

— Видзя, Анна да свет-Климовна!—показалась в калитке  
Кузь-Матрена, Длинная Матрена.

— Видзя, привет!..

— Мужики на рыбалке, а бабы кирпичи делать собираются,—  
кивнула Кузь-Матрена на женщин.— Так жизнь и идет.

— Идет жизнь...—старуха Анн подвинулась.— Садись да рас-  
скажи, как сама живешь-поживаешь.

— Не слышу!..—Кузь-Матрена приложила руку к уху.

— Садись, говорю, рядом! Тогда услышишь!

— И то верно,—улыбнулась Кузь-Матрена.

На ней, как на жерди, висел выцветший сарафан. Поверх кошника синий платок в белую горошину. Лицо вытянутое, морщинистое, без бровей, с маленькими смешливыми глазками, с мясистым носом и выдавшимся вперед подбородком. Она долго принаравливалась, чтоб сесть на невысокое крыльцо. Наконец, уместилась.

— Вот теперь хорошо!— подставила она ухо подруге:— Так что ты говоришь-то?

— Как живешь-здравствуешь?

— Живу хорошо, дай бог,—ответила Кузь-Матрена.— Вот только слышу немного слабо. Да глаза уже не те. И ноги тянет ревматик. И зубов нет. А про внутренности и не говори— все дрянь. Даже память теряю... А так остальное— хорошо, здорова...

— Остальное...— хохотнула Анн.— Ну, ты скажешь!.. А как твой благоверный Эндрей? Что-то давно не вижу кума.

— Болеет, не встает. А, может, уже из ума выживает— древний стал.— Кузь-Матрена вздохнула.— Пора уж— девятый десяток подходит. Сегодня говорит: «Вот беда! Овечки-то наши уже давно потерялись. Надо искать. Пойду сам».

— Да-а,— посочувствовала старая Анн.— А овечки-то ваши, верно, здесь были.

— Знаю, знаю,— закивала Кузь-Матрена,— я потому и пришла. Время стричь их. Пускай пока травку щиплют, а мы посидим, поболтаем немного... Ты все возишься-нянчишься?

— Вожусь, нянчусь... О-о-о!..— старуха Анн, смеясь, быстро взяла внучку на руки.— Вот тебе и раз! Проговорила с тобой. Новые чулочки на нее надела, а она...

Кузь-Матрена засмеялась:

— Это у них в обычае... Кажись, Груней зовут?

— Груней. Вот так и живу: вожусь, нянчусь, старею. Что мне делать больше?.. А кум, значит, древним стал, ум за разум заходит?

— Ум за разум...— вздохнула Кузь-Матрена.— На днях разговор завел про Ухту. В Ухте ведь он родился и вырос. Молодость наша там прошла. Встретились там. Красивый Эндрей-то был. Да и я тоже ничего...

— Ты, оказывается, хорошо помнишь.

Кузь-Матрена, довольная, ухмыльнулась:

— Когда как... А про что мы говорили-то?

— Вспоминала молодость!— хихикнула Анн.

— Да-да-да,— задакала Кузь-Матрена.

— А что же это он разговор-то про Ухту завел?

— Эндрей-то? — Кузь-Матрена опять приставила руку к уху.— Вспомнил свою молодость ухтинскую. Никогда не вспоминал, а



тут вдруг вспомнил. Меня-то, говорит, в Ухте ждут, наверно. Ска-  
зывает, съезжу, пожалуй. С девчатами посвидаюсь. Вот лешак-  
старик! Тьфу!..

Обе засмеялись. Потом старуха Анн вздохнула:

— Охо-хо! Верно говорится: ребенок не хочет есть, значит —  
сыт; а древний человек сыт — все равно хочет есть. Вспоминает  
молодость, будто она и не уходила. Правду, неправду — все пере-  
пугает. Ум за разум идет..

— Ум за разум, ум за разум, — Кузь-Матрена вдруг спохвати-  
лась: — Ой, мне ведь пора идти — овечки-то убегут от стрижки.  
Я про них и забыла, — и с великим трудом поднялась на ноги,  
опираясь о посох.

### 3.

— Вот и осень пришла-пожаловала, — Гриш стряхивал у поро-  
га снег с меховой обуви. — Река на зиму встала. Хорошо, что успела  
привезти сена на распутицу. Теперь можно и терем-теремок достра-  
ивать помаленьку. А там гимгу-морду поставлю и — на охоту.  
Нельзя бросать это дело сейчас — каждый рубль-копейка приго-  
дится...

— Пригодится, — подтвердила Еленя, помешивая булькавшую  
на плите кашу. Засмеялась:

— Заварил кашу — надо доваривать...

Гриш вернулся с путины с неплохим заработком. К его приезду  
Еленя приготовила и мох, и кирпичи сделала, и сено поставила.  
Все, как надо. И ребятишки живы-здоровы. Февра уже ходит  
третий год в школу, а Ильяка целыми днями корпит над «писани-  
ной» — научился держать пятерней огрызок карандаша и рисует на  
клочках бумаги «гуренек» — домовых и банных.

После завтрака Гриш, одетый по-рабочему — в легкую малицу,  
подпоясанную широким ремнем, взял топор и направился к буду-  
щему терему-теремку. Походил, полюбовался на первый венец. По-  
качал головой — все-таки прав Куш-Юр: мала избенка.

«Ну что это — одна комнатуха? — размышлял Гриш. — Пока  
дети растут — терпимо. А больше станут — каждому кровать нуж-  
но. И Ильяка больной, ему покой надобен. Как же это я не догадал-  
ся раньше? Надо сразу строить избу на две комнаты. Материалу,  
что ли, нету? В тайге живем-здоровствуем. И место позволяет —  
можно удлинить сруб. Сейчас же, пока земля совсем не застыла...»

И, не откладывая, тут же начал копать ямки под дополнитель-  
ный венец. Еленя, увидев в окно непонятную эту работу, вышла  
из дому. Гриш объяснил. Жена сперва задумалась — лишние рас-  
ходы. Потом согласилась: конечно, лучше, когда в доме просторно.

Ряд за рядом подрастал сруб нового дома.

Потом пришло время зимнего лова. Рыбу брали плетеными гим-гами, перекрыв реку запором. В январе позвала тайга — за пушным зверем.

В хлопотах, в привычной работе время не шло, а летело. И Гриш не заметил, как на порог ступила новая весна.

## ЮГЫД-БИ

### I.

В Нардоме светло, солнечно. Весна! И ночи стали не длинней воробьиного носа.

Сельчане заходили, рассаживались, перебрасывались шутками, густо дымили цыгарками. Собиралась сходка. Не привились еще слова «общее собрание». И люди любой общий сбор называли по-старому — сходкой.

Людей много — полный Нардом: сегодня Куш-Юр сулил рассказать о Владимире Ильиче Ленине.

Даже бабы пришли и расположились не в последнем ряду. Вон у печки сидят Еленя, Сандра, другие женщины. А Варов-Гриш, Сенька-Германец и Гажа-Эль — в стороне, на другой лавке. Пришли даже недавние богачи Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська — Шестипалый Осип с дружками. Видно, хотели доказать, что они тоже, дескать, стоят за новую власть. Эгрунька и Яшка — с ними вместе. Она нет-нет, да и зыркнет на Сандру: «Выздоровела, мол, холера. Теперь крутит с Романом. Знаю».

— У-у, какой большой портрет Ленина! — кивнув на сцену, нарочито громко пропищал Озыр-Митька бабьим голосом. — Ах, хороший человек был. Спасибо ему за все, что нам, народу, сделал.

— А как же! — многозначительно улыбнулся Квайтчуня-Эська. — Спасибо, спасибо ему, Володимеру Ильичу...

Варов-Гриш оглянулся на них:

— Гм! Вам ли говорить такие слова?..

— Да, якуня-макуня! — Гажа-Эль тоже посмотрел через плечо на сидевших позади недавних богачей.

А приземистый Сенька-Германец даже привстал:

— Ай-я-яй! — и сел на место.

— Германец! — крикнула Эгрунь. — Иди на сцену. Речь говори гнилым языком! — и давай хохотать.

Засмеялись и другие.

— Что за шум, что за гам? — Куш-Юр был весел. Улыбаясь, на миг задержался в дверях, потом быстро направился к сцене.

Он уже давно не брил голову. Русые, волнистые волосы после

ожога на барже смерти росли частыми островками. Когда стали длинными, председатель опять стал пышноволок. Но все равно его звали за глаза Куш-Юром, Гологоловым, а в глаза — Романом Ивановичем.

— Успокоились? — голос Куш-Юра звучал приподнято. — О-о, народу-то сколько! Прекрасно! Вот мы и побеседуем о Ленине сегодня, накануне дня его рождения. Пятьдесят пять лет исполняется Владимиру Ильичу.

Вдруг он увидел возле печи Сандру. Встретился с ней глазами. И в душе у него заколыхалась теплая волна, и те слова о народном счастье, которые он хотел сказать сейчас людям, обрели для него личный, кровный смысл.

Куш-Юр говорил на зырянском языке. Говорил просто и понятно. Говорил о том, что заветы Ленина претворяются в жизнь, в том числе и в жизнь народов Крайнего Севера. Рассказал про Положение о родовых хантыйских и ненецких Советах. Про то, что Комитет Севера ВЦИК под руководством Смидовича разворачивает работу по развитию оленеводства и про многое другое, что было близко, понятно и дорого собравшимся, про лампочки Ильича, которые вспыхивают в сельских избах.

— А почему у нас в селе до сей поры-времени нету югид-би — светлого огня? В Обдорске али Березовом есть, а у нас нет. Почему? Нам тоже лампочки Ильича надо!

— Югид-би?.. В белые-то ночи?.. — раздались голоса.

— Не в белые ночи, а в темные!

— Продолжим сходку, товарищи, — Куш-Юр оглядел зал. — Кажись, Варов-Гриша голос был...

— Я спросил, — отозвался тот.

— Так, говоришь, югид-би почему нет в Мужах? Потому что нет электростанции...

— А если подумать-покумекать, то можно завести электростанцию, — ответил Гриш. — Это тоже ведь завет Ленина!

— Правильно говоришь: электричество — ленинский завет.

— Значит, выполнять надо!

— И это правильно.

— Я тут поразмыслил-пораздумал...

— Ну-ка, ну-ка! Иди-ка на сцену! Отсюда говори, — пригласил Куш-Юр.

— А что? Могу и сказать, надоумить, — Варов-Гриш встал и начал пробираться к сцене.

Вокруг оживились:

— Во, надоумить!. Сидел бы лучше!..

А Озыр-Митька пронзительным бабьим голосом добавил:

— Не рыпался бы. Югид-би хочет придумать. Тьфу! Коммуния-

то развалилась, нету ее. И югыд-би развалится. Дом строит курам на смех — длинный, как гроб. Ну, дела-а!

Гриш широко шагнул прямо на низенькую сцену, повернулся, посмотрел в зал на Озыр-Митьку. Был он напряжен, как перед кулачковым боем. Был он зол и спокоен.

— Да, я придумую,— начал он.— А ты про коммуны-то не говори — хватит, наговорились! И про дом молчал бы! Сделаю — увидим, будет ли похож на гроб. Может, твой двухэтажный дом будет кое-кому гробом! Лучше скажи, правда ли, что вы с властью нашей примирились. Что-то не верится..

— Гм, не верится тебе?— в один голос откликнулись Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська.— А всем верится.

— Да, не верится,— отрубил Гриш, а потом бросил взгляд на председателя.— Я начну говорить издалека..

— Давай, давай, как хочешь,— крикнул кто-то в зале.— Издалека еще лучше — хватит на сутки болтать!

— Вот, видали?— улыбнулся Гриш.— Еще и подсмеиваются. А начну я с осени, с подледного лова..

— Конечно!— послышался тот же голос.— Позже начнешь — какой толк!

В зале засмеялись, и Куш-Юр тоже. Варов-Гриш тряхнул черной кудлатой головой:

— Тьфу! Лешаки-дьяволы и есть!.. Мы-то как промышляем? А вот как...— и стал говорить, жестикулируя, что при подледном лове появляется необходимость работать поневоле ватагой, коллективом.

— Это мы знаем, якуня-макуня,— отмахнулся Гажа-Эль.— Про югыд-би калякай!

— Во-во!..— поддакнули в зале.

А Куш-Юр жадно слушал, внимательно, повторял про себя:

— Так, так, так! Интересно..

— Вот именно!..— распалился Варов-Гриш.— Это же артельно, добровольно! Мы можем все сделать! И лес подвезти, чтоб построить дом, где будут югыд-би делать! И столбы подвезем! У нас лесу хватит. Остальное сделать пускай помогут нам обдорские али березовские люди. Мы, фронтовики, видели югыд-би, знаем, ведем. Поможем сделать это. Али мы хуже? А, Роман Иванович?

— Да, да, да!..— Куш-Юр встал с места и заходил по сцене.— Это здорово! Ей богу, здорово!

— Ага! Видали-гадали?— еще больше загорелся Варов-Гриш.— Все можно придумать! Артельно, добровольно даже мостки в Мужах выложить из бревен можно. Пять оврагов в селе!..— он сказал это, вспомнив про больного Ильку, который вскоре должен ползком добираться в школу.

Но тут Варов-Гриша не поддержали:

— Это уж совсем зря,—крикнул кто-то.— Тротуары бы хоть были и то ладно.

— И вообще что тут болтать? Один сказки бает, остальные уши развесили. Пойдемте лучше домой!— встал Озыр-Митька.

Квайтчуня-Эська поднялся тоже.

— Пойдем, молодняк!

— Куда вы?— Куш-Юр хотел было остановить уходящих, но видя, что молодежь в своей массе остается, успокоился, махнул рукой:— Ладно...

— Задержать надо было, заставить голосовать!— протестовал Гриш.— Кони у них сытые — по пять—шесть голов, пригодятся!

Председатель ухмыльнулся:

— Ничего, подчинятся большинству. Проголосуем,— и он собрался что-то сказать, но тут вдруг встала Эгрунь:

— Ой, я ведь забыла кормить ребенка! И ты, Яков, коней-то забыл поить! Вот дурные! Пошли!— и они вместе с мужем начали пробираться к выходу.

Тут и другие из их ватажки поспешили удалиться.

— Кони-то ведь, верно, не поены...

— Куда? Успеете коней напоить!

Но те ушли.

— Испугались голосовать, якуня-макуня!— засмеялся Гажа-Эль.

— Все равно заставим делать, как большинство решило!— Куш-Юр выступил вперед.— Варов-Гриш ведь здорово придумал — завести и электричество, и телеграф. Не прожить нам уже без этого!

— И еще мосты!— добавил Гриш.

— И мосты! Над этим я тоже думал,— продолжал Куш-Юр.— Молодец ты, Гриш, молодец! Хорошо сообразил. В главном — Обдорск поможет! Хорошо отметили Ильича рождение.

Сидящие в зале ворохнулись, заговорили:

— А ведь верно — сходкой лучше решать...

— Югид-би, якуня-макуня!.. Лампочки Ильича!

— Записать бы надо...

— Правильно! Записать и отправить в Обдорский райисполком али еще куда-нибудь! Пусть знают-ведают — мужевские люди не хотят жить по старинке! Надо помочь им завести югид-би! Все, кончил!— Варов-Гриш сел на край сцены и закурил.

А завершилось тем, что Писарь-Филь зажег лампу и стал писать под диктовку Куш-Юра:

«Просить Обдорский районный исполнительный комитет ока-

зять сходке села Мужи, посвященной пятидесятипятилетию со дня рождения Владимира Ильича, помощь в следующем:

- а) в постройке электрической станции;
- б) в установке радио-телеграфной мачты, как в Обдорске;
- в) в посылке для этого нужных мастеров-умельцев;
- г) заготовку строительного леса и подвозку его к указанному месту в нужном количестве берем на себя, то есть на жителей села Мужи. Без-воз-мезд-но!»

За резолюцию проголосовали единогласно. Не было в зале только богатеев. Но ничего: их миром заставят подчиниться—и лес рубить, и возить его!

## НАДЕЖДЫ

Эта июльская ночь была тихой и комариной. С вечера небо заволокло тучами, но спокойная вода так и манила порыбачить.

— Дядя Роман, заскочим на сор,— упрашивал Куш-Юра Евдок. Они возвращались на лодке-калданке из поездки по рыбацким станам.

— Свежей рыбы добудем!..— уговаривал юноша.

Куш-Юр ответил не сразу: он все еще был поглощен увиденным в поездке. Власть родовых старшин слабела на глазах. Рыбаки тянулись к коллективному труду, познав его преимущества. Бедняки, подперев друг друга, вставали прочно на ноги. Они стремились продать улов рыбтресту, а не перекупщикам. И это было как доброй, так и важной приметой.

— Так, значит, предлагаешь порыбачить?— переспросил Куш-Юр.— Не поздновато? И небо вон какое плаксивое.

Евдок перестал грести:

— Ничего не поздно. А дождь не помешает.

Волоком перетащили лодку через невысокую узкую гривку, выехали на сор.

— Посмотрю, как вы ставить сеть будете.

Куш-Юр улыбнулся.

— Я ведь не шибко мастак... Однако поглядим. А почему ты первым не хочешь ставить?

— Нет, нет! Я еще молодой. Со старшего надо начинать, с начальника.

— Ну, с начальника, так с начальника!

Когда Куш-Юр закончил возиться с сетью, верхняя тетива ее была ровно натянута между кольев.

— Ну как? Сойдет?

— Сойдет!

Стал накрапывать дождь, потом зачастил, и водная гладь стала походить на огромную раскинутую сеть.

— Пожалуй, промокнем.

— Во-он, кажись, на покосе дым,— показал Евдок.

— Верно. Давай туда. Чайком побалуемся, малосолкой угостимся. И косарей угостим.

Когда подъехали к берегу, у костра не было ни души, а над огнем закипал большой медный чайник.

— Эге-гей, кто есть живой?— крикнул Куш-Юр. В шалаше завозились и оттуда показалось загорелое до черноты женское лицо.

— К нам, оказывается, гости пожаловали! Улька, вставай, пора уж. И дождь перестает...

— Видза, здравствуйте. Можно присоединиться к вам почаевничать?

— Видза, видза. Как нельзя? Можно... А, кажись, свой человек! Видза, Рэман Иванович... А это твой заместитель?

— Заместитель,— с улыбкой подтвердил Куш-Юр.— Евдоком зовут. Познакомься.

— Знаю, что Евдоком,— тоже улыбнулась Васення.— Улька! Уля! У нас гости! Вставай...

Из шалаша вышла девушка, увидела Куш-Юра и Евдока и смущенно зарделась:

— Видза. Видза,— Куш-Юр посмотрел на Евдока:

— А ты чего не поздоровался?

— Не успел,— Евдок смутился еще сильнее Ули.

— Ого!— не удержался Куш-Юр и Васення лукаво улыбнулась:

— Они ведь, Рэман Иванович, как иголка и нитка.

— Разве?

— Жених и невеста...— засмеялась Васення, кроша в чайник сухие листья смородины.

— Женихаться да невеститься еще рано. А дружить можно и нужно... Постой, ты чего это листья в чайник крошишь? У нас чай есть.

— Чай?! А у нас весь вышел, вот и завариваем смородину...

## 2

Дождь перестал и завтракали у костра.

— Ах, хороша уха!—восхищалась Васення.— Дай бог вам здоровья.

— Это Евдоку спасибо надо говорить.— Куш-Юр посмотрел на своего «заместителя».— Он постарался добыть сырка свеженького.

— А вы тут давно промышляете? Рыба-то у вас и малосольная есть.

— Нет, мы тут проездом,— Евдок посмотрел исподлобья на Улю.— Кругом все объехали. Даже грести устал.

Уля недоверчиво взглянула на него.

— У всех рыбаков побывали,— подтвердил Куш-Юр и стал рассказывать о поездке:

— Нынче поехали не сверху вниз, а наоборот — снизу вверх, на Ханты—Мужи, Васяхово, Устье-Войкары, Лор-Вож, через Большую Обь и Питляр. А потом стали подниматься против течения до самого Каша-Вожа. Разумеете, какую петлю веслами завязали?

И не зря: хоть своими глазами убедились, что не хозяйничает Ма-Муувем. Сколько ни искали, не нашли и следов стоянки Ма-Муувема, хантыйского старшины и его многочисленных батраков-сородичей. Будто сквозь землю провалились. Знать, уехали всей гурьбой промышлять вниз, за Обдорск, как Озыр-Митька и Квайтчуня-Эська. А может, поднялся выше к Березову. Чтоб мужевские не тревожили. В общем, не нашли. Стали переваливать Большую Обь, хотели до шторма проскочить. Но шторм все-таки настиг их на самой середине реки. Едва не утонули.

— И все из-за Ма-Муувема, лешак его бери!— Куш-Юр взял кусок малосолки.— Хотелось посмотреть, не обижает ли он людей.

— Да-а... Видел я бурю обскую,— без всякой хвастливости сказал Евдок,— век не забуду...

Он посмотрел на Улю серьезно и внимательно. Девушка вздохнула и опустила глаза.

— Ой, беда-беда,— сочувственно покачала головой Васення. Потом глянула на небо:

— Слава богу, вроде бы проясняется. Управиться бы со стогами да и — домой.

— А мы подсобим вам!— предложил Куш-Юр. Евдок расцвел.

— В Мужах-то какие новости?

— Да какие? Мы тоже дома не бываем — все на покосе да на покосе. Умерших вроде нет. Поправляющиеся есть.

— Кто же?

— А ты будто не знаешь? Сандра, например. Она совсем здоровая стала. Хоть замуж выдавай. Мишка-то, кобель, не вернется уж. Не-ет, не вернется! Да и она не примет...

— Во, что я говорил?!— встрепенулся Евдок.

Тут смутился Куш-Юр:

— Хватит тебе... А ты, Васення, не слыхала — получил или нет Филь ответ из Обдорска на нашу просьбу о строительстве электро-станции?

— Получил,— ответила Уля. Она сама слышала, как Филь всем хвастал, что пришло в сельсовет из Обдорска письмо и что вызывают туда председателя.



Куш-Юр аж подпрыгнул на месте:

— А давно это было?!

Уля и Васення переглянулись.

— Да недели полторы уж,— сказала женщина.

— Больше,— поправила девушка.

— Вот лешак! А я езжу и не знаю ничего!

Куш-Юра словно подменили: куда и делся усталый вид. Он быстро ходил взад-вперед по полянке возле шалаша:

— Так, так, так... Значит, вызывают... Поеду. На первом же пароходе... Да, а пароход сверху давно был?

— Давно.

Васення уточнила:

— Сегодня должен снова быть. Потому и уехали некоторые с покоса, чтобы на пристани поторговать.

— Мать честная! Вот тебе раз!.. А тут все точно? И ответ, и пароход?

— Все точно.

— Тогда надо спешить в Мужы... Эх, помочь бы вам, да не выходит!

Васення замахала руками:

— Поезжайте, поезжайте! Тут немного. Сами справимся. В другой раз поможете.

— В другой, так в другой... Куш-Юр кивнул Евдоку:—Поторапливайся...

— Дядя Роман! У нас же малосольной рыбы еще много, оставим малость?

— Конечно. Ты побольше отложи.

### 3

Они быстренько выбрали сети и, даже не порадовавшись улову, поднажали на весла. Так же спеша переволокли калданку через гривку — из сора на реку, и, запаленно дыша, опять взялись за весла. Евдок греб механически. Он ни о чем не думал, только позевывал. Глядя на него, зевнул и Куш-Юр:

— Раззевались мы что-то с тобой... Как бы пароход не прозевать.

— А если опоздаем? Догонит нас биа-пыж и будет напрасный труд.

— Ну да! Успеть надо. Успеть.

«Жалко парнишку — мучаю его столько времени,— думал Куш-Юр.— Месяц таскаю за собой. Вон как клюет носом. Нехорошо... А вообще-то здесь рано приучаются к работе. Вон Уля тоже косит. Встает рано-ранешенько. Недосыпает. Да-а... А они, видать, правда

тянутся друг к дружке, Евдок и Уля. Что ж — пусть. Повзрослеют — может, верно, станут женихом и невестой...».

А Евдок сожалел, что так быстро уехали от уютного костра, от Ули. А еще он радовался скорой встрече с матерью.

«Вот хорошо, что последний мыс проехали. Отсюда совсем немного осталось. Наверно, скоро Мужики покажутся. Так и доедем до места. Вовремя приедем... Мама поди ждет не дожждется меня. А я тут как тут. Рыбки привезу... Ох, и спать буду!.. Сутки просплю!»

Куш-Юр увидел окраинные строения поселка:

«Вот мы и почти приехали. Теперь раньше парохода будем. А там!.. Интересно, что пишут из Обдорска, почему вызывают? Да, а из Обдорска ближе к Мишке-Караванщику. Где-то он там, говорят, с Парассей. Надо узнать, где именно, и написать ему, что мы поженимся с Сандрой. И пусть он не вздумает возвращаться! Все кончено тут для него. А для нас с Сандрой, с Сашенькой, только начинается! И впереди — все самое хорошее в жизни!».

## ИЛЬКА

### I

Как бы там ни было, Илька подрастал, и мир раздвигал перед ним свои горизонты. Сверстники играли с ним, но временами здоровые резвые ноги уносили их далеко, и Илька оставался один на тихой улице.

Он завидовал ребяташкам, но научился не обижаться на них, что-то подсказывало ему, что так будет всегда, что одиночество временами будет плотно обступать его. И если горевать и обижаться — не хватит сердца.

Вот и сейчас...

Только что веселая ватага во главе с Петруком катала его по улице в ящике из-под рыбы. Можно было и в нарточках, но в ящике интересней. Катали-катали и убежали все на Обь — купаться.

Илька сидит, пригретый неярким, добрым солнцем, размечтался. Вот найдет он однажды волшебную встань-траву и станет здоровым и сильным. И пойдет по земле на упругих ногах. Далеко-далеко пойдет, чтобы увидеть те края, откуда приходят пароходы.

Он не загадывал, кем будет, когда вырастет, он всегда воображал себя только здоровым, сильным, идущим по земле, несущим волшебную встань-траву всем несчастным...

И еще мечтал Илька — так же легко и весело, как бабушка Анн, складывать песни и сказки, чтобы все заслушались — и дети,

и взрослые. И еще он хотел, чтобы ожили смешные зверята, которых он лепил из глины в часы задумчивого одиночества...

— А Илька опять один...— подошла сестренка Лиза.

— А ты чего не пошла купаться?

— Да тебе ведь скучно одному. Бабушка что говорила?

— Я, может, тоже пойду... погляжу хоть с горки...

— Что ты, Илька!

— Как-нибудь доползу.

— Сам?

— А что?— И он двинулся с места.

Лиза пробежала вперед, до соседской бани:

— Не пройти тебе здесь: грязно.

— Грязь теперь теплая. Как-нибудь! Потом отсохнет, отвалится...

— Стой, стой...— крикнула Лиза.— Я что-то придумала!

Она приволокла доску и положила ее перед Илькой.

— Перебирайся!

Илька вполз на доску.

— Теперь еще бы одну. Я перелезу на нее, а эту ты вперед передвинешь.

— И правда ведь!— обрадовалась Лиза.

Они вымазались, как чертенята, но все-таки добрались до взвоза.

В безветрии река слепила глаза, как зеркало, в которое заглянуло солнце. Возле берега плескалась ребятня. Сколько шуму, гаму, визгу было там!

Лиза в нерешительности потопталась возле Ильки и полувопросительно сказала:

— Ну, я пойду...

— Ладно, валяй,— ответил Илька.

И она поспешила к кромке берега.

Словно нехотя, чайки скользили над рекой, и отражение их лениво проплывало в голубой воде. «Вот здорово было бы, если бы рыбы отражались в небе!»— подумал Илька.

— А-а, ты тоже пришла...— Петрук заметил Лизу.

— Я не одна...

— Илька?!.. Кто его сюда притащил?

— Мы сами дошли. Доски передвигали и дошли. Только в одном месте штаны порвали.

— Мать честная!.. Сюда парнишку приволочь...

Лиза встрепенулась:

— Февра идет...

— Ну, теперь вам обоим попадет.

— Ты как сюда попал,— изумилась Февра.

— Мы сперва у дома играли, а потом пришли сюда.

— Кто это — мы?.. Петрук еще, что ли?

— Нет... Мы... я пришел... один...

— Один? По такой грязи?— ворчала Февра.— От матери теперь попадет, что не уберегла тебя...

— Что, влетело?— подходя, добродушно усмехнулся Петрук.

— Тебе бы тоже надо...— сердито откликнулась Февра.— Оставили одного. Смотри, как извозился — лица не видно. Опять мама ругать будет.

Если бы Февра успела распалиться, представляя себе, какую нахлобучку получит от матери, то Ильке, возможно, достался бы и шленок, но тут кто-то закричал:

— Пароход идет! Биа-пыж!.. Биа-пыж!.. Пароход!

Детей, как ветром, сдуло с яра. Все бросились к реке—и Петрук, и Февра, и Лиза, и Федюнька, и другие ребята. А Илька остался.

Дальний поворот реки, где показался пароход, был не виден Ильке из-за амбара. У Ильки зашекотало в горле и от этого навернулись слезы. Хорошо им, здоровым. Куда хотят — туда и бегут. А тут до взвоза добрался — и то ругаются...

Пароходы ходили редко и нерегулярно, и поэтому каждый из них был большим событием для всего поселка. Ильке повезло, что в этот момент он оказался у реки. Он любил смотреть на пароходы. Ветер доносил от них запахи неведомых краев. Сердитые матросы вытаскивали на берег мешки с мукой и чудесным, сладким сахаром, похожим на желтоватый и крупный прибрежный песок. Обидно, ох как обидно, что ему не видать, как подходит долгожданный пароход.

Февра бродила в воде возле берега. Вдруг она посмотрела вверх на Ильку и быстро поднялась по взвозу:

— Тебе, наверное, не видно?

— Не видно,— вздрагивающим голосом ответил Илька.

Февра подхватила брата подмышки и потащила на самый берег.

— О, Илька пришел!..— загалдели ребята.— Смотри, вон где пароход! С баржами идет!

А Илька и так смотрел во все глаза.

Пароход только что вышел из-за поворота, но можно было различить, что он ведет на буксире две спаренные баржи. Пароход и баржи медленно меняли очертания. Они то удлинялись, то укорачивались. А временами казалось, что они удаляются и скоро скроются за поворотом.

На воде все выглядит иначе. Вон лодка, что плывет сюда, кажется, что встала на дыбы. Вроде столбик какой-то торчит из во-

ды. С яра другой берег хорошо видать, а отсюда — только вершины гальника. А если наклонишься пониже, то и вовсе покажется, что нет никакого берега, и даже воды, а будто есть на свете одно сплошное небо, лететь хочется!

— Петрук, кинь камешек в небо!

— Куда? — не понял Петрук.

— В небо! — засмеялся Илька. — В воду кинь!

Петрук поднял гальку и швырнул ее над самой водой. «Чик-чик-чик».. — зарикошетила она, будто катясь по воде.

Пароход между тем приближался.

— «Красная звезда!» «Красная звезда»!.. — узнали ребята.

Живя у реки, они все пароходы знали наперечет и могли даже не видя, по одному гудку угадать, какой из них пришел.

На берегу стали собираться взрослые. Куш-Юр разговаривал с ними, легонько покачивая в руке фанерный баульчик.

— Здравствуйте, дядя Роман!

— Здравствуй, Иля. Тоже на пароход глянуть пришел?

— Ага... А ты, дядя Роман, ехать собрался?

— В Обдорск собрался. Скажи отцу, как вернется, что за югыд-би хлопотать поехал!

Биа-пуж загудел так громко и пронзительно, что и дети, и взрослые зажали уши.

Он подходил к берегу. А Ильке казалось, что он сам плывет навстречу неведомым городам и людям...

## В ОБДОРСКЕ

### I

С того времени, как Куш-Юр последний раз был здесь, Обдорск не изменился. Те же деревянные купеческие дома, изредка двухэтажные, две церкви — деревянная и каменная. Братская могила на горе у пристани. Два — три чахлах дерева в центре. Все по-старому. Но перемены все же были: в магазинах в достатке появились продукты и промтовары, народ повеселел.

Куш-Юр, как всегда, остановился у Спири-Яка, знакомого еще со времен ссылки. Со встречи, конечно, поговорили, засиделись за полночь. Но Куш-Юр все равно встал пораньше, чтобы застать начальство «свеженьким», еще не задерганным всякой текучкой. С начальством на свежую голову легче разговаривать.

День начинался благодатный, совсем летний. Далеко за Обью просматривались снежные вершины Полярного Урала. Припекало солнышко, и Куш-Юру пришлось снять пиджак.

Шел, радовался теплу, и неожиданно встретился со старым знакомцем, инструктором Березовского укома Николаевым.

— Вот так встреча!

— Кого я вижу!— расплылся в улыбке Николаев.— Ты, оказывается, здесь, а не заходишь в райисполком — по письму вашему.

— Я только вчера приехал. Вечером. Вот — с утра пораньше в райисполком отправился. А ты откуда знаешь про письмо?

— Я-то?— глаза Николаева смеялись за очками.— Я, брат, обязан знать. Я теперь заместитель председателя райисполкома здесь.

— Ну, поздравляю. Значит, перевели из Березова?

— Перевели.

— Это хорошо, что перевели.

— Почему!

— Ты нужды наши знаешь с той поры, когда Мужы в Березовском уезде были. Значит, поможешь скорее.

— Вон ты какой расчетливый!

— А ты как думал? Дело прежде всего.

— Ну, если так, то попал по адресу. Пойдем, брат, ко мне. Я как раз вашим письмом занимался.

— Вот это встреча! Вот это разговор!

— Ну, не очень-то радуйся заранее. Хотя — радуйся: поддержим вас. Поможем посильно.

## 2

В один день со всеми делами управиться не удалось, но главное прояснилось: райисполком одобрил решение сходки. Теперь дело за мужевцами. Нужно заготавливать лес для здания электростанции, для столбов, готовить пиломатериалы. А специалистами район поможет. Главный из них — Будилов — уже «сосватан» на это дело.

С Будиловым Куш-Юр тоже встретился не сразу. Пришел на электростанцию, а он на пристани — какое-то оборудование с парохода принимает. Отправился на пристань, а он на ремонте линии. Два дня гонялся Куш-Юр за Будиловым. Наконец, счастливый случай свел их в райисполкоме.

Будилов был лет сорока, может, чуть больше, мужчина рослый и кряжистый.

— Я думал вы посуше будете.

— Почему?

— Да на ногу больно легки, не поймаетшь.

— Время горячее, к зиме готовимся. Погода-то—вон какая стала. И еще хуже будет.

Погода и вправду резко переменилась. Еще вчера было тихо и солнечно, а сегодня студень сиверко гонит низкие тучи, пронзает — хоть малицу надевай. И это — начало августа. Но удивляться тут нечему: как-никак Полярный круг...

— Я думал — написали и забыли,— басил Будилов, изучающе глядя на собеседника,— не раздумали?

— Не-ет, что вы!— улыбнулся Куш-Юр.— Никогда на попятный не пойдем.

— Тогда давай потолкуем,— перешел Будилов на «ты».— Впрочем, что тут толковать? Пойдем к нам, на электростанцию, там все наглядно увидишь, поймешь, какое дело вы затеяли.

Два дня Куш-Юр, можно сказать, не расставался с Будиловым. Облазил электростанцию, расспрашивал, что, зачем и почему, полдня провел на телеграфе, а потом потащил Будилова к радиомачте, что воздымалась над Обдорском на пятьдесят метров.

— Любознательный мальчик!— смеялся Будилов.— Зачем тебе такие подробности?

— Во-первых, интересно. Я ведь, как в ссылку попал, с тех пор никакой механики не видел. А во-вторых, все надо знать, с чем сталкиваешься. Хотя бы немного.

— Вообще-то правильно.

На прощанье Будилов дал Куш-Юру электрическую лампочку:

— Хоть и нет у вас пока электричества, все-таки покажи землякам, какое солнце будет у них в избах! Помогать строительству будут лучше. А я скоро подъеду, не беспокойся.

### 3

Итак, все дела были сделаны. Впрочем, оставалось еще одно. Но оно не касалось его должностной командировки. Где же найти Мишку-Караванщика, чтобы взять развод для Сандры? Уж он выколотит из Мишки развод, не окажется тюхой-пантухой, как случилось однажды... Надо крайне ехать на нижние пески. Говорят там он обосновался с Парассей. Дней за пять можно туда-сюда обернуться. Только разрешат ли в райисполкоме?

Николаев встретил его приветливо.

— Ну, как дела?

— Все в порядке, Николай Николаевич. Только одна просьба к тебе осталась. Личная просьба...

— Выкладывай,— Николаев похлопал ладонью по столу, как бы показывая, куда можно выложить просьбу.

— Отлучиться мне надо дней на пять,— И Куш-Юр чистосердечно поведал ему, как перепутала жизнь его судьбу с судьбой Сандры, с судьбой Мишки-Караванщика. Николаев слушал внимательно и сочувственно, потом сказал:

— Ну что ж, поезжай. Возле Аксарки, говоришь, Караванщик?

— Там. Зимой на конференции делегатка одна мне сказала.

— Ну ладно, поезжай.

В дверь постучали, и в кабинет вошла невысокая полная женщина.

— А вот и глава женотдела! Когда приехала, Вера Ивановна?

— Ночью, на катере. Измучилась!..

— Она!— воскликнул Куш-Юр.

— Что значит — она?

— Она про Мишку-Караванщика рассказала.

Женщина пригляделась к Куш-Юру, узнала его.

— Я ведь нехорошую весть привезла мужевским. Не слышали еще?

— Какую весть?

И Вера Ивановна рассказала, что будучи в Аксарке, слышала: один мужевский, Мишкой-Караванщиком звали, промышляя с другими односельчанами, утонул. Лодку волной опрокинуло.

— Дела-а-а,— растерянно протянул Куш-Юр.— А откуда известно, что именно Мишка, что мужевский?

— У жены его, у Парасси, была на квартире... Трое детей и сама в положении.

— А с кем Михаил на салме был?

— Как его... Кажись. Озыр... Озыр...

— Озыр-Митька..— подсказал Куш-Юр.— Богатый Митька...

— Точно. Митька. Озыр-Митька с друзьями.

— Все за богатеями тянулся. Вот и получил богатство. А ведь партизаном был, с беляками, с мироедами бился. Не пойму я Мишку...

— А что теперь понимать? Был — и нет. И памяти доброй не осталось,— сказал Николаев.— Вот семье помочь надо.

— Семейю мы не бросим. Я все равно поеду, поговорю с Парассей: может, домой, в Мужи вернется. Там ей легче будет. Говорят, в своем доме и стены помогают.

...Все было так: Мишка свихнулся с дороги. Мишка много горя принес Сандре, Парассе и ему, Куш-Юру. Куш-Юр не чувствовал особой жалости к своему сопернику и стыдился такого противостественного равнодушия. Не исключено, что и он, коммунист, представитель Советской власти, повинен, что так сломалась человеческая судьба.

Без сомнения — повинен, потому что, погрязнув в своем горе, в ревности, перестал видеть в Караваншике одного из тех, ради которых сам же боролся за Советы.

Горечь и злость на себя наливались в сердце. И Куш-Юр знал — надолго, если не на всю жизнь, останется с ним эта тяжесть. Но с нею он еще прочнее и резче осознавал ответственность за каждого человека — самую главную ответственность, которую возложила на него Советская власть.



НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ

## ПОРТОВЫЙ ЖИТЕЛЬ

Я суда разгружал с товарами,  
Как заправский уже матрос.  
Грохотали лебедки тарюю:  
Вира! Майна!  
До самых звезд.  
Вира! Майна!  
По трапу тесному  
Груз, качаясь, плыл на спине.  
Падал шкипера бас надтреснутый,  
Как довесок, на плечи мне.  
Утром вновь, затянувшись «Севером»,  
На веселый шагал причал,  
Где над тонким, звенящим леером  
Пароходный гудок кричал.  
Где, качаясь по ватерлинии,  
Бухал молот обской волны,  
Где тельняшек полоски синие,  
Словно вены, напряжены.  
Не просил я от жизни лишнего,  
Но сквозь грохот и суету  
Так хотел, чтоб меня услышали,  
Как призывный гудок в порту.

## О ШУБЕ

Срывая бас,  
Метель гудит по роще,  
И соловьи ушли за окном.  
Но в стужу я сжимаюсь

Только жестче,  
Чтоб испытанье  
Выдержать огнем.  
Сибирский я,  
Отмеченный,  
Кондовый.  
Я в землю врос  
Корнями кедрача.  
На мне и сталь кольчуги  
Ермаковой  
Под шубою —  
Не с царского плеча.  
А под мужичьей,  
Что по стати сшита,  
Что не берут метельные  
Штыки!  
Под той, что перед миром  
Знамениты,  
Когда в них шли  
Сибирские полки.

## РАЗГОВОР

Как не приветить гостя, все ж — сосед,  
Одним плетнем граничат огороды,  
Одной тропой бегут здесь наши годы —  
Его в закат, мои еще в рассвет.

Опять прознать все надо старику:  
— Со службой как? Не видно было  
что-то?

— Был в отпуске...

— А, понял, в отпуску...

И это надо, коли заработал.

Толкуем мы, как будто ни о чем,  
Но то не сердцем чувствую, рассудком.  
Он рупором ладони—над плечом,  
Мои слова улавливает чутко.

— Да вот поездил, был в чужой стране...

Бренчит на стенке хрипло репродуктор.

— Оно и мне случилось... на войне.

И вдруг всерьез:

— Как там насчет продуктов?

— Да есть...

И я киваю головой.

— Так, так оно...

Махру вдыхает злую,  
И узловатой жилистой рукой  
Оглаживает бороду седую.

Как бы в себе решив какой-то спор,  
Из блюда чай потягивает чинно.  
Такой ведет вечерний разговор  
Без лишних слов, как принято мужчинам.

## СТИРАЛА ЖЕНЩИНА

Стирала женщина белье,  
Плечами белыми качала.  
И тело гибкое ее  
Движенья эти повторяло.

Красиво голову клоня,  
Наверно, знала, что красива,—  
На постояльца — на меня  
Лукаво взглядами косила.

И сам смотрел я на нее,  
Как на апрельскую погоду.  
И помогал отжать белье,  
И после стирки вынес воду.

А на дворе — возле стены,  
Уже твердея от мороза,  
Сушились мужнины штаны.  
Такой кощунственной прозой.

## В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Маленький дятел — лесной барабанщик,  
Не уставая, стучит день-деньской.  
Как я жалею, что месяцем раньше  
Не был с тобою в его мастерской...

Возле надломленной старой коряги  
Рать муравьиная строит редут.

Может быть, завтра снега, как варяги,  
Шумно на Русь ополченьем пойдут.

Лишними станут арба и телега,  
Что-то уляжется, что-то замрет,  
Что-то до нового таянья снега,  
Не огорчаясь, под зиму уйдет.

Может, устало петляя по тропам,  
Где-то в осиннике встретив семью,  
Заяц подскажет — за сколько сугробов  
Видели вечером шубку твою.

\* \* \*

Русь старинная —  
Пашни да релки,  
Снежный дым у столбов верстовых,  
Как сумела ты в легкой двуколке  
Доскакать до окошек моих?

Будто эхо над степью росистой,  
Над тайгой, где не встретишь жилье,  
Надо всею над ширью российской  
Прокатилось имя твое.

Ты подковы в дороге теряла,  
Не страшилась загнать вороных.  
Ты заморских купцов принимала,  
За три моря водила своих.

И Европа проворству дивилась,  
Как стремилась ты — за оком.  
Только волжская синь отразилась.  
На березовом лике твоём...

Эта грусть и задумчивость — те же  
По равнинам озябших полей,  
Когда вижу — над озимью свежей  
Поднимается клин журавлей.

Да мелькнет расписной полушалок,  
Да звезда упадет впереди.  
Словно выдох, сорвется усталый  
Из твоей богатырской груди.



Дымя соляркой и бензином,  
Рядком шли тракторы, звеня.  
Негородская та картина  
Опять встревожила меня.

Я вспомнил час побудки сонный,  
Рев «пускача» и стан ночной,  
Где спал, не сняв комбинезона,  
В обнимку с рыжею травой.

Ведь там как раз — в зените лета,  
Набрав подоблачный предел,  
На верхних жердочках рассвета  
Счастливый жаворонок пел.

г. Тюмень

АРШАК ТЕР-МАРКАРЬЯН

## БАЛЛАДА О КОНЕ

А. Калинин.

Эх, кони, кони, кони...  
Пора всерьез сказать:  
Я видел на иконах  
Такие же глаза!  
Когда на скачках дрогнут  
Трибуны.  
Кто быстрее?..  
Я все же ипподромных  
Не люблю коней.  
О, денежные драмы!  
Галопные круги.  
Бока надраены,  
Как в праздник сапоги.  
И вороной игриво  
Скосил глаза  
на плеть.  
Ему б цветочки в гриву —  
И на свиданье в степь.  
Где на лугах некошенных  
Чабрец да васильки,  
Где ветер нестреноженный  
Рвет  
грудью  
постромки!..  
Где по веселым тропам  
Гуляет типина.  
Где свадебные тройки  
Несутся допоздна.

Он взаперти — в конюшне.  
Копытом об пол бьет  
И рацион колючий  
Задарма жует.  
И холят, и жалеют,  
И балуют зерном  
Парадные жокеи,  
Пропахшие вином...  
Они забыли ночи,  
Слепой огонь засад...  
Как перочинный ножик,  
Сложился  
Казак!  
Не слышно в поле крика.  
Он сполз  
    с седла  
        без чувств...  
Лошадья морда —  
        скрипкой  
Склонилась к плечу.  
А на кургане пляшет  
Который день свинец.  
Я знаю: кони плачут,  
Когда убит боец!  
И с той поры за плесом,  
Где версты полегли,  
Качают слезы—росы  
Седые ковыли...  
От Дона и до Волги  
Среди травы весны  
Пасутся в поле вольном  
Лихие табуны.  
Они летят в рассветы,  
Перемахнув между...  
Я, может быть, поэтому  
На скачки не хожу!..

\* \* \*

#### **В. НЕЧВОЛОДЕ.**

Три оленя  
Бойко шли по насту,  
Вытаращив кроткие глаза...  
Легкие поскрипывали нарты,  
Заглушая наши голоса.

Пел каюр.  
И вздрагивали зыбко  
Медленные звезды у плеча...  
Осыпались блестящие снежинки  
С хвои молодого кедрача.

И по карте сверьте,  
Что не лгу я,  
Сквозь тайгу,  
Где властвует мороз  
От села Ларьяк  
И до Сургута  
Триста двадцать  
Выстуженных верст!

Ударяя по бокам хореем,  
Ханты, чуть ворча,  
Оленей гнал...  
Русское ругательство —  
Холера!  
Он себе на помощь  
Призывал!

То ли зная слово  
То дубленое,  
То ли, чуя,  
Что идет пурга...  
Мчали три оленя,  
Оскорбленно  
Запрокинув  
гордые  
рога!

И, стуча  
копытами  
по насту,  
Тяжело дышали на ходу...  
Легкие поскрипывали нарты  
У всего поселка на виду!

Где у юрты —  
Стылое окошко  
Высветило старую ольху,  
Где стоят —  
Похожи на матрешек —  
В малицах  
детишки на снегу!..



Живем мы в большом настоящем  
И наш окоем так широк:  
И снег.  
И мороз ледящий,  
Крутой,  
Как в войну кипятки!  
Пусть четко в историю встанет  
Название это.  
Итак:  
Сибирь —  
Лесоруб и нефтяник,  
Сибирь —  
Инженер и рыбак!  
Сибирь —  
Твоя поступь знакома...  
Суровую нитью пурги  
Пришиты аэродромы  
В петлицу зеленой тайги!..

## ВОРОБЕЙ

Е. Исаеву.

Военные опушки.  
Осень ли, зима...  
А птицам не отпущено  
Ни горсточка зерна.  
А где-то под Воронежем  
Воронки да метель.  
И был одет воробышек  
В солдатскую шинель!

г. Ростов-на-Дону.

**ИЛЬЯ ФОНЯКОВ**

## **НЕФТЬ**

Я узнал, что значит поиск нефти.  
Вся вокруг земля разбурена,  
И давно уж кажется, что негде  
Прятаться —  
но прячется она!

Обнадежит радостью минутной,  
Выглянет, поманит —  
и молчок!

В желобах поверх водички мутной  
Радужный покажет язычок.

Выжмет каплю синего отлива —  
Подставляй ладони, да скорей!  
На окне, в бутылке из-под пива,  
Дразнит настоящестью своей.

Ведь нужны-то реки, а не капли,  
Не цистерны даже, а моря...  
Ну, а я-то сам к тебе не так ли  
Пробиваюсь, истина моя?

Мне не нужно капелек и гранул —  
Хлынь фонтаном, зашуми рекой,  
Чтобы я смутился и отпрянул,  
Отступил, прикрыв лицо рукой!

Чтобы вновь приблизиться несмело  
Сам не веря: наконец-то, вот!

...Кончен день. Очередную смену  
К буровой уносит вертолет.

г. Новосибирск

АЛЕКСАНДР ГОВОРОВ

## А НА УЛИЦЕ — МОРОЗ...

А на улице—мороз!  
Люди—в тучках синих.  
И — бежишь!  
И — руки врозь  
Развести не в силах.

Не вздохнуть,  
Не продыхнуть,  
До костей обещет.  
И во весь недалний путь  
Под подошвы свищет.

И под резкий свист —  
Бегом!  
Что ж ты, лютый, жжешься?  
— По морозу босиком  
Нужно —  
Доберешься!..

Я, конечно, буду с ней,  
Если вьюга,  
Если  
По колена всюду снег,  
Как поется в песне.

Ух, как за щеки дерет,  
Ух, как пробирает!..  
К милой в дом влетишь —  
И вот  
За тобой влетает.

И одно лишь видишь —  
Печь!  
Печь гудит от жара.  
Шубу сбрасываешь с плеч  
В колких клубах пара.

И лишь выдохнешь:  
— Мороз!  
И — лишь к печке лезешь...  
И — стоишь,  
И — руки врозь,  
И — теплу не веришь!

**г. Москва.**

**ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ**

\* \* \*

Я живу с той поры, как в пещере  
От огня темный холод растаял,  
Как наскальный рисунок оставил  
Человек, побеждающий зверя;

С той поры,  
Как придуманы строки,  
Чтобы выразить сущее верно —  
Не смогла никакая чтоб скверна  
Исказить образ времени строгий.

Время —  
Злому и доброму мера.  
И я помню кровавые даты.  
И я знаю всевидца Гомера  
И любовью прозревшего Данте.

Прозревают лишь ею.  
А злоба...  
Злобу люди назвали слепую,  
Хоть не спит,  
Хоть глядит она в оба  
За людьми  
И сама за собою.

Миром движет восставшая совесть.  
Дух бунтует:  
Не может в яреме...  
Я живу очень долгое время,  
Не с прошедшим,  
А с временным ссорясь.

Соблазнительна временность,  
Властна —  
И мечту может сделать вечной...  
Сколько их  
По земле этой вечной  
Непокорных  
Ушло от соблазна.

И не знай я,  
Что скрыто под нею,  
И родись я  
В пещерные ночи —  
О, насколько я был бы беднее  
И насколько б мой век был короче.

Память жизни —  
Как гулкость лесная,  
Эхо дней.  
Все—не тлен и не пепел.  
Я живу с той поры, как я знаю.  
До того человеком я не был.

Я живу —  
Узнаю, вспоминаю  
И люблю,  
И во мне это — цельно.  
Для любви я живу,  
Не бесцельно,  
Для времен,  
О которых не знаю.

\* \* \*

Рожь поднялась  
И в трубочку пошла.  
И вся.  
Шероховато-сизой стала,  
А зелень  
От росы так тяжела,  
Лист не шелохнется,  
Темнея тало.

А днем,  
Когда порывист ветерок,  
Речные ряби,  
Как сирень в цветеньи,

Рожь — вся в затмениях,  
Вдоль и поперек,  
И зыбок свет,  
И мимолетны тени.

Глазам невмочь  
От солнечной игры,  
А там,  
Где проблески песка  
У леса,  
Ржаные шелковистые вихры,  
Точь-в-точь,  
Как у сынов моих,  
Белесы.

А к вечеру,  
Когда закат в пыльце,  
Уже над колосом,  
Еще зеленым,  
Рожь — как улыбка  
На твоём лице,  
Рассеянном,  
Мечтательно влюбленном.

А ночью  
Будущее рожь таит.  
Усохший вяз безлистый —  
Как сохатый.  
Вся, как туман,  
Молочная, стоит.  
И зябнет поутру  
За теплой хатой.

г. Москва

ВЛАДИМИР НЕЧВОЛОДА

## ЗЕМЛЯНИКА

Дом отцовский  
                                дремы укачали.  
В окнах солнца сочного меда.  
Я внезапно утром постучался  
И  
    заахал  
        дом  
                на  
                все  
                лады!

Мама в слезы:  
— Братья ждать устали!  
А отец:  
— Рубаху не найду...

Мы, отец, не часто обнимались,  
Дай к щеке шершавой припаду.  
Как здоровье?  
— Мать болеет, право...  
Травнице велели показать...

Мама,  
я привез такие травы!—  
Вылечим и сердце, и глаза.  
От простуд эфедра настоялась.  
Вот пустырник — сердцу он, что мед.  
Есть лимонник — прогонять усталость,  
Марьин корень силы придает.



Все они испытаны годами,  
Верные помощники земли.  
...Вволю заповедными цветами  
Берега Приобья заросли.

Видел я пожары у селений.  
Видел:  
Лес больной до немоты,  
Нянчит на обугленных коленях  
Заманихи слабые цветы.  
Мир  
    в железных  
        и лебяжьих гамах,  
Пьют леса целебную зарю.  
Разреши, отец, я сам для мамы  
Земляники доброй заварю.

\* \* \*

Какие простыни у мамы —  
Белей лебяжьего крыла!  
Каким покоем необманным  
Она покой убрала.

«Чего не спишь?»—  
Присядет рядом,  
Посмотрит, будто бы в укор,  
Пригладит мне вихры,  
                                и разом  
Сны шевельнутся под рукой.

И сквозь цветную полудрему  
Услышу:  
    встала,  
        отошла,  
Вот чашкой звякнула дареной,  
Вот, вроде, тесто завела.

Бормочет:  
    «Кто в тайге накормит?  
Да и жена — она не мать...  
Прожить бы только им без горя...  
Володя,  
Надо бы вставать».

И свет сметанный разольется.  
И будет вновь хвалить отец  
Блины  
Горячие, как солнце.  
Мы с ним блины умеем есть!

\* \* \*

**А. Кузнецовой.**

За туманами кони ржут.  
Шашки выбросил вверх тальник.  
Тени бросились к шалашу.  
Застонал у копны старик.  
— Эй, проснись-же!  
Костер потух.  
Угли пеплом дано рябы...  
Но бормочет сквозь сон пастух:  
— Кони кличут.  
        Дружок убит.  
До колчаковцев сорок лет.  
Позабыт всем дорогам счет.  
От реки до реки рассвет  
Лентой алою протечет,  
Красноталы огнем сгорят...  
Я в глаза старику гляжу,  
И понятен мне грустный взгляд:  
За туманами  
        кони  
        ржут.

\* \* \*

Девчонку полонили за Непрядвой.  
К шатру пригнав под цыканье кнута,  
Ожег ордынец ястребиным взглядом  
И хану на веселие отдал.  
Девичьи песни стали так печальны.  
В дыму костров, когда закат горел.  
Потом и внучку на ковры сменяли  
И веком позже привезли в гарем.  
Заморские полуденные страны.  
Спокойная жестокость их страшна.

Но мы ль не полоняли персиянок  
И не бросали в Волгу их с челна?!  
Девчоночка...  
Живет в моей эпохе.  
Дрожит ее смятенная душа.  
Мужское улюлюканье и хохот  
Из тьмы веков звучат еще в ушах.  
Загар костров лежит еще на лицах.  
Тревожны вздохи бабок.

Потому,

Как зла,  
          мужчины девочка боится,  
Как к богу,  
          робко тянется к нему.  
И не понять никак ей —  
          недотроге,  
Что боль противоречий в ней самой —  
Она одна родник с живой водой.  
Иссякнет он —  
И вымрут зло  
          и боги.

\* \* \*

Погладила встревоженные плечи,  
Коснулась остывающих волос.  
Дыхание немой горячей речи  
Из комнат сонных ветер не унес.  
Но зря окно распахивали позже,  
Таращились на зорьку сыновья:  
— Ты видишь?  
— Где он?  
— Слышишь?  
— Отчего же  
Не расслышать сегодня соловья?  
Уселись на окошке, косолапы,  
Обшарили глазами небосвод.  
— Наверно, он соскучился без папы...  
А знаешь, как при папе он поет!  
Туман глотали маки в огороде,  
Студили шеи тонкие свои.  
Заря прошла.  
Должно быть, к непогоде  
Все утро промолчали соловьи.

г. Тюмень

ЮРИЙ ЗИМИН

## МЫ ОБЖИВАЕМ ТУНДРУ

*Из северных очерков*

### СТАРОЖИЛЫ

Верзила-парень в болотных сапогах до паха приладил к корме лодки мотор, дернул свою «посудину», она легко подалась с песка, заскочил в лодку, сел на скамью, чтобы уравновеситься, веселко взял, отгребаёт слегка, а когда отошел от берега изрядно, рванул пускач, мотор взвыл, парень руль круто положил и, оставляя за собой ребристый веер, лодка рванулась на середину озера. А там, как будто кто каленого гороха на луженую сковороду кинул, рассыпались на сверкающей глади стаи черняти. Порскают от лодки, ныряют, мигнуть не успеешь, а не снимаются, — совсем непуганая птица в дальних тундровых угодьях, — сейчас вот неторопко собираются стаи на юг, присели на озеро, а оно около города — ого-ого! — попривыкли уже к шуму машин и не снимаются, как будто знают: не будут стрелять в них, а поиграть в догонялки — отчего же и не поиграть — простора много.

День золотом отсвечивает, желтый день. Лисица-осень прошлась по земле, смела хвостом все яркоцветье, лишь оставила на березках багрец да позолоту, да лиственницы слегка тряхнула. А они еще зелены, лиственницы, и пока воздерживаются иголки ронять. Да и так лето еще держится, и зеленого еще много вперемежку с лисьей окраской, но уже чувствуется, как где-то тяжело и холодно дышит Северный ледовитый, без демисезонного уже за крыльцо не пойдешь, и небо уже не зеленое, а густой сини, с крутыми снежными отвалами облаков.

А на берегу озера народ: и в одиночку, и парочками, и большими звонкими компаниями, и с детишками на руках, и с колясочками, и все следят, как шутник-парень гоняется за утками на своей моторке, и всем весело — сегодня воскресенье. И в молодежном парке оркестр играет, танцует молодежь, веселится, а и чего не танцевать — средний возраст жителей Надьма — двадцать пять лет, самый комсомольский возраст. Потому и трест «Севергазстрой» — комсомольско-молодежный. А и у самого города ясельный возраст, два года только, самый младший, наверно, в стране город, а звонкий, аж за границей известный.

Народ сегодня толкается в парке, на берегах озера, а кто-то на рыбалку далеко уплыл — караси в озере до семисот граммов веса набрали,

один — на всю сковороду; другие в тундру ушли, по грибы да ягоды, их в эту пору в тундре — ступить некуда. Хорошо вот таким звонким днем на Полярном круге — чисто как-то. И комара-гноуса, который летом до мата донимал, нету. Потух гнус, не курится дымком над каждой пропелтевой спецовкой. Жаль, что деньков уже таких маловато, на исходе хрустально-чистые, все чаще сеет дождь, мелкий и нудный, как разговор пьяного с трезвым.

Но сегодня денек желтый и синий, и всем хорошо. И на лицах у всех такое выражение, какое бывает у мастера, когда он доволен сделанной вещью. А и чего не быть довольным: город-то, вот он, если не на глазах, то на памяти растет...

— А все-таки понаслышке не тот город казался, — говорит Павел Боярев. Китель солдатский, отутюженный, давно в чемядане покоится. — Потомкам на память, а то и в музей, — шутит Павел. — Чтобы помнили, как мы тут за мир во всем мире повоевали, энергетическую базу страны укрепляли. Сейчас он глубоко штатский человек, противовойскальной профессии — строитель.

— По печати я как считал: проект образцового полярного города, под одной крышей, с микроклиматом. Кругом пурга и морозы, а тут цитрусовые цветут. В январе с подружкой в кино в костюмчике ходишь... Да, вот они, слухи-то, — шутя-обиженно заканчивает он.

— Хорош проект, да не тот объект, — Володя Шевцов. бригадир отзывается. — Да и без свежего воздуха скучно будет.

Бригада собралась вместе. Оно и правильно: вроде бы целыми днями друг у друга на виду, а в другой компании как-то не то, привычка, видать, рядом быть.

— Я за что свою профессию уважаю, — Володя бригадир говорит. — На виду твоя работа, а, значит, и жизнь на виду. — Подумал, разъяснил: к чему это? Не у людей на виду, это само понятно, а себя видишь, как на фотографии. Я как по городу иду, так будто альбом перелистываю...

...Баржи медленно тащились за буксиром сначала по Пуру, потом по Тазовской губе, Обской, потом по Надыму. Строительное управление из Тарко-Сале, — по-ненецки «Мыс на болоте», — перебазировалось в Надым. Только что геологи заявили о крупнейшем газовом месторождении — Медвежьем, — равного которому пока нет в стране, и вот принято решение строить город. Нет, не на пустом месте. Здесь стояло несколько двухквартирных домиков, оставленных еще строителями железной дороги Салехард — Игарка, законсервированной в 1953 году. Правда, в одних домиках помещалась почта, в других — участок связи, метеостанция, в третьих жили сотрудники этих «контор». А четвертые были разобраны на дрова теми, кто искал вот этот газ. Так что жить пришлось в палатках, благо прихватили их впрок, в расчете на последующее пополнение строителей. Палатки не туристские, а на двадцать человек, можно и «буржуйку» поставить и зимовать. Но рассчитывали до «белых комаров» соорудить бараки-временки, чтобы было где спать и портянки сушить. А еще надо было, как и водится на новом месте, баню сделать, потому что без этого заведения русскому человеку тоска — кино не надо, а баню подай, — ну и магазин соответственно. И конторку для руководства. А то бумаги под дождем промокнули. А без них, бумаг, пока в любом деле нельзя — тут и отчет, тут и деньги. Ну, а жить и в палатках до «белых комаров» можно.

Только белых еще жди, а серые — вот они, глаза застыли. А кто-то из местных зимовщиков ребятам на бочку диметилфтолата указал, что геологи оставили — то-то радости было! Намазались.

Бам! Бам! Бам! — уходят в тугую землю сваи. Поблескивают на солнце топоры...

— Работай боле, поминать будут доле, — шутят парни.  
— Работай до поту, так и поешь в охоту, — перешучивают.  
— Согласно коэффициенту, здесь пищу надо потреблять один к семи, — кто-то высчитывает.

— Плюс десять процентов северных, — другой добавляет.  
— Так всего «Москвича» и проешь, — третий сокрушается. — Сегодня крыло, завтра — кузов, а там и задний мост...

— Значит, век тебе здесь вековать, пока бесплатную машину за отличный труд не дадут...

— А чего, и переваю. Вон Алик здесь родился, здесь женится, здесь и дедом станет...

Алик Пяк — единственный ненец в бригаде. А потому ему тесно от расспросов про тундровую жизнь. Приземистый, крепкий, Алик похож на карликовую березку — понггу, что шагнула далеко в тундру, окрепла под пронзительными ветрами, крепко вцепилась корнями в болотистую почву и не вырвешь ее, не сдвинешь. Топором Алик играет лихо, сноровисто.

— Да ты, Алик, прирожденный строитель, — ребята говорят. — Тебе дома строить, а ты в тундре кочевал...

— В тундре без этого нельзя, — Алик отвечает. — В тундре всяк строитель, а инструмент — топор да нож. Ими и нарты делаешь, и шесты для чума рубишь, и хорей выстругиваешь, и котец для рыбы ставишь...

— Котец?..

— Речку перегораживаешь, чтобы рыба с верховьев задержалась. Зимой черпаешь, как в ухе...

— Во-от жизни! — восхищаются. — Алик, а из чего чумы делают?

— Из оленьих шкур...

— Алик, а...

— Отцепись от человека, — Володя Шевцов, бригадир, говорит. — Из твоей шкуры, видать, надо их делать было. Она у тебя дубовая...

— Она хоть и дубовая, а от этого комарья вся в дырах, — тот парирует. — Алик, а как это ненцы без мази при комарье существуют...

— А ненянг своих не трогает, — Алик говорит. — Однако не любит, кто больше его гудит, и того кусает...

— Не могу больше! — кричит кто-то и бежит, размахивая руками, к озеру. Над ним дымком комарья. Парень быстро споласкивает лицо, насухо вытирает изнанкой пиджака.

— Жрите, пейте рабочую кровь соломинкой, — комарью грозит.

А за ним с проклятиями другой к озеру, и третий. Деметилфтолат-то попорченый, не то с какой примесью оказался, хуже гнуса щеки жег. Долго ребята ходили с облупившимися лицами. А потом попривыкли. «За своих комар принял. — пошучивали. — В работе крутись, комара не боись».

Осень сначала искорки в листву кидала, а потом пустила желтый пал, сожгла зелень до тла. И припорошила лес первым снежком, мягким еще, слюнявым, который и под ветерком тает. Но вскоре, как в тундре бывает, враз приморозило. А бригада первое двухэтажное здание уже под крышу подвела. Хорошо сверху тундра проглядывается. Вон из-за сопки вывернулась оленья упряжка, за ней вторая. Ближе, ближе. Вот уже у стройки. Хоп, хоп! Развернулись олени, уткнулись ветвистыми рогами в нарты.

— Алик, родичи приехали, — Вася Брюяков сообщает.

А Алик видел, только он не торопится, он — сын тундры и знает, торопись только оленей от бурана за сопку гнать, в волка стрелять. А при гостях суетиться не надо.

— Ань торова!

— Торова, торова!

Поздоровались, присели на нарты. Женщина в расшитой ягушке с песчовым воротником да два мужчины. Подарки Алику привезли: мясо мороженое, рыба. Беседуют, на стройку поглядывают. А потом — хоп, хоп! — умчались упряжки.

— Стадо от зимы на юг каслает, — Алик ребятам объяснил. — Мать да старшие братья приезжали. Звали с собой, оленей пасти...

— А ты?

— Наша тундра, кому же еще и строить, — Алик отвечает.

— Это верно. — Володя-бригадир говорит. — Это ты правильно...

— Поддерживаю, — Вася Бруяков сказал, — целиком и полностью, и обеими руками голосую. Ваша тундра, вам ее и украшать. А что касается меня, то мне милей шоссе российские. — Встал в позу, продекламировал с чувством: — Нас ел комар и жрал мороз, но я машину все же увез. — Скромно добавил: — Сам, без Пушкина. В смысле стихов, а не машины...

— Треплешься все, — Володя-бригадир говорит. — Ты же не та-кой, ты же после армии сюда приехал...

— Точно, — Вася отвечает. — А с чего ты взял, что в армии мечту о собственной машине отбивают?.. Сам-то где служил?

— Ну, в связи...

— Ну, а я — краснодарский, — Вася не по вопросу сказал. — Так что нам без транспорта — тоска. А ты тяни свою линию, раз связист. В смысле энтузиазма, конечно...

И Володя тянул свою «линию». Он ее тянул с той минуты, как комсомольскую путевку при демобилизации получил. Он тянул ее в Сургут, в бригаде известного бригадира Льва Шапошникова, который в работе пятнадцатого съезда комсомола участие принимал и орденом Трудового Красного Знамени за рабочие дела награжден. Он от Шапошникова бригаду принял, когда тот в мастера перешел, и вскоре ребята во Всесоюзном соревновании строителей второе место заняли и в Тарко-Сале со знаменем приехали. А потом — Надым. Отец с матерью в каждом письме домой, на Харьковщину, зовут. Но... А все-таки это верно, что сознание собственной необходимости заставляет человека идти на любые трудности. А Владимир знает, что он и его друзья здесь необходимы. Они об этом допоздна говорили в своей палатке, и каленый свет «буржуйки» играл на лицах. И в этих спорах вырисовывались характеры.

— Комсомольская путевка? Ну и что? Да здесь даже комсомольской организации нет. Встали на учет в Ныде и все...

— Разве принадлежность к комсомолу определяется учетной карточкой и билетом?

— А чем же еще?

— Сознанием...

— Бытие определяет сознание. А какое наше бытие?

— Мы не первые. Тем, кто был до нас, было труднее.

— Хо, ты еще ссыльных вспомни. Борцов за Советскую власть на Севере.

— И о них забывать не надо. Только зачем так глубоко, ближе можно.

— Например?

— Например, те, кто утверждал эту власть. Кто здесь в тундре поселки строил, осваивал Север.

— Знаю, кто твой Север осваивал. Только те по душевному заблуждению.

— А ты как?

— А я сознательно использую текущий момент. Беру подряд по первым расценкам.

— За длинным рублем погнался?

— Не погнался, самому подсунули. Вербовочных-то пунктиков по всем городам понатыкано. Распределение трудовых ресурсов. Понял? Ну а я и есть тот трудовой ресурс. А раз труд, значит и плата. А длинный там рубль или куцый — расценки не я составлял. Понял?

— Выходит, кто первым чего-то начинает, о рубле думает?

— А это у кого как. Другому повывакаблуживаться на массах дороже рубля.

— Это как?

— А так: «Дорогие ребята! Тяжелое и почетное дело выпало на нашу долю — осваивать богатства Крайнего Севера...» и т. д. и т. п. и пошел индюком. Я вот в отпуске тоже среди корешей треплюсь. А как же — герой!

— А здесь, значит, какой в натуре есть?

— А здесь прошу мне на мозги не капать. Потому что пока ни пожать, ни попить, ни в туалет добром сходить. И не надо плакатов, некому пока читать...

Гасла «буржуйка», гасла разговоры. Север, Север... разные судьбы переплел ты, разные интересы. Одни, приехав сюда, как рыба, выброшенная на берег, хватанут вздох комариной да морозной романтики и, обморозив идейные жабы, обратно вглубь, на Большую землю. Другие стoisчески набивают кошелек. Третьих «судьба погнала», нелады в семье или, мягко говоря, несогласие с общественностью. Четвертые — повидать жизнь. Стремление в общем-то похвальное. Пятые, а таких в процентном отношении большинство, считают, что не одна героическая судьба не должна пройти мимо них. Они считают, что должны быть там, где трудней, где они нужней. Для них подвиг — явление нравственное, они и мыслят категориями подвига, хотя пусть это будет труд — тяжелый, изнуряющий, не дающий ощущения собственной необходимости, полезности, полноты жизни.

А Вася Бруяков, поднакопив денег, уехал, и не пришлось Павлу Брюреву «потопорить» с ним... А другие остались... Правда, от первого дeсанта в городе осталось девять человек. Зато город-то вот он, растет. И насчитывает около шестнадцати тысяч жителей. И с первого бревна, с первого кирпичика строила его бригада Владимира Шевцова. Это все-таки что-то значит. От этого враз не уедешь, из сердца не выдернешь...

Сгрудилась на берегу стайка девчат. Юные, хрупкие. Такие лучше всего вписываются в какой-нибудь южный пейзаж. Около яблоньки или рябины. Или березки, где-нибудь на Харьковщине. Собственно, Елена Бузская как раз оттуда и родом. Окончила школу, пошла на швейную фабрику. Шила меховые куртки для Севера. Под плавное стрекотание машинки плавно бегут мысли. Это из книг или своя фантазия?

— Елена, смотри, пальцы к куртке не пришей. О чем задумалась?

— Да так... Интересно, как там на Севере в наших куртках...

— А ты съезди да посмотри. Хотя, — мастер усмехнулся, — с таким росточком на Севере не принимают. Любая болотная кочка и то, наверно, выше...

Что и говорить, Елена больше походит на девочку-подростка, хотя уже девятнадцатый стукнул.

«Съезди да посмотри...»

А, собственно, почему бы и нет? Под родительским крылышком, конечно, тепло: заботятся, как в теплице за слабеньким росточком ухаживают. Но ведь всю жизнь так не будет. А каково было комсомольцам двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых? Разруха, война, целина... «Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за



бесцельно прожитые годы...» Может, запомнилось и не дословно, но главная суть, — чтобы не было мучительно больно...

Елену, взявшую в райкоме комсомольскую путевку, провожали всем цехом. Подруги смотрели на нее какими-то удивленными глазами: вроде недомерок, а характер — на тебе!

В Сургуте к зиме скомплектовали из девчат бригаду отделочников. Легим в Надым. В новом городе — необходимейшая профессия. Перезнакомились. И удивительное совпадение — почти все южанки. Некоторые со стажем, да еще с каким завидным.

Венера Тяжеддинова, Женья Музафарова и Рая Пузанова приехали из Тольятти, со строительства автозавода. Там сдавали экзамен на звание рабочего после ГИТУ. А Люба Мотуз после училища работала отделочницей, потом поступила в педагогический на филфак. А на втором курсе, как выразились подруги, заболела романтикой, которую, как известно, лечат только дорогой. Подруги говорили, что эта болезнь, в общем-то, неслышная, это какому-нибудь сорви-голове парню допустимо проверять свои силы в единоборстве с природой, на то они парни и есть, народ не-серьезный, который нуждается в постоянном женском догляде, а без него натворят бог знает что, и останется навек перекасти-полем, а если она по-серьезному думает над своей жизнью, то надо получить диплом и обзавестись своей семьей, взять в мужья не какого-то там летуна с трассы, у которого и своего угла никогда не будет, а человека положительного, чтобы чувствовал свою ответственность и т. д., на что Люба ответила:

— Салют, девчата! Носите с гордостью свои комсомольские значки и ждите мужа с положением, а меня просватали за белого медведя и вот залог, — показала комсомольскую путевку. — Буду на Полярном круге за ним догляд осуществлять, а если что, pošлю вам шкуру, как наглядное пособие по воспитанию мужей...

Девчата обиделись: при чем здесь комсомольский значок и мужья, все гораздо серьезнее и пусть Любка не передергивает. Впрочем, скоро успокоились и даже слегка позавидовали, как завидуют человеку, у которого впереди интересная дорога.

А бригадиром у них Валентина Кричин, вот эта полноватая женщина. По возрасту она недалеко ушла от своих подруг, а вот по жизни...

Как у всех, была школа, игры. Потом строительный техникум, другие увлечения. Потом распределение. Преподавала в строительном училище, в Приморье. Первая любовь. Он был геологом и уходил на долгие летний сезон в сопки. Возвращался похудевший, костистый, обросший бородой, которую носил несколько дней, щекотал ею годовалого Павлика и тот захлебывался в смехе. Было счастливо и безоблачно.

А незадолго до окончания одного из сезонов к ней зашел его друг, и она сначала обрадовалась: вот неожиданная весточка, но потом, приглядевшись к его лицу, увидела, что весть будет не такая уж радостная, но еще не подозревала самого худшего и приговаривала: «Ну, садись, рассказывай, не заели еще моего благоверного медведи...» — а сама на стол чай сбирает, только тот говорит: «Ты погоди, Валюша, такое дело...» — а сам куда-то в угол смотрит, потом из внутреннего кармана пиджака пачку писем достал, его писем, и документы, и все это ленточкой перевязано, вот тогда воткнулась Валентине в сердце ледяная игла, и все пускала и пускала холод, даже сознание холодила, так что она и не совсем воспринимала рассказ, как шел он по гребню, как подвернулся камень и он скатился на край обрыва и не удержался, и упал в пропасть. И вот теперь его письма, это все, что осталось, но пусть сна не думает, товарищи ее не бросят, и сына тоже, помогать будут. А сердце совсем в ледышку превратилось, и ей было еще хуже, когда на работе или на улице она ловила участливые взгляды, и все здесь напоминало о нем, отчего душе

становилось еще щемливей, потому не выдержала, в один из дней собрала вещи и покинула город. Сына оставила у родителей, а сама еще дальше, к Полярному кругу, в Надым, край известный, здесь кроме умения работать надо еще кое-что иметь, мужество, например. А ей надо сблизить границы трудности — потери и жизни, чтобы спаялись они, стали одним целым, тогда легче будет переходить к спокойствию и радостям. Если не личным, то общим. И в этом краю холода, среди искристых девчат, которые все трудности воспринимают как факты для будущих воспоминаний, таяла ледышка в груди Валентины.

А фактов для таких воспоминаний на каждом шагу.

— А помните, девочки, — говорит Елена Бузская, — встряхивая каштановыми волосами, — как мы сюда приехали? Б-р-р...

Было действительно «бр-р-р», потому что был январь, полярная ночь вперемешку с пятидесятиградусным морозом, а спать их положили в квартире первого, еще недостроенного каменного дома, об отоплении и речи нет, да еще сказали: «Пока тут жить будете. Дом-то — общежитие будущее. Так что, чем скорее сдадите, тем быстрее в уюте жить будете».

Устроились они в спальных мешках да еще сверху одеялами прикрылись. А наутро как будто кто связал их — одеяла к полу примерзли. А у кого ненароком прядь волос во сне выбилась или коса, так тоже примерзли и со слезами оттирать пришлось.

Одни говорили: «Ах, мамочка, как ты была права...».

Другие: «Куда я попала, где мои вещи?..»

А третьи на полном серьезе и как-то даже не по-девичьи: «В гробу бы я видела такую жизнь. Томка, кинь-ка мой рюкзак, соберусь, пока самолеты летают...»

И собрались, даже начальство в известность не поставили.

— Трусихи, — пискнула было вслед Елена.

— А ты помолчи, малявка, — сказали ей. — Сама скоро монатки соберешь.

И улетели обратно. А она не собрала, и другие тоже. А сейчас в городе нет ни одного здания, где бы ни работала эта голосистая бригада. Да еще летали на стройку в Ханты-Мансийск, работали в Березово, на отделке газосборного пункта, в Лонг-Югане, на отделке и штукатурке жилых домов, это новый поселочек, где живут ребята, что строили новую перекачивающую станцию, в ста тридцати километрах от Надыма.

Вот такая бригада старожиллов, всем на круг около двадцати лет, чуток поменьше, чем вон тем ребятам из бригады Володи Шевцова, за которыми, бывало, вслед приходилось идти. Это уже как положено: отделочники вслед за каменщиками да плотниками, а эта бригада с первого кирпичика город строить начала, так что можно подойти и послушать, о чем толкуют.

— Привет плотникам!

— Привет отделочникам!

А галантный Паша Боряев лично от себя добавил:

— Привет прекрасному полу, милости прошу к нашему шалашу.

Девчата огляделись, шалаша не приметили и присели на жухлую травку. Как будто от дальнего облака оторвались два плотных клубочка и потянулись строго на юг. «Квы, квы».

— Вот и лебеди улетают, — вздохнула Лена. — Где-то в наших краях зимуют...

— Не собираетесь ли вы на юг, лебедушка? — осведомился Паша Боряев.

— Да все лебеда в пару нет, — усмехнулась Лена. — Опять же они весной вернутся в тундру. Так что нечего туда-сюда летать. Перезимуем.

— Значит, и нам не крыла, — шумно понурился Павел. — А вот

один из наших лебедей как раз улетел, в Краснодар, — наметнул на сбежавшего Васю Бруякова. — А на лихтере его видел — орел.

А тут подошел Иван Садовский, районный комсомольский секретарь, парень крупный по телосложению, настоящий полярный медведь, о таких говорят: «Неладно скроен, да крепко шит», подошел послушать, о чем это лучшие бригады между собой толкуют. Ну, ясно. О чем еще может идти разговор: о новом городе, о работе, о том, как с первой сваи начинали, и о том, что надо завтра сделать. Это ведь в рафинированных интеллигентных компаниях считается «неэстетным» разговаривать о работе во время отдыха. А в рабочих бригадах эти часы производственному совещанию можно уподобить. Зачастую в таком вот «застолье» и решаются наиболее важные вопросы.

...Огромной зеленой стрекозой опустился за парком вертолет. Знать, с Лонг-Югана.

— Год уже здесь, а оленей не видел, — говорит Павел Боряев. — И чумов не видел. Тоже мне, Полярный круг, одно название. Где те «белые пятна», которые я кинулся осваивать с распахнутой душой?

— Ты в деревне был, соху видел? — спрашивает Иван Садовский.

— Эва, сравнил, — отвечает Павел. — Там орудие производства, а здесь — природа. Там индустриализация хозяйства, а здесь что — индустриализация природы?

— Ну, если говорить о газе, то можно и так выразиться. Газ — природа, а мы его индустриализуем.

— Ловко, — покрутил головой Павел. — Только все-таки первобытности жалко.

— А она и стается, — говорит Садовский. — На Ямале около четырехсот тысяч оленей пасется. Только у них свои тропы, у нас свои. Нам вот уже нынче одиннадцать миллионов кубометров газа на Урал подать надо и никаких. Да город хоть в два раза расширить. Вот это наши тропы.

— А не проложить ли пока тропу в парк, чувствую — шашлыками пахнет, и музыка звет.

Предложение одобрили и поднялись.

«Э-э-э...» — пропел далеко за Надымом тепловоз.

Тундра, тундра... Что слышала ты раньше, какие звуки нарушали твое белое безмолвие? «Хоп, хоп», — покрик каюра да протяжная его песня о снежных просторах. Да редкий выстрел пастуха по волку, подкравшемуся к стаду. Да еще талара — коллективная охота на песцов, когда шумят, гремят кто во что горазд, загоняя на оленьих упряжках мечущихся в страхе зверей на какую-нибудь сопку и стреляют их там. Так делали родители Алика Пяка, а он ушел за синей птицей, строить города в тундре, помогать тем, кто добывает голубой огонь.

Шумят в тундре буровые вышки, гудят в небе вертолеты, поют тепловозы, снуют вездеходы. Разрабатываются крупнейшие газовые месторождения — Медвежье, Уренгойское. А сколько других! Тринадцать триллионов кубометров разведанных запасов голубого топлива. В полтора раза больше, чем в Америке. Стройки, стройки... И за всем этим — человеческие судьбы во всей их сложности и многообразии отношений.

3. ЧЕРКАСОВА.

## П Е Р Е Е З Д

*Рассказ*

Дина Исаевна на работу и обратно всегда ходила пешком, хотя это было не близко: километра три. Она была вынослива и легка на ногу, но человека, наблюдавшего за ней со стороны, охватывало волнение, будто присутствовал на странном состязании: женщине хотелось взлететь, а неведомая сила притягивала к земле, и не могла она преодолеть эту силу...

Город, где она жила — строился. Захолустный, провинциальный он превращался в столицу вновь открытого нефтяного края. Жизнь здесь кипела так, что когда-то знаменитому Клондайку и не снилось... Не хватало транспорта, жилья, гостиниц, трудно было попасть в театр. Вокзалы захлебывались потоком пассажиров, а просторам Севера все не хватало людей. И никто пока не знал цифры, на которой мог бы прекратиться этот голод...

По широкой центральной улице, перепоясавшей город, катилась нескончаемая лавина машин. А с обеих сторон — многоэтажные дома. Дина Исаевна всегда жалела людей, чьи квартиры были на берегу этой грохочущей металлом реки. Им с Федором когда-то приходилось жить в такой. Бесконечный грохот, в любую жару наглухо закрытые окна и непроходящая головная боль...

Век техники. В соответствии с этим казалось бы все вокруг должно меняться. Ну, вот, например, планировка городов. Разве такими их надо теперь строить, как строили в далеком прошлом? Перестраивать будет труднее, а придется. Уже сейчас становится трудно дышать загазованным воздухом, жить в постоянном шуме. То ли еще будет?.. О некоторых проектах Дине Исаевне приходилось читать. Кто-то предлагал опустить дороги под землю, другой, наоборот, — поднять над домами. Ей не нравился ни тот, ни дру-

гой: человек должен видеть небо, нельзя на земле устраивать Дантов ад.

Вот если бы разделить как-то жизнь города на два мира: мир людей и мир машин. Может, дома повернуть спиной к трассам? Безлюдная дорога среди каменных стен, конечно, скучна для тех, кто в машинах. Но зато по другую сторону!..

Открытые окна. На ветерке полощутся занавески. Тишина, нарушаемая только детскими да птичьими голосами... Аромат цветов и прохлада под зеленым шатром деревьев... Ни одного светофора... Ни одного нарушителя?! Даже из тех кто любит и умеет пользоваться своим служебным положением?.. Да, в том городе люди должны быть свободны от эгоизма. До тех пор, пока есть такие, что могут в одиночку курить среди десятка некурящих, треском гоночного мотоцикла, кружащего вокруг дома, беспокоить сотни людей или оглушающей музыкой из окна насильственно развлекать соседей и прохожих, такого города—не будет!..

Дина Исаевна каждый день останавливалась у доски объявлений. Все боялась пропустить подходящий обмен квартиры. Но город, куда год назад уехал муж, упрямо не хотел меняться.

Федор, цыганская натура, не мог долго жить на одном месте. Вдруг, как ужаленный, срывался, а уж потом, устроившись, перетаскивал и Дину Исаевну. Так что из девятнадцати лет их совместной жизни семь, прожитых в разлуках, можно было не считать.

Он никогда не советовался с ней, когда и куда поехать. Это всякий раз ее обижало. Ненадолго. Она любила Федора и без него тосковала так сильно, что, оказавшись рядом, забывала всякие обиды. Во всем белом свете для нее существовал один Федор, все остальные мужчины были где-то за его спиной, безликой, неспокойной толпой.

Последнее письмо Федора ее обрадовало. Он писал, что друг его уехал работать на Тюменский Север, а свою комнату пока решил занять ему. «Наконец-то у меня удобства... хотя кухня на три семьи, и через две недели я должен следить за чистотой в местах общего пользования...».

— Все!— решительно сказала Дина Исаевна, прочитав письмо.— Завтра подам заявление и через две недели, хоть камни с неба — уеду!

Она знала — Федору это не понравится. Он считал, что если заниматься обменом квартиры с двух «фронтов», дело выгорит скорее и лучше. Дина Исаевна не желала больше держать этот, свой, «фронт». Она устала от одиночества, от ожидания праздничных встреч с Федором, от поездок, от постоянной экономии денег на дорогие билеты... И впервые взбунтовалась.

Если откровенно—ей не нравился древний город, выбранный

Федором. Нет, он не был тихим и застойным. Но только кипучесть его быстро утомляла и раздражала своей bestолковой туристской суетней. Но там был ее Федор, все остальное было не так важно.

И вот уже наступил последний день ее работы в управлении. Вот уже закончена передача отдела кадров новой начальнице. Получен расчет. Теперь — за билетом. Завтра же первым самолетом к Федору. Вот удивится!..

По пути в агентство, еще издали, она заметила на доске объявлений свежую бумажку, белевшую, как новая заплатка на старом платье. То что надо. Ага! Судьба испугалась ее решимости и выпустила из неволи удачу!..

Дина Исаевна записала адрес и, на ходу изменив план, отправилась на переговоры, не сомневаясь в успехе. У них была хорошая квартира, в хорошем районе...

Сегодня же позвонить Федору. Нет, все-таки первым самолетом надо вылететь. Посмотреть хоть, на что менять. А то подсунут kota в мешке. Федор в хозяйственных вопросах слаб. Рубашку и ту удачно не купит. Все, что при переезде упаковывал он без ее контроля — обязательно развязывалось, рассыпалось, ломалось... Впереди два выходных. Федор будет дома... Завтра в первой половине дня и она с ним...

Вдруг Дина Исаевна почувствовала, что ей жаль расставаться с этим городом. Она прожила здесь уже целый десяток лет. Федор за это время дважды пускался в путешествия и возвращался. Теперь, кажется, на третий раз, нашел то, что хотела его душа... Она привыкла уже к этому городу. Старый, купеческий он преобразился на ее глазах. Дом, где она жила, появился в ее районе первым. Вокруг в то время были громадные пустыри, заросшие высокой травой. Два лета подряд перед окнами кто-то ставил стожки душистого сена... Теперь рядом институт, кинотеатр, гостиница на тысячу мест, телецентр, скверы...

Отсюда к нефтяным месторождениям плели самолеты сеть воздушных линий. Отсюда, через тайгу и топи, пробивались на Север дороги. Отсюда вели наступление геологи, буровики, строители. Среди них были настоящие романтики, те, что живут в вечной заботе, как бы без них не свершилось какого-то открытия, мечтатели, способные, кажется, силой своего воображенья оживить снежную жар-птицу. Попадались люди и другой меры, что ради денег и собственной славы горы могли свернуть и ближнего не пощадить. Да ведь и в семье дети бывают разными...

Там, где-то в приполярной тундре, в одной из экспедиций жил теперь и друг Федора. Интересно, из какой породы людей этот Алексей Рогов? Ради чего, бросив «теплое» место в научном институте, подался он в «золотоискатели»? Федор писал, что Рогов, на

первых порах, возможно, поживет в их доме. Но он так и не появился. Видно, не задержался в Тюмени...

Книгу, взятую в дорогу, Дина Исаевна так и не раскрыла. Откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза, все три часа она блаженствовала в небытии. Прошое было позади, а новая жизнь еще не наступила. Но самолет — не межпланетный корабль. И одного воздушного замка еще не построишь, а уже опять ступай на грешную землю...

Знакомо ли вам чувство одиночества и тоски, когда в чужом городе вас никто не встречает, а значит и не ждет? Дина Исаевна испытала его в тот миг, лишь только сошла с трапа и пожалела, что не сообщила мужу о своем приезде.

Этот вокзал она видела уже несколько раз. Но тогда был рядом Федор. Сейчас все воспринималось по-другому. Будто и площадь повернулась не той стороной, и автобусная остановка перебежала на другое место, и деревья какие-то уж слишком кучые.

Федора дома не было. Тамара, соседка, крупная, немолодая уж, но еще очень симпатичная и спокойная женщина, встретила Дину Исаевну с русской гостеприимностью. Отыскала в тайничке ключ, открыла комнату.

— Долго, наверно, не вернется, — сказала она о Федоре. — У него три дня свободных. Сегодня раным-рано уехал на дачу... Помогает строить... товарищу.

«Строить? Федор? — незаметно усмехнулась Дина Исаевна. — Мало вы его знаете! Скорее всего плодово-ягодным урожаем облазилась!...».

Где эта дача, Тамара не знала, и Дине Исаевне ничего не оставалось делать, как, набравшись терпенья, ждать. Еще раз поругав себя, что не послала телеграмму, переодевшись, она тут же взялась приводить в порядок, по ее мнению, ужасно запущенную комнату.

Вытирая пыль на хозяйском старомодном письменном столе, она представила Рогова лысеющим брюзгой, но образ этот не вязался с человеком «рванувшим» в необжитую тундру, и она, заключив, что неспособна по вещам угадать характер владельца, больше не пыталась рассуждать на эту тему.

На всем было столько пыли, что ей пришлось все перевероршить. «Расшумится Федор, скажет, опять тут навела беспорядок! — думала Дина Исаевна, орудуя мокрой тряпкой. — Консерватор! Что ни говори, а привычки, заложенные в человека с раннего детства, в какой-то мере остаются на всю жизнь».

Федор воспитывался в многодетной семье. Мать его не могла похвастаться ни трудолюбием, ни чистоплотностью. И сколько ни пыталась Дина Исаевна приучить Федора к опрятности и уюту, не могла добиться того успеха, какого хотела. Мало того, он зачастую

не хотел признавать явного удобства и красоты в расставленных женою книгах, вещах и перевортывал опять все по-своему. Беспорядка в доме от Федора получалось куда больше, чем делала его когда-то Танечка... Дине Исаевне, большой аккуратистке, работы дома всегда хватало.

...На глаза попалась длинная памятка на ближайшие дни.

1. Купить Эмме,— сестре,— магнитофонную ленту.

2. Унести белье в стирку.

3. Написать Дине письмо...

— Написать Дине письмо!— повторила она вслух, и бросив тряпку в тазик с водой, устало присела на краешек стула. «Значит, письмо жене это такое дело, о котором, если не завязать узелок, можно забыть?..»

Дина Исаевна не смогла бы объяснить, откуда последнее время в ее душе появилась тревога и какая этому причина. Письма от Федора приходили так же часто. И тон их не изменился. Но... стали они короче. Да вот и о том, что поселился один в комнате, написал почему-то не сразу, а почти через месяц... И сны все какие-то беспокойные. Прошлой ночью приснилось, что попала под дождь. И «золотые» туфельки, которые она купила по выбору Федора, облябли. Вся позолота слезла...

Она не была суеверной, но могла бы побиться за то, что существуют-таки явления телепатии. Какой силы импульсы излучала ее душа — она не знала, похоже, что их совсем не было, иначе даже на неделю не разлучался бы с ней Федор. Но то, что она, ее душа, могла принимать даже самые слабые токи, исходившие бог знает откуда, не было сомнения.

Пять лет назад воспитатели пионерского лагеря еще думали, как сообщить ей о нелепой гибели дочери, Танечки, а Дина Исаевна уже была в пути, не находя места от тяжелого предчувствия...

У ней испортилось настроение. Уже без всякого вдохновенья, машинально закончила уборку и, не привыкшая к безделью, принялась пересматривать одежду Федора, откладывая в сторону все, что требовало утюжки, стирки, починки. В нагрудном кармане рабочего костюма хранилось письмо...

Полтора месяца назад, когда Дина Исаевна приезжала на майские праздники, в отсутствие Федора, какая-то женщина попросила передать, что звонила Галя Подольская. Федор на это сообщение вяло ответил: «Подружка товарища. Я ей обещал денег занять... Дачу покупает...».

Письмо было от Гали Подольской.

«Федор, миленький, зовет мама! До пятницы уеду в «родовое имение». Звонила в твою лабораторию. Там работают просто ведьмы. Невозможно ни о чем договориться. Я, видите ли, мешаю рабо-



тат! Наведи-ка порядок!.. Вернусь вечером, а утром, как договорились — на дачу. Я ничего не успею. Пожалуйста, купи... (Дальше шел список строительных материалов. Сбоку — разноцветные крыжички, видимо, покупались в разное время. А она-то считала беспомощным его в хозяйственных вопросах. Все горевала, как же он там без нее обходится?)... Скорей бы суббота, — писала ниже Подольская. — Мы опять будем только вдвоем... Обнимаю...».

Не во сне, не с туфель, а наяву, с ее кумира — осыпалась позолота... Разрушив обветшавший за долгие годы заслон, пробились, наконец, на волю мятежные мысли: как-то не так идет жизнь... Почему это заботы их семьи всегда ложатся не на борцовские плечи Федора?.. Почему, уезжая, он не задумывается: как она будет без него?

Говорят, что любовь помогает жить. Да! Но кому? Любящий бескорыстно, без расчета большую часть своих душевных и физических сил тратит на любимого. Ведь истинная любовь не имеет никакого понятия о таких величинах, как «больше», «меньше»... Для любви радость в том, что радостен другой...

От этих мыслей Дина Исаевна почувствовала себя совершенно чужой в этой комнате и в этом городе. Совсем недавно полная энергии, ожидания и ласки женщина поблекла, как зеленая ветка, опущенная в кипяток. Между бровей обозначилась глубокая морщинка, серые глаза потускнели и оказались не такими уж красивыми. Обыкновенные глаза усталой пожилой женщины.

Неспособная обманывать, Дина Исаевна никогда не оберегала себя от обмана со стороны. Тем более не ожидала подобного от Федора. И тем тяжелее было для нее теперь...

Утром, на следующий день к Дине Исаевне постучалась Тамара, Увидев ее, обрадовалась:

— Не слышно вас, не видно — я уж забеспокоилась. Пойдемте чаевничать. — Вглядевшись в потемневшее лицо гостыи, вздохнула: — Не хотела я вас, Дина, огорчать, да вижу — сами все поняли... Дома он бывает мало... Вчера будто сердце чувствовало, сиросила его, как собирался: «А если, — говорю, — жена приедет?» Она, — отвечает, — без предупреждения никогда не явится. Зачем, — смеется, — лишние трагедии?». Погуляли бы, — посоветовала она. — Время хоть быстрее пройдет.

«А вдруг вернется без меня. Хочу в глаза посмотреть» — подумала Дина Исаевна, а вслух, не скрывая боли: — Господи, неужели еще целый день ждать?!

Федора не было два дня и две ночи.

Никогда Дина Исаевна не думала, что так долго может тянуться время. Она перебрала много вариантов встречи с ним. Но ни один не годился. Порожденные обидой слова только унизили бы ее.

И она решила не заводить не только скандала, но и разговора. Все зависело от того, как поведет себя теперь Федор. А она... не видела никакого письма, ничего не поняла, ничего не знает. Что случилось, то уже прошло, а впереди — годы жизни. О них и надо думать...

Он пришел домой в середине третьего дня. Только на одно мгновение вспыхнула в его больших черных глазах растерянность, но он тут же взмахом пушистых ресниц прогнал ее и, будто расстался с ней всего на несколько часов, громко и весело сказал:

— Здравствуй! Когда появилась?

— Недавно. Только и успела, что в комнате прибрать,—проглотив рыдания, ответила Дина Исаевна.

— Чего прикатила? Случилось что-нибудь?

— Соскучилась.

— Только и всего!?—засмеялся он, притягивая ее к себе.

— Где ты так ушибся?—спросила она, отвлекая Федора и незаметно отстраняясь.

— Доска упала...—потрогал он ободранный, распухший и без того горбатый нос.

Он не замечал или не хотел замечать ее постаревшего лица, запавших глаз. Раздевшись до пояса и играя прокаленными на солнце мускулами, побежал в ванную, наказав:

— Наряжайся. Сходим куда-нибудь. Завтра у меня дежурство — тебе придется целые сутки скучать.

...С мокрыми волосами, в небрежно накинутом халате он суетливо рылся в ящиках стола. Дина Исаевна догадывалась, что он искал: билеты в театр, на вечер этого дня. Он хотел убедиться, могла ли она видеть их. Билетов нет и Федор морщит лоб, видно пытаясь сообразить, куда мог их девать, потом чуть заметно улыбается: все к лучшему. И тут же на его лицо снова ложится тень. Еще какая-то забота! Ах, да! Не знает, как предупредить Подольскую, что театра не будет. Бедный Федор!..

В коридоре зазвонил общий телефон. И по тому, как Федор кинул взгляд на часы, она поняла — ждал этого звонка.

— Я поговорю!—внезапно не только для Федора, но и для себя заявила она. Он растерялся, пораженный ее непривычной дерзостью.

— Пожалуйста, пригласите Федора!—послышалось в трубке. Дина Исаевна узнала голос.

Попробуй объясни, что за тонкий чуткий механизм скрыт в человеке, способный мимоходом сфотографировать, записать, запомнить и схоронить до поры, до времени. Этот потаенный груз холодит душу... А человек и не знает, отчего ноет она! Но вот какое-то событие молнией пронзит все нервные клетки, высветит спрятанные в

подсознании мысли, звуки, образы... В такие моменты кто-то сходит с ума, кто-то умнеет...

Воинственность Дины Исаевны вдруг сменилась усталостью.

— Федора нет дома,— тихо сказала она и положила трубку.

Он так и стоял, как она оставила его, посреди комнаты. И лицо его было бледным.

«Как он испугался!»— у Дины Исаевны закололо сердце. А Федор, успокоившись, что ничего страшного не случилось, но не прощая ее выходки, сурово бросил:

— Ты здесь гостя, и нечего наводить свой порядок!

Она поняла, что речь на этот раз шла не о передвинутых вещах.

— Гостя?— переспросила она и глаза налились слезами.

— Начинается,— поморщился Федор.

— Я сегодня уеду...

— Ну и уезжай к чертям!— окончательно взорвался он.— Затеяла каждый месяц кататься! Миллионерша!

— Не надо так, Федор!— простонала она, закрывая лицо руками.

Он спохватился, что наговорил лишнего и попытался причесать ссору:

— Хватит капризничать!.. Я пошел в магазин. Накрывай стол— попируем. Успокойсь— тогда выведу тебя в свет.— Он ушел.

А вскоре и Дина Исаевна вышла из комнаты с легким кожаным чемоданчиком. Осторожно прикрыла одну дверь, другую. И вот впереди осталась всего одна ступенька. Она помедлила и ступила на нее. Всел..

Расстроенная Тамара стояла у окна, провожая взглядом гостью. Невысокая, не по летам стройная, с пятого этажа Дина Исаевна казалась школьницей. Шла легко, весело. Дождавшись зеленого огня, перебежала дорогу, обернулась и, усмотрев в открытом окошке знакомое лицо, помахала рукой. Ее розовый свитер еще немного помелькал в толпе и затерялся.

Вдруг хлынул проливной дождь. С громом и молниями. В комнате, на стуле, возле стола, накрытого на одного человека, висел забытый Диной Исаевой плащ, на полу, съежившись, будто от вины за случившееся, валялся старый авиабилет..

Страшно, когда человек остается один на один со своим горем. Дина Исаевна тоже одна. Родных давно нет, друзьям боялась показаться: неумоготу было сейчас тревожить рану.

Федор звал на переговоры. Не пошла. О чем они могли теперь разговаривать? Да еще по телефону!

Однажды, под вечер коротко тренькнул звонок. За порогом стоял улыбчивый, высокий, худощавый незнакомец. Рыжая голова непокрыта, куртка с множеством молний, к ноге притулился пузатый рюкзак.

— Рогов,— представился он.— В командировку приехал. Должен перед вами извиниться. Привет вам со мной посылали да я его... кажется... потерял.— И виновато опустил взгляд, а чуть позже, заметив, что он наблюдает за ней с какой-то опаской, Дина Исаевна подумала:

«Кажется, боится расспросов: и правды не скажешь, и лгать тошно. Оттого, наверно, так долго и не появлялся...»— и чтобы проверить свою догадку, она пооткровенничала:

— Я недавно была у Федора и все знаю...

Он облегченно вздохнул, но тут же смутился своего не очень тактичного поведения.

— Да вы не расстраивайтесь! Худа без добра не бывает!— и оттого, что последнее сказал ни к чему, еще больше покраснел. Уж очень бесхитроsten был этот курносый, голубоглазый Рогов...

Он, как привязанный, ходил за Диной Исаевной то в кухню, то в комнату и аппетитно хрустел огурцами, горкой набросав их на стол из бесчисленных карманов.

— Ох и люблю огурчики,— оправдывал он свою неумную жадность.— У вас их тут навалом! Отведу душеньку!

«Ребенок с конфетками!»— по-матерински думала о нем Дина Исаевна. Рогов был лет на десять моложе и между ними сразу установились теплые, без всяких заигрываний, отношения. Он, похотывая, пытаясь отвлечь ее от невеселых мыслей, непринужденно рассказывал о невероятных случайностях, будто уже пережитых им в тундре. Начистил картошки. Помог накрыть стол.

— Дина Исаевна, ведь если я уйду в гостиницу, вы опять будете реветь?— бесцеремонно спросил он.

Она хотела обидеться на это «опять» (какой провидец!), но вместо этого, вздохнув, грустно ответила:

— Может быть!

— Я тогда буду пока у вас жить. Можно?

И она обрадовалась возможности побыть какое-то время с этим искренним человеком.

...Дни командировки летели быстро, и Рогов должен был скоро уезжать.

— Как же я вас оставлю-то?— жалея женщину, задумался он.

— Алеша, голубчик, возьмите меня с собой,— вдруг попросила она.

— Вы это серьезно?— растерялся он.

— Вполне.

— А вы знаете, что там бывает мороз под пятьдесят? Что солнце только два месяца из двенадцати бывает настоящим? И день там не такой. И ночь не такая. Там земля,— зазевайся только!— проглотит

вертолет. Да и пища там почти из одних консервов. Да и что вы там, наконец, делать будете?..

Дина Исаевна видно все уже продумала.

— Постройте парники. Буду выращивать вам огурцы... а может, цветы...

— Идея!— обрадовался Рогов.— Так я пошел вести переговоры с начальством?

— С богом!

В МИ-6 разговаривать трудно. Яростно ревут моторы, сотрясая железное нутро этого «летающего ангара». И кажется, что они злятся на непривычную легкость ноши. На этот бронебойный пол загнать бы тракторы, к лебедке, что с готовностью засматривает в открытый люк, навесить серьгу с ажурной конструкцией или еще что-нибудь значительное по весу и размеру. Но сейчас в просторе вертолетного салона — лишь пассажиры.

Сверху, через открытый в полу люк, земной путь кажется красивым ковром, а на самом деле гиблые места. Болота. Бездорожье. Безлюдье. Комарье...

У Дины Исаевны на ладони кустик ягеля. От холода растение так засушило себя, что за целый год только и способно подрасти всего на пять миллиметров...

Что ее ждет на этой холодной земле. В ее ли возрасте начинать все сначала?..

От невеселых мыслей стало зябко. Рогов, заметив на ее лице печаль, широко улыбнулся, подмигнул, дескать, не вешайте носа, все будет хорошо!

И Дина Исаевна устыдилась своих вероломных мыслей: «Наверно, на все смотрю не теми глазами. Ну-ка, снова...».

Ну, где еще увидишь землю, расстилающуюся внизу ковром бесподобного рисунка и несравненных красок? Вот откуда бы надо брать узоры и расцветки ткачихам! Хотя совершенство копий немислимо. Даже талантливейший художник, наверное, не сумеет передать переплетение этих линий и тонких переливов из одного цвета в другой.

Дина Исаевна подкидывает олений мох и снова ловит. Кустик не умещается на ладони, но веса его не чувствуется. Она сорвала его на одной из остановок, пока из вертолета выгружали какие-то ящики. Ей сказали, что там начат город. А ведь красивое место выбрали. Озеро, сосны. Пока там несколько балочков, пирамида кирпичей да железобетонных плит. И, как белая пороша, олений мох. Она вертит перед глазами седой кустик и удивляется... Где предел твоим капризам, природа? Не иначе, как в гневе ты скомкала свое рукоделие—кружева из тонкой проволоки и бросила под ноги. В

тот миг, видно, забыла, что любое, коснувшись земли, наполнится жизнью и даст жизнь другим...

Внизу, среди бездорожья—лестницей в небо—буровая вышка. Проплыл поселок строителей. А вот на трубопроводе, как узел на нитке, одинокое, солидное сооружение—газосборный пункт...

По одну сторону Дины Исаевны—неунывающий Рогов. По другую—молодой бородач. Люди-то все какие здесь сильные. Какое же с ними может быть безлюдье?

Металлических скамеек, жмущихся к холодным стенкам вертолета, немного, но и они не полностью заняты. Большинство устроились по желанию: на каких-то узлах, мотках троса. А вот плечо к плечу посередке стоят «витязи четами». Среди них ни одного праздного одетого. Вероятно, какая-то бригада летит на смену. В вертолете можно не бояться назойливых собеседников: голос тонет в гуле мотора, долго орать на ухо соседу—охрипнешь. Тут каждый—только с собой... А лица вокруг строги и даже суровы, значит, и думы не легковесны. И только молодая женщина все время улыбается кому-то, кто виден ее светлому, отрешенному взгляду. Это для него надела она новое синее пальто и цветастый, с кистями, платок и голубые резиновые сапожки. В шумном, пропахшем керосином вертолете она, похоже, чувствует себя так же, как если бы ехала в легком, бесшумном такси.

Нарядная и красивая женщина летела, конечно же, на свиданье в тридцатое царство, до которого по земле добраться невозможно...

Дина Исаевна впервые за много дней улыбнулась легко. К ней вдруг пришла уверенность, что действительно будет все хорошо, потому что начинать нужное дело всегда интересно и никогда для увлекшегося человека не поздно!

**АНДРЕЙ ТАРХАНОВ**

## **БУБЕН**

На сосне прибрежной Самотлора  
Он висел, как яркая звезда.  
Тайные вела с ним разговоры  
Мутная зеленая вода.  
И когда сюда сквозь топь и перех \*  
Люди синеглазые пришли,  
В бубен громыхнул суровый берег,  
Зарычали черные валы.  
Стой, мгновенье! Этот полдень хмурый  
Навсегда в историю войдет,  
В плен берет легенда турбобуры,  
Нефтевышка первая встает.  
Быют фонтаны на лесном раздолье  
Гонит тьму сиянье буровых,  
И шаманский бубен поневоле  
Почернел от капель нефтяных.  
Перед днем сегодняшним подсуден,  
Грех его далекий не забыт,  
Был однажды в непогоду бубен  
С дерева волной девятой сбит.  
Он на дне хранится, как в шкатулке,  
Не придет к нему вовек рассвет.  
Самотлор — мой бубен самый гулкий,  
Черный бубен славы и легенд.

---

\* Перех — так кондинские манси называют густой сосняк.

## КУПОЛА ТОБОЛЬСКА

Остапу Шрубю, художнику

Купола.

Как тот звонарь безвестный,  
Я пред ними замер не дыша.  
В них истории гнезятся вести,  
В них мятежных россиян душа.  
В них мечта неукротимой силы  
И отвага дерзкая сынов.  
Соловьи Алябьева в Россию  
Улетают в мир из куполов.  
И гремят по облакам копыта  
Горбунка, волшебного конька.  
По дороге, грозами омытой,  
Он летит на зов тоболяка.  
И пророчат нам победный поиск  
Декабристов смелые дела.  
Голубые купола Тобольска  
Мать-Россия в небо подняла.



ЕВГЕНИЙ ХАРЛАНОВ

## МЕСЯЦ СВАДЕБ

Вокзалы засыпаны снегом  
декабрьским,  
таким первозданным,  
роскошным,  
дикарским!  
И смех в деревнях,  
и таинственный шорох,  
хрустящая ткань подвенечных  
уборов.  
И там, за дворами,  
у белых крылец,  
серебряным горлом поет бубенец.  
Но катится поезд,  
в метелях уставший,  
увозит меня понемногу все дальше.  
И свадебный наш  
колокольчик литой  
все глуше звучит  
за незримой чертой.  
Средь лет и порош,  
вдохновенных и праздных,  
теперь наша тройка в сугробах увязла.  
И кони, ступая с опаскою  
в мглу,  
тихонько седеют в белесом снегу...  
Но все на твоей подвенечной одежде  
алмазы России сияют, как прежде.  
И ты, зачарованный рошей в окне,  
опять выбегаешь навстречу ко мне!

## У ОКНА

Свищет вьюга возле друга,  
Возле ворога—пурга...  
С тихой искоркой испуга  
Ты мне больше дорога.

Водопадом стынет платье,  
В полумраке стынешь ты—  
Изваянием объятая  
Снежных рыцарей мечты.

Ах, оставь их круг безгласный  
Не спускайся к ним одна.  
Ты не знаешь, как опасно  
Заглядеться в лед окна.

Ты не знаешь, к звездам близясь,  
В сумеречном хрустале,  
Как хрупка любая близость  
Душ, рожденных на земле.

Чей призыв ты вьюжный ловишь,  
Погасив свое тепло?  
И сама лучи обломишь,  
Как снежинка о стекло.

\* \* \*

Сквозь дремоту услышу,  
Как под теплым дождем  
Груша в гулкую крышу  
Сладким бьет кулаком,

Как под простыню старой,  
Наигравшись в войну,  
Сын считает удары  
И глотает слюну...

Дремлют дикие птицы,  
Сом закутался в плес...  
Не спеши отбомбиться,  
Золотой плодонос!

## ОСЕНЬ

Все как было, все как прежде —  
неожидан и нелеп,  
бродит в чаще поредевшей  
золотой бесшумный лев.

Листья ржавью дождик крапит.  
Лев, не ведая судьбы,  
наземь валит мягкой лапой  
ночью красные грибы.

Чутко слушает бренчанье —  
паутины наверху,  
или перстнем обручальным  
покатается во мху.

Бурый папоротник сломан  
и сожжен его зевком.  
Не спешит к своим знакомым,  
Не нуждается ни в ком...

Но придет охотник хмурый,  
ледяной стрелой блеснет,  
золотую свалит шкуру  
на чугуны земли, на лед.

Изумрудно брызнет озимь,  
и тогда увидят все:  
Это осень! Это осень!  
Вот она во всей красе.

г. **Тобольск.**

**ВЛАДИМИР ДАГУРОВ**

## **СОБАКИ БРОДЯТ В САЛЕХАРДЕ**

Общительным собачьим душам  
Мир тесен в собственном дворе,  
и их ошейником не душат  
и не цепляют к конуре.

Где трудно людям, там от века  
они — за совесть, не за страх.  
И титул друга человека  
горит в их преданных глазах.

Хвостами радостно виляя,  
собаки всюду, как свои,  
И я от них не слышал лая  
И полон к ним за то любви.

И было в этом факте что-то  
от пониманья умных псов:  
Здесь люди заняты работой  
и нет злодеев и воров.

## **ЛЕТО В ТУНДРЕ**

Я тундру видел с птичьего полета.  
На тундру только с неба и смотреть:  
увидишь изумрудные болота  
и ягель, пламенеющий, как медь.

Оттаявшие плоские озера,  
И меж озер оленьих троп пунктир,  
и тишина — попутчица простора —  
на мысль наводит, что бескраен мир.

А небеса дыханье океана  
заполняет той голубизной,  
когда светает из-за окоема  
и воздух пахнет раннею весной.

Я с птичьего полета видел тундру,  
и благодати этой не избыть,  
и не влюбиться в Заполярье трудно,  
И невозможно этот край забыть.



Судьба судьбой.  
Но человек  
    по мне,—  
он сам себя в конечном счете лепит.  
Ему,  
    по мне,  
        ззорно жить, зудя.  
Не с крыши начинают строить здание.  
Уж эти надоевшие страданья  
Замешкавшихся в поисках себя!  
У счастья слишком много едоков —  
Не очень разживешься на готовом.  
Давно  
    Жар-птиц  
        закончился  
            отлов.  
Давным-давно  
    пособраны  
        подковы.  
С чего сыр-бор?!  
А, впрочем, ерунда.  
У вас глаза —  
    как восемьдесят восемь...  
Но все-таки,  
    когда приходит осень,  
Должны же быть слышнее поезда.  
По-из-за окоема  
    окаянно  
Должны же дуть ночные холода...  
Как пристани, оставив города,  
Река уносит воды к океану.  
И отвлекало —  
    да не отвлекло.  
Не потерялся след ее в урманах.  
И для меня сейчас  
    ее туманов  
Целебнее парного  
    молока.  
Я умереть заставил бы слова,  
Чтоб хоть однажды  
    неким из бывалых  
загоризонтных далей  
    синева  
В глаза светло и молодо упала.

Простите, но у вас не взгляд,  
а вздох.

И вы не понимаете напрасно  
Ни слов моих,  
Ни рек,  
Ни поездов.

## КОНЦЕРТ

Как просто потеряться,  
Просто  
Как у щенка,  
скулящего на прясло.  
сгинуть.

Я ухожу.  
И ты поешь мне в спину.  
Ни сцены нет.  
Ни стен.  
Ни потолков.  
А зал,—  
он не поймет.  
Он бестолков.  
Его твое уменье с толку сбило.  
Уйти.  
Сбежать.  
Уехать.

Но таксист  
Сидит, как богдыхан под балдахином.  
А ты, портьеру локтем отодвинув,  
Уже на бис  
Идешь из-за кулис.  
Но славен лес не птицей пустельгой.  
чуть намекни,—  
взрываешься с обидой.

Не повтори других.  
Себя не выдай  
Ни голосом,  
Ни жестом,  
Ни строкой.  
Молчи,  
не называя остряком.  
Тебе привычно быть  
и знаменитым,



И к своему разбитому корыту  
Привычно возвращаться  
стариком.

Затолканные,  
мелкотные  
дни.

Ты —  
никого,  
тебя —  
никто,  
не бойся!

Вплывает  
торжествующе  
авоська

В твои покои —  
и не прогони.

И мыслью  
оглушительною

пронят,  
Ты сам на всем готов поставить крест.

В конце концов

На улицах  
оркестр

Слышней,  
Когда кого-нибудь хоронят.

## ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ

Ганцует девочка со мной —  
Нейлоновое  
облачко.

Издалеку с  
ее весной

Моя  
бежит по тропочке.

И жизнь потечь готова вспять,

Ах, чтоб опять  
над росами

Рассвету  
медленно  
вставать

И разгораться  
розово.

И чтоб коню звенеть уздой.  
И чтобы,  
    неуслышанной,  
Любви  
    девчонкою  
    босой  
За мной из дома выбежать.  
И чтоб леса  
    по сторонам  
Ее весной  
    аукали.  
Как будто бы не ресторан,  
А то село  
    Безруково.  
Не жаль стихов,—  
    да боже мой!—  
Накопленных  
    по строчечке.  
Танцует девочка со мной—  
Нейлоновое облачко.  
А станут ставни закрывать—  
И вот тебе  
    одна еще!—  
Она уйдет со мною спать,  
Невинна  
    и всезнающа.  
    Ей-ей, детей ей не рожать.  
Где притулись—  
    притулишься.  
Ей только б так успеть сбежать,  
чтоб  
    никого  
    на улицах.  
А жизнь привычна за спиной  
Вести рассказы устные...  
Танцует девочка со мной.  
Пока жена в отсутствии.

г. Тюмень

## ПЕСНЯ

Эта давняя-давняя песня про Север  
В нашей жизни когда-нибудь разве была?

Не на рифы,  
на мели  
мы, кажется, сели.  
Декорации убраны.  
Сцена гола.  
День неведомо где отгорит,  
не взойдя.  
По всему —  
помереть нам придется в постели.  
Но какой-то забытой частицей себя  
Мы все едем на Север,  
Все едем на Север.

### ПЕСНЯ

Испыток —  
не убыток.  
Выходим в океан.  
Напитками  
напитан  
Товарищ капитан.  
Мужик что надо.  
Лоций  
И в руки не берет.  
И сам  
перевернется.  
И нас  
перевернет.  
Его характер шалый  
Немногим по нутру.  
Дойдут дела,  
пожалуй,  
До бунта на борту.  
Дойдут —  
и очень просто:  
Волнуется народ.  
Какого  
пароходства  
Веселый  
теплоход?!  
За чемоданы —  
эти,  
За валерьянку —  
те.  
На необычной  
Третьи  
Какой-то  
высоте.  
Мы вышли в понедельник.

И вот до четверга  
Нам море по колено  
И жизнь не дорога.  
За кои это веки  
Увидеть  
                        суждено,  
Когда  
                        у человека  
Лицо обнажено...

И во весь-то свой рост поднимается  
  возраст.  
Мы стоим перед ним, словно дети в  
  трико.  
Человек над рекой,  
  объявляется розыск  
Расхитителей дней,  
  человек над рекой.  
Вы простите мне тот разговор  
  бестолковый.  
Я хотел вам сказать,  
  что не падайте ниц.  
Нам-то что,  
  если пособирали  
  подковы,  
Нам-то что,  
  если переловили  
  жар-птиц?!

\* \* \*

Река течет на Север,  
  далеко.  
И попусту ее не окликайте.  
Поверженными кедрами  
  на карте  
Через Сибирь  
Так много их  
  легло.  
Им дела нет до наших бурь в стакане.  
И кедрам, значит, стоило упасть.  
Но только и над нами эта власть  
Ветров и льдов,  
Ветров и океанов.  
Гремят-грохочут,  
  пробуя и зля,

чтоб вопрошать —  
                                откуда ты и кто ты?  
В нас испокон гудмя гудят  
                                работы  
На полных оборотах  
                                дизеля.  
Чтоб выгореть до капли—  
                                и каюк.  
Мы все уходим к вечному ночлегу.  
Судьба судьбой.  
Но только  
                                человеку  
Не знать судьбы,  
                                отбившейся от рук...  
Река течет на Север,  
                                далеко.  
Дымком и дымкой даль обволокло.  
В прохладном свете,  
В поднятости синей  
Еще огромней мир,  
Еще вместимей  
От высоко стоящих облаков.

г. Тюмень

ВЛАДИМИР НАЗИН

## ПАРТИЙНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Мне за уголь, а не за слова,  
залы повергавшие в овации,  
бригадир —  
    седая голова —  
в партию давал рекомендацию.

Кряжистый,  
    как будто из пород,  
словно бы для шахты и устроен,  
говорил он, отирая пот:  
«У бригады мнение: достоен».

В памяти доверие годков,  
как звезда  
    на донышке колодца:  
грохот их отбойных молотков  
не в моем ли сердце отдается.

А тогда я слов не находил,  
чтоб до сердцевины золотые,  
и глядел безмолвно бригадир,  
словно бы  
    мы встретились  
        впервые.

Знал ли он, что думаю о нем:  
коммунисте, войне, шахтере —  
о судьбе,  
    отмеченной  
        огнем,  
и гранитом в каменном заторе.

По плечу работа, —  
но пока  
со следами выброса и стали  
руки на отбойных молотках  
накануне смены отдыхали.

Где тот пласт,  
который бы не смог  
он рассечь под лаву на уступы!  
«А стихи...

Стихи пиши, сынок», —  
и закрыл собрание партгруппы.

Вновь бригада  
двигала забой —  
вековые недра сокрушала:  
шел я по единственной прямой,  
словно по оси земного шара.

Мне за уголь, а не за слова,  
залы подвергавшие в овации  
бригадир —  
седая голова —  
в партию давал рекомендацию.

## ПРЕДОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА

Да будет вечной благодать  
морщин на лбу  
и зерен пота,  
дает которая познать  
предощущение полета.

В ладонях теплый чернозем.  
Душа распахнута к рассвету.  
За то,  
что долго всходы ждем,  
на долю пахаря не сетуй.

Она завидно высока,  
когда,  
как прежде животворна,  
трепещет жилка у виска —  
сплетенье молнии и корня.

Трепещет жилка у виска...  
Но в мире не было и нету  
отдохновения рукам,  
переосмыслившим планету.

Взлетая в осень,  
                                журавли  
у неба спросят непременно:  
какие реки протекли  
по этим узловатым венам?..

Твоя придет еще страда,  
ее восславит колос павший  
и ропот нив,  
                                но и тогда  
не предавай забвенью пашню.

Сотри горячий пот с чела,  
взгляни на землю,  
                                как на друга.  
и ты подобие крыла  
признаешь в очертаньи плуга.

г. Свердловск



**АЛЕКСАНДР ГРИШИН**

**«ВО ВРЕМЕНИ МОЕМ—ТВОЕМ»**

\* \* \*

Несовместимость тканей.. Это  
твердит газета без конца.  
Мир ждет — но нет, но нет ответа.  
Не приживляются сердца.

А рядом — яблони и вишни  
из одного растут ствола.  
Так что? Мы из природы вышли  
или она вперед ушла?

\* \* \*

Звонили... ехали... летели..  
Мелькали горы, страны, лес..  
Нет расстояний. В самом деле.  
Исчез простор.  
Простор исчез!

Нет расставаний, нет кордонов.  
В любом тревожном далеке  
Мне нужно трубку телефона  
прижать к пылающей щеке,

гудки услышать — и очнуться,  
и оказаться вдруг вдвоем,  
одновременно улыбнуться  
во времени моем-твоем...



На сливе  
вызревает слово  
«слива»...

И если все окончится счастливо:  
и ранние не грянут холода,  
и суховеи не вонзятся в лето,  
и будет вдоволь воздуха и света,  
и будут в почве пища и вода,  
и если, гербицидами пыля,  
обминут самолеты листьев песни,  
и если не слетит с оси Земля,  
и если...

г. Тюмень.

БОРИС ГАЛЯЗИМОВ

## СУЗГЕ

Жизни бег стремительнее почета крылатого коня Тулпара. Не все, что осталось позади, заволокло пелюю времени. Но и не все, что видится, надо принимать за истину. Расстояния порой воздвигают несуществующие замки и даже города. Скольких людей ввели они в заблуждение...

И все-таки...

Совсем недавно (еще в 1968 году) в десяти километрах от Тобольска, почти у самого берега Ермаковой реки — Иртыша, возвышалась сопка. Крутые склоны, стремительно уносящиеся к вершине. Остроконечные и прямые, как стрелы, пихты стояли тесно одна к другой.

Когда небо белело от жары, под кронами деревьев было свежо и прохладно. В воздухе плавала липкая паутина. В высокой шелковистой траве стрекотала, копошилась мелкая живность. И с раннего утра до позднего вечера не смолкал здесь гомон птиц.

Зимой сопку обкладывало снегом. Когда на нее с раздольного Иртыша устраивали набеги ветры, пихты тревожно шумели. Звонко и протяжно пели мерзлые стволы. Все живое куда-то пряталось.

Вроде бы сопка как сопка. И в то же время казалось странным, что она поднялась среди ровного места. Походило на то, что однажды пришли сюда люди и для какой-то надобности насыпали этот огромный холм земли.

Бог весть в какие годы родилось предание, что на этом холме находилось жилище жены сибирского хана Кучума, черноокой красавицы Сузге. Потому, дескать, и сопку стали именовать Сузгунской. Но так ли было на самом деле? Может быть, все это лишь обыкновенная легенда, которых немало живет на берегах древнего Иртыша.

### КТО ОНА БЫЛА?

Действительно, кто же? И сохранились ли упоминания о ханской царице в каких-нибудь источниках?

Русские летописцы утверждают, что государство «сибирского салтана» пало еще и потому, что был он большим прелюбодеем. Как тут не скажешь, коль имел «салтан», по свидетельству Кунгурской летописи, сто жен и наложниц. Вот поэтому-то, мол, бог-всевидец и покарал хозяина Сибирского Юрта, низвергнув его из царства роскоши в царство страшной

нищеты. А потом довел слепого хана до могилы, о местонахождении которой и по сей день строят догадки.

Летописцы вряд ли ошибаются, утверждая, что у Кучума было великое множество жен. «Книга мудрых» — коран в данном случае не становится на пути мусульманина. Пророк Аллаха Магомет даже в раю обещал правоверным «гурий или прекрасных чернооких дев». Тот, кто повелевал огромным числом жен и наложниц, по татарскому обычаю, считался наиболее почитаемым. Впрочем, и раскопки, проводимые на крошечной территории кучумовской столицы Искера (Кашлыка), где жили лишь избранные, тоже говорят о многом. Здесь были найдены нашейные украшения, серьги, перстни, иглы — все то, чем могли пользоваться только женщины. А различные источники, к тому же, сообщают, что среди жен хана были горячие и дикие, как степные козы, дочери ногайских князей, низкорослые и пугливые хантыйки, румянощечки и быстроглазые казашки. Одни из них Кучуму нравились, и он засылал к ним ловкие сватов. Вслед за сватами к белоснежным шатрам красавиц гнали табуны лошадей, отары тонкорунных овец и караваны верблюдов. Других жен хану пытались просто-напросто подарить, чтобы хоть как-то породниться с «великими из великих». Правда, это даже не всегда удавалось.

Сохранилось предание, что хитрый и коварный, как лис, мурза Карача был ослеплен лютой ненавистью к своему всемогущему покровителю. Виной тому являлась его хрупкая дочь Сайхан-Доланге. Поначалу Карача мечтал выдать ее за Маметкула, брата Кучума. Но она вдруг понравилась самому хану. Вроде бы радоваться надо, да нечему. Сайхан-Доланге стала всего лишь наложницей хана. Какое страшное оскорбление для именитого мусульманина!

Может показаться странным, но Кучум иногда брал себе в жены даже девиц из далеко не знатного рода. Г. Ф. Миллер в «Истории Сибири» сообщает, что сына Алея хану подарила простая женщина. Только поэтому ордынцы впоследствии не хотели признавать молодого царевича своим повелителем. Предпочтение они отдавали второму сыну Кучума — Канаю, мать которого происходила из княжеского бухарского рода. Из-за этого, мол, братья долгое время и враждовали между собой.

В богатую столицу Сибирского Юрта жен и наложниц для Кучума его лихие воины пригоняли после дерзких и опустошительных набегов на земли «неверных». Один из них, как известно, был совершен молодым царевичем Маметкулом к берегам Камы.

Дрожала земля под крепкими копытами выносливых скакунов. Горели городки и веси.

Из «славного» похода Маметкул возвратился в Кацлык с толпой голубоглазых, как небо над Камой, и русоколых русских красавиц. Не в пример другим пленницам, вели они себя надменно и дерзко и не мирись со своей горькой участью.

Здесь следует отметить, что и жены сыновей Кучума были самых разных национальностей. В частности, царевич Ишим был женат на дочери калмыцкого тайши Урлюка. Разноязыким был и гарем сына Ишима, царевича Аблая, который брал с покоренных народов в качестве ясак только девочек.

Сузге, судя по ее имени, а главное, по чертам лица, в ярких красках описанных летописцами, была не из русских. Но кто же она тогда? Может быть, татарка? Ведь «сюз» по-татарски звучит, как «слова». Может быть, все же Словоохотливая? Татарки и по сей день носят имена, которые переводятся.

Правда, в ряде источников имя жены Кучума звучит по-разному. У Г. Ф. Миллера она Сузге, у писателя и историка Л. Н. Мартынова — Сузке, а у другого писателя В. А. Сафонова — Тузге.

Нетрудно и запутаться.

Но оставим споры о имени жены Кучума и обратимся к Кунгурской летописи. Она подтверждает, что одна из жен Кучума являлась татаркой. Летопись сообщает: «во второе лето» своего царствования посетил Кучум стольный город Казань. Привез он оттуда «на Сибирку» немало «чюваш и абыз и рускаго полону людей». Прибыла в Искер вместе с ханом в золоченом паланкине и дочь казанского царя Мурата. Хан ее «взял в жену». Кто знает, может, это и была Сузге. Говорится же в летописи, что хан, возвратившись из дальнего путешествия, стал пребывать в своей столице «славно». Возможно, это славное пребывание скрашивалось еще и присутствием любимой жены. Гласят же татарские предания, что Кучум ни одну из жен не любил так горячо, как Сузге.

Но в других, правда, более поздних, источниках утверждается совсем иное. В одном из них находим, что стройный и пылкий царевич Маметкул, близкий родственник хана, был братом Сузге. И есть другое сообщение. Утверждает оно, что молодой царевич любил Сузге, как свою сестру. Иногда он даже появлялся в городке царицы, но боялся к ней прикоснуться. Хорошо знал о нравах свирепого хана. Любовь старика могла сломать и булат.

Впрочем, ордынцы вообще жестоко карали за измену.

Сохранилось предание, что одна из жен Кучума была однажды увезена любовником. Их настигли в двух верстах от Сибири. Были убиты не только красавица и ее возлюбленный, но и лошадь.

О жене Кучума историки донесли до нас очень много разных криво-толков. В целом ряде источников, например, можно отыскать, что пленительная Сузге, красотой с которой могла сравниться лишь утренняя заря, являлась «дочерью казахского султана». Что ж, и в это нетрудно поверить. От Искера до ковыльных степей — рукой подать. Паслись там Кучумовы отары овец и табуны быстроногих скакунов. В степь хан вместе со своей свитой и верным слугой Таузаком совершал частые увеселительные выезды. Почему бы и на самом деле не мог он повстречать там «казахскую царевну»?

И все-таки твердый ответ на вопрос, кто же была Сузге, никто до сих пор не дал и вряд ли когда-нибудь даст. Не так уж и много сведений оставили нам летописцы о жене последнего царя Сибирского Юрта. Но в том, что она существовала, усомниться трудно. Все-таки дыма без огня не бывает.

### ГОРОДОК «ЛУНЫ-ЦАРИЦЫ»

Во всей этой истории с Сузге есть немало загадок. И одна из них состоит вот в чем.

Большинство жен и наложниц Кучума жили на территории столицы. Только одна из его жен по старости лет была отослана в солнечный город Шарван, где доживала последние годы.

Как это и полагалось, в Искере для жен Кучума был отведен просторный и светлый гарем. Неподалеку от него находились жилища любовниц Маметкула, Кучумова сына Алея и других многочисленных кюроганов — родичей всеильного хана. Да и прочие агаряне (иноземцы) имели жен «беззазорно, елико числом хочут».

Но интересно то, что Кучум семерых (по другим и, надо полагать, более верным источникам — восьмерых) самых «больших» любимых жен своих разместил «во близких местах», то есть за чертой Искера. Каждой из них подарил он по небольшому городку — крепостце. Строения их поднялись там, где сейчас стоит село Абалак, на горе Алафгалы (Алафейской) и в других живописных местах.

Один из таких крошечных городков именовался Бицик-Турой, или в переводе на русский «Женин город». Сейчас это место называют Паниным бугром. Здесь, по общему мнению летописцев, жила дочь музры Давлетима, которую он выдал за Кучума. Как ее звали, сказать трудно. Впрочем, так же, как спорны имена и других жен Кучума.

Зато имя самой молодой и прекрасной супруги хана, вроде бы, не вызывает никаких сомнений. Звали ее Сузге. Дескать, «по той жене и город зовом Сузга».

С какой же целью Кучуму надо было строить по городку для каждой из своих жен? Кто знает, может, хан считал, что это единственный подарок, которого они достойны. А может, хотел придать местности, раскинувшейся вокруг столицы, более привлекательный вид. К тому же хан стремился любой ценой укрепить свое могущество, а городки, являвшиеся еще и крепостями, могли в любую минуту оказать ему добрую услугу.

Вполне возможно, что баснословно дорогие подарки преследовали еще и другую, чисто житейскую цель. В гаремах молодые любовницы властелинов угасали так же быстро, как распустившиеся розы. Секрета в том нет. Они всегда подвергались нападкам со стороны старых жен. Гласит же пословица: две коровы в доме — айран, две жены в доме — скандал. А у хана в Искере жила дряхлая спутница его жизни Лелипак-Каныш. Уж она-то наверняка давала волю длинным и сухим рукам. Он охладел к ней. Он больше к ней не подходит. И бушевала старая Лелипак-Каныш, и строила разные козни.

Как бы там ни было, но предание гласит, что на мысу, неподалеку от крутого берега Иртыша, вырос вдруг холм. Был он искусственным. Изможденные от голода и устали рабы-ясыри вместе с «черными», улусными людьми, возводили его дни и ночи. Черную, пропахшую потом землю носили они в подолах рубищ и в кожаных мешках. Шли, падали и вновь шли. Над спинами несчастных свистели камчи — крепкие витые плети. Рвала воздух грубая брань. На пути к холму сложили свои кости сотни рабов.

Но холм рос на глазах. Как-никак, а Искер не испытывал недостатка в рабочей силе.

Можно предположить, что подобные холмы возводили и рабыни. В частности, Н. М. Карамзин в одной из глав «Истории государства Российского» сообщает, что «близ Вагайского устья», к югу от Иртыша, «среди низкого луга возвышается холм, насыпанный, по общему преданию, руками девичьими для жилища царского»...

Но все-таки что же представлял из себя городок Сузге-Тура, выросший на «лысой горе»?

К холму, возведенному по воле Кучума, с двух сторон подступал крутой яр. Отсюда вряд ли можно было к нему подобраться. Зато с той стороны, в которой виднелись искерские минареты, увенчанные жестяными полумесяцами, рабы устроили пологий подъем. В одном месте он был перерезан глубоким оврагом, над которым горбатился широкий деревянный мост. Под мостом пел, резвился ручей, скатывающий хрустальные воды в Иртыш.

Вершину сопки окружал высокий и плотный тын. В нем были устроены бойницы. Круглые сутки у мрачных зрачков несли неусыпную службу свирельные ордынцы. Глаз их был зорок, а рука крепка. И горе было тому, кто незванно-негаданно пытался ступить на настил моста.

Летописцы расходятся во мнении, каково же было жилище «луны-царицы». Одни «подарили» ей белоснежный войлочный шатер, во что верится и не верится. В таком жилище лютую зиму провести не так-то просто. Другие «возвели» для Сузге сказочный терем. Был он якобы с резными наличниками, высоким узорным крыльцом и светлыми комната-

ми. Это вполне могло быть. В Искере археологи откопали остатки деревянного строения, которое по тем далеким временам выглядело довольно таки солидно. А стало быть, у хана имелись плотники. И вряд ли им стоило каких-то усилий срубить терем для любимицы своего повелителя.

## СЛАДКИЕ ДНИ

Предание гласит, что седьмая (а, возможно, восьмая) самая любимая жена Кучума все свои дни проводила в неге и увеселениях. Понятное дело, какие у нее были заботы, кроме как следить за собой.

Жила она в окружении огромного числа угодливых ей рабынь. Когда над молодыми пихтами поднималось яркое солнце, они, тихо шелестя по траве шальварами, вводили Сузге к ручью. Там была устроена купальня. Царицу умывали, натирали ее тело благовонным маслом, золотыми гребнями расчесывали пышные волосы и заплетали их в двести тугих косичек-плетенц. Тут все ясно: небо украшают звезды, мужчин — борода, женщин — волосы.

Немало времени уходило и на наряды. В косы Сузге вплетали жемчуг. На тонкой и гибкой шее царицы появлялись украшения со вставками из малахита, сердоликов и топаза. В нежные мочки ее ушей рабыни вставляли серьги, а на хрупкие пальцы одевали перстни, доставленные из самой Бухары. Цена перстней была немалой и не каждый «правоверный» мог порадовать свою жену хотя бы волшебными переливами бирюзы. Дорогими были и серебряные запястья царицы — неповторимое творение рук искерских золотокузнецов.

Сузге по нескольку раз в день меняла свои платья, надушенные мускусом и амброй. То она появлялась на вершине сопки в голубой, как раннее небо, ферганской одежде, а то в белой, как пух лебедя.

Оставшееся время царица проводила то за трапезой, а то, улегшись на горы подушек, слушала веселые и грустные рассказы своих покорных рабынь.

Иногда она брала в руки чангур, и тогда из терема доносились тихие звуки серебряных струн. О чем они пели? Может, о родине, которая осталась так далеко, что до нее и на резвом аргамаче скакать — не в один день доскачешь. А может, грустили о неразделенной любви...

Любила Сузге, особенно в жаркие дни, покататься по Иртышу на специально устроенном для нее судне. Мягко ступая по тропке стройными ногами, одетыми в остроносые туфли-бабуши и укрыв лицо тонкой, как паутина, фатой, спускалась она к берегу реки. Там царицу ждали мускулистые, прикованные к веслам гребцы. Устроившись на мягком атласном сидении под балдахином, Сузге отправлялась в путь. Проплывали мимо нее высокие сказочные берега. А по ним, как угорелые, носились быстрокрылые всадники, боясь упустить царицу из вида.

По вечерам, когда наступало время намаза и в светелке загорались бумажные фонари, к Сузге, подобострастно согнув спину, входил ахун. Опустившись на подушки, он протяжно, с завыванием читал ей коран. На мрачной стене раскачивалась огромная тень старика. Нервно тряслась его жиденькая, козлиная борода.

Но раз в неделю, по пятницам, городок оживал, преображался. В нем ждали «алтына-царя» — хана Кучума. Именно в этот день, по свидетельству летописца, хан к своим женам и «ездиша».

А в это время властитель Сибири, нарядный, одетый в шелковый тюрбан, выплывал в паланкине из ворот своей столицы. Далеко впереди уже бежали скороходы — глашатаи, извещающие о появлении «солнца вселенной». Кучум проезжал мимо ханского кладбища, на котором свя-



тые хранили покой знатных людей Искера. Среди молчаливых деревьев белела плита, уложенная на могиле его первой жены Гулсыфан. Хан сам приказал выбить на этой плите изречение из корана: «Аллах вечен и бессмертен, тогда как все умрет»...

Оглашая округу громкими криками и поднимая за собой серую пыль, неслись скороходы в тяжелых бараньих шапках. Гостеприимно распахивались ворота царичьего городка. Сузге, разодетая в самые дорогие одежды, ждала своего повелителя.

Возможно, легенда права в том, что царица любила наезды этого старика, который, несмотря на свой преклонный возраст, еще имел сердце джигита и мог двадцатью ударами топора повалить толстую лиственницу. Его приезд менял привычное течение жизни в городке, а это уже значило многое. К тому же, хан был к ней добр и ласков. Он никогда не появлялся в городке с пустыми руками, привозил сладкие кушанья, дорогие наряды и украшения.

А потом Кучума угощали, стараясь поразить его искусством приготовления блюд. Давала тут знать еще и коварная ревность. Пусть-ка та, что живет в Бицик-Туре, попробует поспорить с Сузге.

Сидел хан на самаркандских подушках, подогнув под себя ноги, с удовольствием уплетал с деревянных блюд плов и баранину, пил кумыс из голубых золоченых пиал. Летописец сообщает, что уж поест-то Кучум страсть как любил и выразил это просто: «жруще скверно». И еще любил хан пляски своих наложниц. Но ни одна из них в танце не могла сравниться с Сузге — лучшим украшением его трона. Как змеи, вились ее косы, звенело серебро монет. Руки царицы то плыли, как шея лебедя, а то уносились к полу и взлетали к потолку, как крылья резвого сокола. И была она вся светла, словно солнце. Щеки ее пылали жаром. Обжигали старика огромные глаза. Жили черные, точно подведенные сурьмой, брови.

Кучум уезжал из городка, и на сопке вновь воцарялось привычное спокойствие.

## ВЕРИТЬ ЛИ ПРЕДАНИЮ?

Звездочеты в тот год предсказывали мрачное расположение небесных светил. И мрачно было на душе Сузге. В городок с каждым новым днем прилетала одна весть тревожнее другой. К Искеру, сминая заставы ее мужа, шло несметное число «неверных» воителей во главе с загадочным Ермаком. Гонцы, потные, пропахшие кислой овчиной и пылью дорог, сбивчиво рассказывали царице, что «уруссы» двигаются по великому Иртышу-Землерою на судах-стругах. Стрелы-молнии лучников их не косят. Ломаются они о крепкие панцири, как сухая солома. Зато с судов со страшным треском ухают «огненные палки» и косят лучших кучумовых джигитов. Даже храбрый Маметкул, которому нет «равных в сибирской земле», и тот едва унес от них ноги.

Днем тревога рысью крадется за тыном городка. А по ночам Сузге не спится, все кажется ей, что в городок вот-вот ворвутся непрошенные гости. Ахуны постоянно зывают к всевышнему, призывают его жестоко покарать «неверных». Но тот глух. Тот не слышит. За какие прегрешения мстит аллах правоверным? А может, это и есть тот самый конец, который предсказывает «книга мудрых»?..

Когда русские были на расстоянии двух лун от Искера, от Кучума и Сузге на мохнатом низкорослом иноходе прискакал гонец. Он принес страшные слова: «Хан приказал укрепить городок». И у сопки закипела работа. Ее начали спешно готовить к осаде. Торопливо сновали рабы, но-

силы камни и бревна, рыли глубокие валы. Наконец, все затихло, как перед грозой.

Весть о падении Искера страшной болью отозвалась в сердце Сузге. Куда девался Кучум? Неужто попал в руки «урусов»? А Маметкул... Кто лишил его былой силы и храбрости? Почему он не появляется?

Грустные думы терзали Сузге, не давали ей покоя.

Видимо, где-то в это время после трехдневного боя русские взяли Бицик-Туру, а потом ее разрушили. Хозяйка городка, соперница Сузге, оказалась в руках «неверных». Надеться на то, что они оставят в покое Сузге-Туру, не приходилось.

В дальнейшем в легендах и преданиях идет немало противоречивых толкований. Одни сообщают, что Маметкул вместе с небольшой горсткой ордынцев отражал все попытки русских захватить городок. Но потом его в неравной схватке пленили. Об этом, дескать, царевна узнала от татарина, прорвавшегося сквозь цепь окружения и посланного через тын из звящего лука золотую стрелу с горькой запиской. Другие утверждают, что оборону крепостцы держали сами ее защитники, а жена хана Кучума руководила боем и даже пускала из мрачных глазниц тына стрелы, начиненные ядом. Удар ее стрелы был крепким и верным, как у настоящего джигита.

Те же предания гласят, что якобы осада городка царицы длилась три недели. А Сузге, мол, за это время несколько раз побывала у «славного ратора» Ермака, умоляя его сообщить какую-нибудь весть о муже. В это время увидел красавицу атаман Гроза (по другим сведениям, атаман Кольцо) и повсатался. Вот уж во что поверить совсем невозможно.

Летописцы донесли до нас интересный эпизод, происшедший в городке Тебенди. После его взятия Ермаку в качестве дара привели «юную дочь, невесту сына Кучума». Но этот дар Ермак... не принял и отверг, и прочим запретил». Мог ли тот же Гроза позволить себе погнупить вопреки воле своего атамана?

Кстати, в 1883 году в «Петербургских ведомостях» была опубликована статья Виления Журавского. В ней автор утверждал, что, находясь в Сольвычегодске, видел документы, которые удостоверяли брак Ермака с одной из дочерей Строгановых. Так ли это было в действительности, сказать трудно. Но, возможно, любовь к Строгановой и двигала чувствами атамана.

Однако вернемся к дням осады городка. Судя по легенде, казаки долгое время не могли им овладеть. И все-таки силы сторонников Сузге с каждым днем таяли. И вот тогда, чтобы прекратить бесплодное кровопролитие, царевна решает пойти на последний шаг. Она посылает к «урусам» одного из ордынцев. Условие таково: «Если русские отпустят всех защитников крепости на волю, то она отдастся им в руки». Воины Ермака это условие приняли.

Прошла мрачная томительная ночь. На заре царевна повелела облачить себя в самые лучшие наряды, в которых она когда-то встречала Кучума у ворот своей крепости. Верные рабыни, уливаясь слезами, безропотно выполняли желание повелительницы. Сузге поделила между ними все те наряды и украшения, которые недавно принадлежали лишь ей и которыми она несказанно гордилась.

И вот из широко распахнутых ворот городка потянулись толпы воинов и рабынь. Казаки стояли у моста, молча провожая их к берегу Иртыша, где на робких волнах покачивалось судно.

А в это время Сузге находилась на валу. Взгляд ее был устремлен куда-то вдаль, легкий ветер нежно теребил легкую, как дымка, фату.

Когда судно с защитниками крепости скрылось, воины Ермака, гремя доспехами, устремились к воротам. Но, странное дело, Сузге на валу уже

не было. Казаки бросились к терему, обыскали его. Осмотрели строения городка и там не отыскали царицы.

Ее неожиданно увидел атаман. Сузге лежала возле высокого, увенчанного широкой кроной кедра. В руках царицы находился острый нож, а из белой груди бежала тонкая струйка крови. Царица спасла жизнь своим подданным, но сама не захотела отдаться в руки врага.

В тот же день казаки хоронили царевну. Могилу ей устроили на самом берегу Иртыша. От кедра до места захоронения Сузге нес на руках сам атаман. Казаки стояли, сняв с голов тяжелые шлемы, тем самым отдавая последнюю дань гордой и непреклонной хозяйке крошечного городка.

А вскоре русские подожгли крепость. Затрещал, закоробился тын. Взметнулся столб огня над резным теремом Сузге. Как свечи, вспыхнули пихты. Багровое пламя недолго отражалось в водах мрачного Иртыша.

Обо всем этом известно лишь из преданий. Но верны ли они? Ведь никаких документов, подтверждающих гибель Сузге, не сохранилось.

## ЦАРИЦА БЫЛА В МОСКВЕ?

А может, Сузге не погибла? Может, она осталась жива? Известно ведь, что Кучум любил ее до безумия. И мог ли он подвергать опасности жизнь любимой жены?

Чтобы ответить на эти вопросы, наверное, следовало бы проследить, как же сложилась судьба остальных женщин, живших в Искере, и в находившихся неподалеку от него городках. Возможно, где-то промелькнет, появится имя любимой жены царя Сибирского Юрта.

В те дни, когда казаки все ближе подходили к Кашлыку, Кучум спешно рассылал гонцов по улусам и волостям. Подлетали они к юртам на длинногривых лошадях с золочеными стрелами, по которым ордынцы унавали посланцев хана. Гонцы отдавали приказ «солнца Вселенной» — всем его поданным срочно идти к столице на ее защиту от «неверных». А кто ослушается, тех казнить.

И татары, ни минуты не медля, покидали обжитые места. Вместе с собой они забирали жен и детей.

Никогда еще Искер не видел такого скопления женщин. Прямо на узких улочках Кашлыка они готовили баранину, жирную шурпу, пекли лепешки для своих мужей. Некоторые из них носили в кумганах-кувшинах воду, чтобы ее хватило надолго, помогали воинам укреплять валы. Дочь ногайского князя Тин-Ахмета, ставшая женой Кучумова сына Алея, взывала к женщинам, чтобы они в трудную минуту встали в один ряд с мужьями.

Но этого не произошло. Кучум повелел всех женщин отправить подальше от Искера, в безопасные места. Ясное дело: не каждая ордынка смогла бы уйти от опасности даже на самом лихом степняке. Мужчине это сделать проще. Он вспоен и вскормлен в седле.

И вот ту-то мы вновь сталкиваемся с одной из загадок.

В книге амстердамского бургомистра Николая Витсена «Северная и Восточная Татария» сообщается, что Кучум отправил свою жену... Симбулу с детьми на лошадях и верблюдах дальше в глубь страны, в свое увеселительное местечко Набалак... «Кто такая Симбула? О ней, вроде бы, нигде ранее не упоминалось. Может, Витсен перепутал Сузге с Симбулой? Всякое ведь могло случиться. И почему вдруг хан побеспокоился только об одной жене, когда их было у него несколько. К тому же, как сообщает летописец, Кучум имел от них семнадцать сыновей. Неужто и всех царевичей он решил отдать в руки «неверных»?

Тот же Витсен далее рисует такую картину. После своего жестокого

поражения Кучум бежит из Искера не куда-нибудь, а к жене и детям. Дескать, находились они в то время километрах в 20 от ханской столицы.

А потом? Потом, когда русские и дальше начали теснить царя Сибирского Юрта, он со своей женой и детьми умчался во владения своего дяди калмыцкого хана Абдар-Тайши.

Но Витсен здесь явно противоречит истине. Хан покинул Искер вместе со всем многочисленным семейством. Известно, например, что в коротком бою, состоявшемся в 500 километрах к юго-востоку от Тары, в плен к русским попали... восемь жен Кучума. Все восемь. Кроме того, вскоре были схвачены жена царевича Каная, жена и сестра царевича Алея, две жены царевича Азима. Последних русские захватили на берегу реки Ишим, когда воины Кучума находились в пути. Узнав о пленении жен и других родственников, царевичи бросились за русскими в погоню. Настигли они их около озера Кибырлы, где произошла ожесточенная сеча. Длилась она два дня. Но силы были на стороне русских. Так и не удалось кучумовичам отстоять своих жен. Оказались в руках воинов Ермака также дочь и две внучки ногайского князя. Воевода Соевоя тогда доносил царю: «Божьим милосердием и твоим государевым счастьем Кучума... побил, детей его и цариц поймал».

Все захваченные в плен жены хана и его сыновья поначалу были доставлены в Тару. А в январе 1599 года их уже встречали в Москве.

Встреча, как это ни странно, была пышной. Вдоль дорог собирались огромные толпы столичной знати и голытьбы. За кучумовым семейством следовала многочисленная охрана, которой было строго-настрого приказано следить, чтоб гостей никто не избил.

Цариц и царевен разместили в лучших московских хоромах. Ели и пили они все, что душа желает. А потом одних Кучумовых родичей, по их просьбе, отпустили в Бежицкий Верх, других — в Касимов.

Кстати, мать бывшего царевича Маметкула, измотанная в бесконечных скитаниях по степям и потерявшая надежду на счастливую звезду Кучума, сама добровольно пришла в Тару и сдалась на милость победителя. Вскоре была пленена и мать царевича Алея. Ее также отправили в Москву.

Во всей этой истории невольно обращает на себя внимание такой факт. По свидетельству некоторых летописцев, у Кучума было восемь жен. И в Москву привезли восемь. Кто знает, возможно, среди них-то и находилась Сузге.

Здесь нельзя обойти молчанием сообщение Г. Ф. Миллера, который в своей книге «История Сибири» пишет, что царь Борис некоторых жен Кучума и его сына Качнувара впоследствии отправил назад, в родные места. Кто знает, может, Сузге вместе с ними вернулась в привольные ишимские степи.

Нельзя здесь не упомянуть и о легенде, бытующей среди татар. Впрочем, она была опубликована на страницах «Сибирского вестника». Пересказал ее некий старожил Федор Голубев.

Судя по легенде, Кучум последние дни своей жизни провел на берегах реки, впоследствии названной Кучум-Мында. Берет она начало из «высокой горы Абат и впадает в реку Тайдан, а последняя — в Томь». Именно здесь, мол, и скончался великий хан. Похоронили его вместе «с живою девицею». Над могилой татары насыпали курган (шихан). И еще два кургана вскоре выросли рядом. Под ними, дескать, зарыто все имущество Кучума. Предание гласит, что хан был похоронен не с Сузге, а со своей нежной и гибкой, как ветка ивы, наложницей Сайхан-Доланге, которая была дочерью коварного и хитрого Карачи.

Что ж, если это так, то мурза мог быть доволен.

## ТАЙНА ИСЧЕЗНУВШЕГО ХОЛМА

Да, Сузгунская сопка исчезла. Исчезла навсегда в 1968 году буквально за считанные дни. Нет, ее не обрушили воды неумолчного Иртыша. Не повинны здесь и какие-то другие силы стихии. Просто пришли сюда строители железной дороги Тюмень—Сургут и, не зная, что на их пути находится памятник древности, снесли его и на том месте уложили стальные рельсы.

К счастью, еще ранее (в 1948 и 1950 годах) на сопке побывали археологи и оставили нам ряд интересных экспонатов, относящихся к глубокому времени. Сохранились и данные обмеров Сузгана.

Сейчас мы можем судить о высоте сопки. Она достигала 70 метров. Довольно-таки приличная высота.

Первоначальные раскопки велись в том самом логу, который отделял сопку от Иртыша. К удивлению археологов, они долгое время не могли преодолеть культурный слой почвы. Он простирался все дальше и дальше. Наконец, достиг глубины полтора метра.

Данное обстоятельство позволило судить о том, что Сузгунский памятник существовал довольно-таки продолжительный срок. Видимо, никакой легенды, связанной с местопребыванием здесь ханской жены просто-напросто не существовало. Даже окрестности сопки были заселены. Может, вокруг нее жили воины, стерегшие городок круглые сутки? А может, были устроены какие-то жилища для многочисленной прислуги Сузге?

Посреди лога археологи обнаружили место для костра. Ну, какие тут еще могли быть сомнения? Темными беспросветными ночами, когда над головой трудно было отыскать летящую звезду, неусыпные ордынцы жгли костры и чутко ловили звуки, долетавшие с реки. Костры, видимо, горели и в других местах, окружая сопку огненным кольцом и пугая каждого, кто к ней приближался.

Но, странное дело, неподалеку от кострища археологи наткнулись на какие-то земляные возвышения. Кроме того, их взору открылась масса разбросанной керамики. Достаточно сказать, что с площади 120 квадратных метров ученые собрали более 2 тонн керамических осколков. Когда-то это были сосуды. По подсчетам, в логу их находилось 700 штук! Походило на то, что лог использовали для свалки битой посуды.

Что же представляли из себя сосуды?

Одни из них были не очень больших размеров и чем-то напоминали горшочки, другие — под вид мисок с круглым дном, а третьи — в виде глубоких чаш. Некоторые сосуды достигали высоты 30 сантиметров. Впрочем, точно такими же они были и в диаметре. Безвестные миру гончары украсили стенки сосудов оригинальными орнаментами.

Нашли археологи в логу и наконечники стрел, изображение головы лошади из глины, пряслица, точильный брусок и кремневое сверло. Что за странная свалка была у ордынцев на этом месте?

Археологи не разочаровывают. Судя по всему, говорят они, здесь находилось жертвенное место... ханты, прибывших сюда и нарушивших былое древнее поселение еще в X веке до новой эры! Странно, но каких-то доказательств пребывания ордынцев у Сузгуна экспедиции обнаружить... не удалось.

А может быть, стоило поискать эти следы на вершине сопки? Предприняли и такой шаг. И вновь взору ученых предстали все те же россыпи битых сосудов. Правда, в одном месте находились остатки шлака и фрагмент формы для отливки бронзовых изделий. Видимо, когда-то на вершине Сузгуна находилась бронзолитейная мастерская. Может быть, как раз это и есть следы, оставленные здесь татарами? Нет. Они относились к более раннему периоду.

И ничего в этом удивительного нет. Бронзовый топор, хранящийся сейчас в Тобольском музее, относится к IX—VIII в. до н. э.

Но нас в какой-то степени может обнадеежить статья Голодникова, помещенная в 1882 году в «Тобольских губернских ведомостях». Он нам сообщает, что на «лысой горе» близ Сузунских юрт при раскопках были обнаружены черепки «азиатской работы». Кроме того, здесь же ученые наткнулись на шлак, костяной наконечник и на несколько стрел. Но та ли это была «лысая гора», о которой мы ведем речь, сказать трудно. Тем более, что на горе было зарегистрировано несколько курганов. Что-то не похоже на холм луны-царицы, который, судя по преданию, был насыпан руками.

В чем же дело? Неуж-то вся история, связанная с Сузге, всего лишь навсего захватывающая легенда?

На этот вопрос, наверное, так никто уже и не ответит.

## ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ СУЗГЕ

Легенда ли, была ли то была, но однажды она вдохновила известного сказочника тоболяка Петра Ершова. В конце 1937 года он написал поэму «Сузге».

У того царя Кучума  
Две подруги молодые,  
Две пригожие царицы,  
Полногруды, белолицы:  
У одной глаза, как небо,  
У другой глаза, как ночь.

История возникновения этой поэмы небезынтересна. На мысль написать ее Петра Ершова натолкнул историк Сибири П. Словцов, немало времени уделивший описанию окрестностей Тобольска.

Вскоре после обстоятельного разговора со Словцовым Ершов отыскал рукопись татарской легенды, связанной с царицей Сузге. Она-то и легла в основу известной поэмы. К сожалению, татарская рукопись до наших дней не сохранилась и, как считает тобольский художник М. С. Знаменский, полностью за историчность поэмы ручаться просто-напросто не приходится.

Посланная в 1837 году в «Библиотеку для чтения» поэма «Сузге» была «обракована». Мало того, ее «разругали». Но уже в конце 1838 года «Сузге» была опубликована П. А. Плетневым в журнале «Современник». В 1886 году она появляется в «Сибирском сборнике» «Восточного обозрения», в 1916 году — в литературном сборнике «В помощь русским пленным воинам».

Наконец, в 1937 году поэма «Сузге» входит в «Избранные произведения» Петра Ершова, увидевшие свет в Омске. А потом она путешествует из журнала в журнал, из сборника в сборник.

Поэма эта не могла не привлечь внимание друга Ершова художника М. С. Знаменского, у которого вскоре появилась мечта иллюстрировать ее и выпустить отдельным изданием. Художник переписал текст «Сузге», пометил те места, которые должны были сопровождаться рисунками. Он даже создал акварельные иллюстрации, но замыслу его в то же время осуществиться не удалось.

Лишь в 1881 году был издан альбом, посвященный 300-летию присоединения Сибири к России. В него-то и вошло несколько акварелей Знаменского, повествующих о татарской царице.

Один из листов альбома открывает огромная надпись «Сузгун». На

нем изображено ряд сцен. Вот красавица Сузге упрашивает своего повелителя построить для нее городок. Здесь же изображена и гора Сузгун. А вот атаман Гроза стоит возле умирающей царицы. Все эти иллюстрации сопровождаются выдержками из поэмы Ершова.

Интересно заметить, что один из рисунков «Сузге, отдыхающая после купанья», не вошедший в альбом, хранится поныне в Тобольском краеведческом музее.

В 1889 году «Сузге» впервые была поставлена на тобольской сцене. Инсценировку ее подготовили по рисункам М. С. Знаменского. Об этом подробно сообщалось в статье В. Уткова «Последние годы П. Ершова», опубликованной в 1940 году в журнале «Омская область». Сохранились фото с декораций постановки. Они находятся в Тобольском музее и Государственном историческом музее в Москве. Среди них такие, как «Кучум и его жена Сузге во дворце», «Сузге с татарами после купанья», «Смерть Сузге»...».

Интересно то, что жена царя Сибирского Юрта изображена и на одной из карикатур М. С. Знаменского. Хранится она сейчас в Государственном литературном музее. На ней изображен сказочник Петр Ершов. Над ним парят в облаках Иванушка, оседлавший Конька-Горбунка, сибирский казак и уже знакомая нам царица.

Впоследствии поэма «Сузге» была еще раз инсценирована на тобольской сцене. Произошло это в 1904 году. А в 1922 году спектакль был поставлен на татарском языке в деревне Верхне-Филатовой Тобольского уезда. Позднее пьеса «Сузге» шла на сценах Тобольского учительского института и Тобольского окружного театра.

Нельзя здесь умолчать и еще о двух событиях, связанных с поэмой. В 1896 году по ее мотивам тобольским композитором И. Корниловым была написана опера «Сузге». Ее либретто в том же году опубликовали «Тобольские губернские ведомости». И, наконец, по поэме Ершова тобольский учитель Е. Маляревский создал драму.

Так вот жена последнего царя Сибирского Юрта, вопреки восточной мудрости (два раза не рождаются, два раза не умирают), обрела вторую и на этот раз бессмертную жизнь.

ГЕОРГИЙ ПЕРВЫШИН

### КНИГОЛЮБ

Он был любитель книг,  
Да кто о том не слышал!  
На деле их любил, не на словах.  
В постель их брал с собой...  
— Чтоб мысли были выше?  
— Чтоб выше было в головах!

### ХУДОЖНИК И БАГЕТ

— Итак,— сказал Художник полотну,—  
Начну!..  
Изобразю в бескрайней сини море,  
А на его сияющем просторе,  
Вдали —  
На вспененных волнах скитальцы-  
корабли.  
Налево — берег. На скале орлиной  
Устало будет облако дремать...  
Упьемся же свободною картиной,  
Фантазии не станем изменять!  
На горных кручах—встанет дивный  
замок,  
Чтоб горным шпилем мог луну достать!..  
— Прошу,—сказал Багет,— не забывать:  
Прошу не выходить из рамок.

г. Ишим



ИВАН ЕРМАКОВ

## ИЩИ ЖЕНЩИНУ

(РАССКАЗ)

Нет, не подумайте! Молодежь в основном у нас здоровая, бравая, гармонически развитая, деловитая, умственная! Это — в основном. Но, скажу я вам, есть индивидуумки — пешком век ходи, не придумаешь. Пальцем ни на кого не указывая, про свою же родную племянницу, Маньку, рассказ поведу.

Первого января, как известно и ведомо, не рабочий, а праздничный день.

Не рабочий он и у моих лошадей.

У меня же, у конюха, ясное дело — рабочий.

Являюсь пораньше с утра на конюшню. Это что же за хищник, за бес-домовой у меня тут в ночи маскарады устраивал? Две смиренных, степенных, уже пожилых лошади стоят нагишом — без хвостов. По саму куцапку, по репицу то есть, хвосты отчекрыжены. «Молодежная полька» на старости лет...

Ну... промолчал я в тот раз. Мой недогляд. Уходил я с дежурства с супруженцией чокнуться. Как-никак Новый год. Загадывали себе долгую запенсионную жизнь, а потом я уснул.

Промолчал, стало быть.

А «домовой» знай проказничает. За первое полугодие еще у шести лошадей хвосты схищничал.

Несчастной иной кобыленке позор табу на глаза показываться. Жеребята-детишки смеются! Паут безвозмездно ее заедает. Комар тучей льнет. Беда!

Докладываю об этих делах зоотехнику. Тот посмеивается.

— Ищи женщину, — говорит. — У этих мода в прическах опять исказилась... Хвосты поверх интеллекта накладывают. Вот и твои кобыленки, должно, пали жертвами.

— Интеллект... что за зверь такой?— спрашиваю.

— Разум наш богоданный,— себе на макушку указывая, поясняет специалист.— Мышление, природой отпущенное.

— Ума добавляется, что ли, у них от коневьих хвостов?— свой вопрос задаю.

Зоотехник смеется:

— Ступай,— говорит.— Когда дело касается моды, у них и остатний-то ум в самоволку уходит. Сама в вычислительном центре сидит, а ум в обувном магазине. Тарзаншами делаются.

После этого разговора начал я за конюшней следить и следить. Изловлю, думаю, кой-которую... Так отпотчую, откудрявлю кнутинной пониже того интеллекта — шестимесячно будет заглядывать. До свежих веников не позабудет.

Затаюсь, спрячусь в сене, либо в свежей зеленке, а особо хвостатых на этот момент для соблазну и для наглядной провокации к кормушкам нарочно поставлю.

И вот один раз среди светлого божьего дня появляется. Кто бы вы думали? Манька! Племянница моя. Идет и поет: «Про-ходит ка-ва-ле-ри-я-я-я... Кау-у-рые и бу-у-рые...».

Слышу, смущает животную:

— Отрубей подсоленых кулечек тебе принесла. Ешь-ка вот, да смотри не лягни! А про хвост—не горюй! После стрижки еще красивее да гуще появится. Лето лишь, как на пляже, походишь с едва минимальным прикрытием, а после опять отрастет...

Веселая девка, гляди! Пляж сулит на сибирском гнусу!

Заработали ножницы... За соленые отруби, за чечевичную, значит, похлебку лишает мою кобылицу красы.

Я проходам тихонько крадусь. Кнут несую наотмашь. Вся мечта у меня: как ее половчей да с протягом... Дышу несапко, без присвиста. И возьми тут — хрен не перец — кашель внезапный меня подсеки! Она ножницы выронила и, с хвостом в пятерне, ровно ведьма с метлой, сквозь окошечко выпорхнула. Улетучилась. Был человек — нет человека.

Пал я на куцую эту уроду — продажную шкуру — и в опрометь, в три аллюра-креста, в погоню за ней.

Бежит моя Маня, один босоножек в крапиву с ноги полетел, другой в колее, юбчонка на ней — только звание одно... Гусаков дразнить-сомущать. Конский хвост из кулачка на бегу развихряется.

Я на выстрел вослед, как ковбой, на потерпевшей кобыле скачу.

— Стиляга проклятая!—вдоль всего переулка кричу.— Трутенядица! Ловите ее, соотечественники!!! Вяжите ее! Захлестну, засеку, запорю изуитку!..

Куда скромной девушке деться? В это время напротив столовой стоял трубовоз, нагруженный именно трубами. Нефтепровод через

наш район пролегал. День и ночь вдоль него все везли и везли эти трубы.

Я уже на полвыстрела. Уже цело кнутом в ходовую ее часть.

Куда скромной девушке деться? Подтянулась она на руках к жерлу верхней трубы, и вот вижу, как хвост за ней вслед в ту трубу уползает. Был человек — нет человека. Спортсменки же! Гармонически развитые...

Я с налету, в горячке — кнутом по трубе:

— Вылазь, ведьма! В три космоса вас... — изругался присутственно. — При царизме чужих коров урочили, а теперь с аттестатом, со зрелостью, а до лошадей добрались? Вылазь! Все едино — выпорю!

Как бы не так — «вылазь». Что лиса в свою нору ушла. Ну, я джигитую, суматошуся вокруг этих труб, кобылежку без толку резвлю. С вершен мне ее, Маньку-то, на прострел прямо видно в этой трубе, а кнутом — шиш возьми — не добыть. По двенадцати метров в длину эти трубы нарезаны.

На крик мой, угрозы и прочее вопление начал к трубовозу сбегаться народ. Это дивно же: трубы хлещет-полощет кнутиной старик. Молодежь подбегает-бежит, средний возраст, юннаты, пионерия, пенсионеры... Зевак не повесткой созывать — сами явятся.

— Это что же такое творится в действительности? — как на митинге восклицаю с коня. — Половине конского поголовья хвосты сбрили-стибрили! Эти — как их?.. Шаппиньены, шиньены себе **верх интеллекта** накручивают! Они форс, понимаешь, наводят, а животине в тот момент всякий гнус испивает кровь. От паута нету чем отмахнуться! Полюбуйтесь, вот! — развернул лошадь репицей **к массам**, к сбежавшей публике.

— Бедное благородное животное! — заплакал для смеху искусственно парень один.

Я в запале кричу:

— Нет, чтоб, как прочие люди, ежедневным нормальным трудом жизнь вести, в доярки пойти... Не-е-ет! Ведьминским промыслом! И ведь как смело к лошадям идет?

— У меня бабушка в кавалерии служила! — закудахтало это в трубе.

Оставшись с открытым ртом, вспоминаю: правильно. Служила сестра. В Отечественную. Санинструктором у генерала Доватора, кажется. Или у Плиева?... Но это же не дает права коней искажать!

— Парни! Ребята!.. — к присутствующей молодежи теперь, в основном, обращаюсь. — Добудьте мне ее живую-мертвую. Вынимите из трубы!

В трубу лезть охотников не находится. Ихнее же поколение сидит, туда загнано. Солидарность.

— А ежели,— подсказывает мне Сидор Васильевич Куроптев, старейший член местных охотников,— ежели дымом ее попробовать выкурить? Либо жердью... Я, бывало, лисицу-огневу в нору загоню...

— Слышишь, стилияга!— в трубу ей шумлю.— Жердь сейчас принесу! А в жердине железную «кошку» с когтями наорощу. Зацеплю вдоль аппендицита — повзвоешь!

— Ага, дядя!— кричит из трубы.— Скорей скачи, неси жердь и наращивай «кошку». Я тебя подожду.

В толпе хохот. И я же обсмеянный.

К трубовозу явился хозяин. Шофер. Благодушный, веселый — на сытый-то пельменный желудок.

— Что за шум, а драки нет? Почему мир собрался?— на меня, верхового, глядит.

— Стилияга местная,— поясняю ему,— в трубе у тебя политическое убежище облюбовала. Половине совхозных коней хвосты до нуля ликвидировала, а теперь забронировалась. Хотел высекчи, а она проюркнула в железную норушку...

— Ясенько!— прерывает водитель меня.— Мадонна! Прошу вас на выход,— кричит ей в трубу.— Поиграли и хватит.

Теперь в трубе глухо.

— Мне ехать надо,— предупреждает водитель.— Мы не конокрадок и не конских парикмахерш развозим, а трубы. В отличие от ваших занятий, у нас государственный план.

В трубе немо. Могила.

— Вези да женись,— подсказывают пареньку.— Жилплощадь она себе уже обеспечила. Прописалась, по-видимому.

— Ну, учти, раскрасавица. Обижайся тогда на себя,— предупреждает ее со значением водитель.— Жалобы у меня принимаются по выходным, при луне.

Садится в кабину, включает мотор и берет трубовоз на раскачку в толчки. Метр, полметра вперед, и моментом откатка назад. Метр — вперед, метр — назад. Соответственно этому и Маня моя — метр вперед, метр назад — по трубе по инерции хода елозит. Как протирка ружейная ржавчину на себя собирает...

Жалко мне ее поделалось. Своя кровь — не с поля вихрь. Борода у меня затряслась в трубу глядячи. Так неславно за душу скребнуло...

— Вылазь,— кричу,— дурочка! Добра желаю! Ведь он, храпоидол, оскубет тебя с применением техники. Обнимает всюю.

Слышит, не слышит ли? Потому — вся в движении...

— Вылазь, детка,— кричу.— Еще один хвост подарю! Там на

крыше у нас в конюховке усохла шкура висит.— Карьку молоньей-то убило... С нормальным хвостом убило!

А старейший член местных охотников все, знай, советы. дает:

— Только что дымом ее допекешь. Охалку соломы с зеленой крапивой в жерло. На этом конце заподжечь, а с того конца петлю насторожить. Жди — повыметнется. Отнорков-то в трубе нет. Я, бывалыча...

Заглушился мотор, наступила устойчивость и тишина. И появляются из трубы длинные — конца им края нет — ржавые до вертлюгов ноги. Сама тоже... Юбчонка, кофтенка, нос, брови, локтишки, прическа — ну вся, как индейское войско, раскрашенная. А хвост, как приращенный к ней. Мертвой хваткой его в маникюре затиснула. Был игреневого масти, а сделался красно-степной.

— Мадонна.— Шофер шире скул улыбается.

А она на меня:

— Дари, дядя, хвост! Обещал!

Ну, я, если слово сронил, то уж выполняю. Кожу за слово сменяю!

...И вот за два хвоста ставит Маня мне два пузырька. «Беленькой», значит. На закуску у матери малосольный огурчик как раз погодился. С укропом с молоденьким, на чесночном пере, сам в пупырышках. Всолостил я, грешник, полный стакан, похрустел огуречиком, спрашиваю:

— Ну, и куда ты с хвостами намерена?

— А вот продезинфицирую их, на модель накручу,— говорит,— и в Сочи. Там продам их и все лето могу пляж давить, зарорать.

— Погоди, погоди... И сколько же ты за хвосты эти выручишь? Называет сумму.

Подсчитал я и думаю: страна саней, страна телег! До чего ты, Сибирь-матушка, дошла? Хвост — дороже самой лошади! Это надо же — экономикой двигают!

От расстройства — плюс два пузырька — у них, у родных, уснул.

Я с похмелья наутро обычно тяжелый встаю. А тут — что за диковина? Легкость какая-то чувствуется, восприподнятость. Ровно я новобранец опять, призывник.

Взглянул в зеркало... да и к зеркалу, эдак, — впритык... Ой вы, лошади мои, лошади! Ой, отцы мы, отцы и детушки! Бороды-то моей на мне нет! До корней, воперек, отчекржжена. Подлегчила племянница, хоть к военному беги. .

Сижу, плачу пред зеркалом. Ведь какая была борода! Державушка! Во всю грудь — доспех!.. Куда же она ее, думаю, определит? Если сдаст в сибирский народный театр или по агитбригадам разделит, то это еще ничего. А ежели в Сочи? На сочинскую толкучку ужель с хвостами в ассортимент?!

И опять реву.

На столе обнаружил записку на имя свое: «Дядя! Племянничку сечь нерентабельно. За битого — двух небитых дают».

Сам теперь вижу, что нерентабельно.

Нет, молодежь, в основном, у нас дельная, здравая, бравая, принципиальная, гармонически развитая, но случаются же вот... Не в поколение, а из поколения!

Палец в рот таковым не клади-и-и... А бороду на ночь клади в несгораемый шкаф.

«У меня, — говорит, — бабушка в кавалерии служила...» Ишь ты!

ЛЕОНИД ЛАПЦУЙ

## ПОКИНУТЫЙ ЧУМ

Мы ехали. Большой стоял мороз,  
Я весь мохнатым инеем оброс,  
но от напора стужи ледяной  
я защищен каюра был спиной.  
Поскрипывали нарты, снег хрустел,  
Как будто потихоньку что-то пел,  
и я качался, будто на волне,  
и задремать, уснуть хотелось мне,  
такая в тундре тишина, покой!  
И вдруг—обрыв над Пяковской рекой.  
Здесь на холме, где ягель, мой каюр  
решил устроить краткий перекур,  
Метель свистала снегом по реке,  
и тут увидел я невдалеке  
обросший мхом, ушедший в землю чум,  
печать тяжелых, застарелых дум  
на нем лежала много-много лет,  
и был он сгорблен, как столетний дед,  
тот ветхий чум, покинутый давно,  
в нем было сыро, пусто и темно.  
Каюр мне рассказал, что чум-старик,  
как память дней далеких тут стоит,  
когда, гонимый сворой богачей,  
сюда бедняк немало шел ночей,  
покинул он родное племя Пяк—  
в живых остаться мог он только так,  
не то б убит  
он богачами был,  
с большевиками крепко он дружил.  
Ушел от смерти бедный человек,  
вдвоем с женой остался здесь навек.

Здесь, в дикой чаще, где и жить невмочь,  
похоронил он и жену, и дочь  
и сам на зверя стал похож обличьем;  
каким-то странным веяло величьем  
от глаз его, сверкающих огнем,  
Он исхудал, одежда вся на нем,  
давно повисла клочьями, истлела,  
а голова, как ягель поседела,  
студеный ветер завывал над ним,  
и снег все застилал, как белый дым.  
Однажды (тоже много лет назад!)  
шел мимо русских маленький отряд,  
и человек, тут одиноко живший,  
решился бросить этот чум прогнивший—  
проводником и другом он им стал,  
оленем диким к стаду он пристал...  
Мы ехали. Я думал над рассказом.  
Луна светила круглым желтым глазом,  
и я дремал, и все мне лез на ум  
тот одинокий, полусгнивший чум.

Перевел с ненецкого **Виктор Афанасьев.**

## ДРЕВНЯЯ СОПКА

Дорога с холма, будто сгорбленный  
старец,

А после дорога пускается в танец,  
Петляет, кружится она между сопок,  
Раскинула космы тропинок и тропок.  
То вся скосбочится—ливни и грозы,  
То станет прямой, как хорей из березы,  
И с маху воткнется в угрюмые дали.  
Веками по ней наши предки блуждали.  
Пробили дорогу оленье копыта,  
А счастье все было за тучами скрыто.

По той же дороге, по древнему следу  
Сегодня я гордо и весело еду,  
Несут меня нарты по милому краю,  
Я версты, как будто страницы листаю:  
То новых свершений приметы и метки,  
То холм, на котором покоятся предки.  
Могильные сопки вдоль древних обочин,  
И путь мой пожухшей травой оторочен.



Мой путь, он распахнут, как эти ладони.  
А здесь умирали за счастьем в погоне.  
Я взор поднимаю пытливо и робко—  
Вот здесь моих предков священная сопка.  
Вся в жесткой траве, точно в волчьей  
щетине,  
Темнеет площадка на самой вершине,  
Как будто расчистили место для чума,  
И древние идолы смотрят угрюмо,  
Лоснятся их губы от крови оленьей,  
Они управляли судьбой поколений.  
Мой предок был жертвой корысти,  
обмана.  
Он счастье вымаливал у истукана.

Перевела с ненецкого Галина Гампер.

\* \* \*

Давно мне на месте уже не сидится,  
Все из дому рвусь перелетною птицей.  
Кто знает, ведь, может, за выюгой,  
Скрывается песня, не спетая мною.  
Слова в этой песне то нежны, то робки.  
А всюду стоят молчаливые сопки.  
Молчат, будто губы упрямые сжали.  
Уставились молча в белесые дали.  
И ветер к земле прижимает их властно  
К их тайнам я ключ подбираю напрасно.  
В груди моей сердце, как рыба, резвится.  
Хочется сердцу парусом взвиться.  
Чайкой нырнуть бы в воздушные струи,  
Повиснуть над тундрой, смеясь и ликуя.  
Потом с высоты соскользнуть постепенно  
И грудью приникнуть к Оби белопенной.  
Мечты мои, думы летят друг за другом,  
Пока я шагаю по снежным застругам,  
По снежным застругам родного Ямала.  
Заря догорела, костром отпылала.  
И небо, и тундра—все тьмою одето,  
А мне ее ответ мерещится где-то.

Перевела с ненецкого Галина Гампер.

**ГАЛИНА СЛИНКИНА**

\* \* \*

Повстречались,  
И любимый мой  
Пилоткою  
Зной отмахивал,  
Пожалуй,  
Понапрасну.  
Дивно—  
Долями арбуза плыли лодки  
То с морошкой.  
То смородиною красной.  
Мы прощались.  
Мимо бабушка под серую  
Скучной шалью  
Прошептала  
Слышно еле:  
Прокатилось красно летичко  
По Северу,  
Побывало,  
Никому не надоело.

г. Ханты-Мансийск.

РАИСА ЛЫКОСОВА

## ЛЕТНИЙ СНЕГ

Рассказ

В тихий предмайский вечер, спускаясь с Маланьиной горы к дороге, мы завернули в осинник. Грустный, горьковатый настой от мокрых крестов и осин мешался с пресным запахом талого снега. Красное закатное солнце просматривалось неясно. Овраг и голое поле, отделяющие нас от деревни, дымились.

— Дальше не пойду, — Валька остановилась у осевшего по краям глинистого бугра. На кресте, грубо сколоченном из неошкуренных березовых жердей, сидели, нахохлившись, вороны.

— Боишься, — оглядываясь на хмурые заросли ельника, бодро сказала я. — В родительский день баба Настя водила меня сюда.

Валька тупо уставилась на березовый крест. Бледное лицо ее болезненно искривилось.

— Эх, ты... Боишься... — Голос Вальки задрожал от обиды. — Могилу деда Ивана не узнала!

Я ближе подошла к березовому кресту. Вороны, бесшумно махая крыльями, поднялись и сели на соседнюю ограду. Как же я не узнала Ванекин крест? Немой умер в самую водополь, когда ни на саях, ни на телегах до лесу невозможно было проехать. И бабушка с Толей сколотили крест из березовых дров. Теперь мне тоже стало не по себе. Меня будто кто окунул в темнеющую у наших ног снежную воду. Молчала и Валька. Наверное, в эту минуту мы думали об одном, о том, какую трудную зиму только что пережили.

Особенно досталось Вальке. Зимой она много болела, запустила учење, и, хотя ей уже десять, осенью мы вместе пойдем в первый класс. Валька с матерью приехали в нашу Ольховку в прошлом году, когда фашисты захватили их дом. Приехали «з Донбасу», как говорит Валька. Теперь там уже опять наши, и, возможно, Валька с матерью Галиной вернутся в свой дом.

От того ли, что Валька долго болела, то ли кожа у нее такая, но рымца на щеках ее никогда не бывает. А когда она волнуется или злится, лицо ее еще больше бледнеет, так, что сначала я даже пугалась, а потом привыкла.

Мы снова вышли на дорогу. Туман сгустился. Солнце совсем потеряло очертания и было похоже на багровое зарево.

— А смотри-ка, кто там стоит, — показала вперед Валька.

На дороге, там, где начинался спуск в Крутой овраг, стояли человек и лошадь. На фоне красного неба они казались неестественно большими.

— Да ведь это моя мать, — с радостным криком Валька помчалась к матери.

На Галине, как всегда, черная стеганка, серый клетчатый полушалок, грубые мужские сапоги. Запряженная в дрожки худая белая лошадь, низко опустив голову, стояла рядом. Черная грива и белый круп лошади, одежда Галины, дрожки, наши волосы, платки и пальтишки — все было в мельчайшем седом бисере.

— Вот пестики, баба Настя нам сварит похлебку, — размахивая котелком, начала хвастаться Валька. — Ты нас ждала?

Валька примостилась на дрожки, рядом с коробом, наполненным мякиной.

— Слезь, Валя, — хмуро посмотрев на раскисшую дорогу, сказала Галина. — Лошадь и без того не идет. Всякий раз остановится, когда проедем кладбище. Остановится, посмотрит на сверток и заржет.

— Это она деда Ивана забыть не может, — снова побледнев, проговорила Валька. — Баба Настя сказывала, он на ней лет двенадцать работал.

Мы поставили котелки рядом с коробом и начали подталкивать дрожки сзади.

— Ну, Шайхула, будет! — Галина подергала вожжи, помахала ими. — Как еще лог проедем. Вода через мост пошла.

Шайхула по-прежнему стояла понуро, не шевелясь. Потом оглянулась на сверток дороги и заржала.

Обычно летом по дну оврага сочилась ржавая вода. Берега этой лягушачьей протоки зарастали осокой. Сейчас по нему несся поток.

— Ну, Шайхула, отдохнула и будет, — Галина покрутила вожжами. — Так и до ночи не доедем.

Стараясь помочь лошади, мы снова навалились на дрожки. Короткие худые ноги Шайхулы задвигались. Дрожки с трудом съехали с места. Налипшая на колеса грязь отвалилась. В логу туман был еще гуще. И едва мы спустились, со всех сторон нас обступила его пахучая молочная сырость. Лошадь снова встала. На этот раз ее пугала залившая мостик и дорогу вода. Галина подошла к Шайхуле и, взяв под уздцы, потянула ее за собой. Лошадь сделала несколько шагов и остановилась в воде. Вода неслась по сапогам Галины. Шайхула, казалось, напирала на хомут всем своим костлявым телом, но дрожки не двигались. Почти забирая в

сапоги, Галина зашла сбоку и ударила лошадь концами вожжей. Шайхула дернулась, задние ноги ее провалились. Она осела на них, широко разведя передние.

Галина метнулась к лошади, начала было распрягать ее, потом, подхватив нас с Валькой под мышки и, забирая в сапоги, перетащила через поток.

— За народом бегите! — подталкивая в спины, крикнула резким вздрагивающим голосом. — Мост раз-мыло! — подгонял нас, заглушаемый потоком, резкий Галинин крик, пока мы, скользя по раскисшей дороге, из всех сил бежали к деревне.

Холодный туман обволакивал наши разгоряченные лица, затруднял дыхание.

Первыми примчались школьники, потом конюшиха Оня. Шайхула уже лежала, и снежная вода, перекатываясь, начала слизывать желтую пену с острого хребта ее, лишь белая голова лошади с запавшими темными глазами напряженно держалась еще над водой.

Оня взяла вожжи из рук Галины. Ребята окружили Шайхулу и, протянув вожжами под брюхо, начали поднимать.

Почувствовав, что ей помогают встать, Шайхула тихонько заржала, вытянув мокрую шею так, что на ней разом вздулись широкие вены. Мотнула несколько раз головой, и, обессилев, уронила ее.

— Да помогите же ей! — срывающимся от волнения голосом снова крикнула Галина, и, ухватив обеими руками уздечку, начала поднимать голову лошади. Лязгнули железные удила о намертво сжатый оскал зубов. Тело лошади несколько раз судорожно дернулось, и она затихла.

Поняв, что Шайхуле уже никто не поможет, Галина заплакала. Подошли несколько подростков, начали виталкивать из воды дрожки.

— Господи, чего тут щеклея мокнет! — прикрикнула на школьников конюшиха. Ребята разбежались по домам сушиться. Мы с Валькой и Галиной остались в логу одни. Стояли и смотрели, как бурлила снеговая вода, все больше скрывая белую лошадь. Мы ждали Галину. А она не думала торопиться. Привалившись на дрожки, она медленно сматывала вожжи. Галина все делала так, как когда-то учил ее Толя. Зажав конец в ладони и согнув руку, она наматывала их на локоть себе, но в последний момент, когда нужно было накинуть петлю и стянуть связку — у нее все распалось. Сердито кусая губы, Галина забросила несвязанные вожжи в мякину, начала поднимать и укладывать упряжь на дрожки. Валька с силой прижала ладони к бледным и мокрым щекам.

— Ма!.. Ма! — несколько раз позвала она мать.

Но Галина продолжала молча ходить около дрожек и перекладывать упряжь с места на место. И тут мне вдруг стало жутко видеть, как, терзаемые потоком, мечутся на воде, то всплывая, то погружаясь, черная грива и хвост лошади. Гибель Шайхулы была первая увиденная мною смерть, смерть не только от старости, но и от истощения, от голода, который всю зиму мучил людей и животных. Чувство отрешенности и оди-

ночества усиливал и глухо накрывший нас плотный туман. Казалось, мы не на дне оврага, а где-то глубоко-глубоко, в холодном и мокром колоде, из которого кричи не кричи, — ни до кого не докричишься...

Сумерки быстро густели по углам. Смутные тени от качающихся веток ели колыхались на занавесках. Развесив мокрую одежду, мы сидели на печи, отогревали промокшие ноги. А перед глазами все еще стояло только что увиденное. И хотелось плакать. Было жаль и немного Ванеку, который лежал теперь в земле под наспех сколоченным неощукренным крестом, и Шайхулу, и себя, и мать, и бабушку, и Галину, и Толю. Помолчали.

— Еще доживем ли мы до нового урожая, — заговорила Валька, поджимая губы и точно так же часто покачивая головой, как утром в магазине говорили и качали головами старухи. — Умрем и зарастем бурьяном, как поле невспаханное.

Уже всхлипывая, печально и вопрошающе, поглядела она на меня, и из испуганных черных глаз ее покатались крупные горошины слез.

— Зарастем скоро все бурьяном, — тоже заходясь слезами, подхватила я, теперь уже не только от нахлынувшей тоски, но и от того, что с утра хотелось есть.

Громко звякнула щеколка ворот. На крыльце и в сенях застучали чьи-то сапоги.

— Толя! — протянула Валька и начала быстро вытирать зареванные глаза: мой старший брат терпеть не мог наших слез. Толю мы побаивались: в четырнадцать лет он уже пахал и вел себя солидно, как взрослый мужик.

— А чего он не входит?

— Наверное, сапоги начищает в сенях. Афоне Анны Налимовой поёстка пришла.

И точно. Дверь отворилась. Вошел брат, и в комнате резко запахло дегтем.

— Сумерничаете, старушки? — подойдя к печи, внимательно оглядел нас брат.

Видимо, страх и страдание все еще были выражены на наших лицах, потому что Толя обеспокоенно спросил: «Что стряслось?» Мы начали было рассказывать о Шайхуле, но брат перебил:

— Знаю уже. Баба Настя лепешки вам оставляла, подкрепитесь малость до ужина, — и, проверив, хорошо ли просохли лежащие на печи табачные стебли, хмуро добавил:

— Так и не нарубили. С чем завтра Афоню провожать пойдете?

Пока Толя рубил табак, мы слезли с печи. Нашли на шесте в чашке несколько холодных картофельных лепешек и стали их есть.

Пол в горнице был выскоблен до желтизны и устлан цветными половиками. На столе лежала скатерть. На окнах висели вырезанные из бумаги фигурные шторы. И лишь сейчас мы вспомнили о главном, ожиданием чего жили эти дни.

— Ура! Завтра Первое мая! — запрыгала Валька на одной ноге по клеткам половиков.

— Ух ты! — меня тоже залила волна радости. — Чай будем пить с паренками. Они, как конфеты-подушечки.

— Подушечки, — передразнивая, засмеялась Валька. — А ты их едала?

— А то нет! Целую горсть. Когда Шуру в армию провожали. Сына Маркелыча. Это наш бывший председатель колхоза — Маркелыч.

Я подвела Вальку к простенку, где под часами висели фотографии в рамках. Красивый парень снялся в полный рост в длинной шинели, на голове — шлем со звездой. На другой — этот же парень, без головного убора, чубатый, стоял рядом с такими же рослыми парнями. Все в пиджаках и белых рубашках. У каждого к лацкану пиджака прикреплен значок.

— Я знаю, что на значке написано, — похвасталась Валька. — Во-рошиловский стрелок.

— Это Шура, жених мой! И в шинели, и шлеме тоже.

— Же-них! — недоверчиво протянула Валька и рассмеялась. — Что-то много у тебя женихов.

— В шлеме-то Маркелыч, когда молодой был. А Шура на второй карточке, — уточнила, заглянув в горницу, баба Настя. — Валя, беги-ко за матерью, матушка. Бая, скажи, поспела.

Валька уходит, а я, сменив брата, принимаюсь рубить табак. Толя моется в бане. Баба Настя и мать что-то делают во дворе. От резкого запаха табака слезятся глаза и щиплет в носу. Я отворачиваюсь от корытца к окну. Вместе с туманом на деревню опускаются ранние сумерки. Тихонько покачивается, почти задевая окно, мокрая ветка ели. На дощатом частоколе садка сидят, нахохлившись, галки. И дома на грязной, еще не просохшей улице, тоже похожи на черных нахохлившихся галок.

Когда провожали в армию Шуру, брат тоже рубил табак. Только улица тогда была другая: бело-зеленая и пахучая от молодой листвы. В то лето, в 41-м, почему-то медленно отцветали в нашем краю тополя. И цвет их был так обилен, что долго на крыши домов и сараев, на речку, на изгородь и псянки, на наезженные до блеска колеи дорог оседали, будто снег, тополиные хлопья.

Целый месяц, нагоняя тоску, сыпал и сыпал легкий пушистый снег.

Тех, кто уходил на войну, провожали всей деревней. Ребята и девушки, взявшись за руки, шли по дороге стенкой и пели под гармонь песни. А впереди, сдерживаемые ребятами-подростками, тихой иноходью мяти дорожную пыль запряженные в тарантасы лучшие колхозные лошади. В карие, буланые и сивые гривы их девушки вплетали разноцветные ленты, дуги обвивали радужно яркими гарусными поясами, поднятыми для такого случая со дна бабушкиных сундуков. Прикрепленные к упряжке бубенцы и медные колокольчики голосисто и тревожно переговаривались.

Вместе с Шурой призывалось еще шесть парней. Все они работали у отца в тракторном отряде. Перед войной, рассказывала бабушка, отец возил ребят в район на стрелковые соревнования и просил мать сшить им одинаковые белые рубашки с отложными воротниками по-городскому. В то прощальное утро ребята надели белые рубашки. Девушки, чтобы проводить их, отпросились у бригадира с прополки.

Шура нес меня на руках. Рядом с ним, как всегда, высоко вскинув голову, шла Граня. Белый пух, будто обильная седина, запутался в ее темных, как деготь, густых волосах. За горделивую походку и яркую смуглоту прикипело к Гране деревенское прозвище — крестовая дама. Жила она в нашем околотке. Работала в колхозе учетчицей.

Поравнявшись со своим домом, Шура свернул на обочину и остановился около смоляного желтого сруба, выложенного до середины окон на поляне перед усадьбой. Рядом лежали уложенные штабелями, уже отесанные, приготовленные для стройки бревна, высокая груда сухого зеленого мха, еловая кора и щепы. Идущие по дороге тоже встали. Шура посадил меня на теплые бревна, заглянул в темную глазницу окна.

— Вот здесь с Граней жить будем, — обернувшись к сельчанам, громко проговорил он и задержал короткий блестящий взгляд на Гране. — Как одолеем врага — достроим.

Граня опустила голову, провела смуглой ладонью по одному из бревен. Густо закружились в воздухе тополиные хлопья.

Таким и запомнился мне Шура, с выгоревшим овсяным, косо падающим на лоб чубом, в белой рубашке, оттеняющей красный загар лица, шеи и рук, стоящим около желтого сруба с темными провалами окон. А на залитой солнцем улице грустно кружил белый буран, шумела молодая листва, высокими и низкими переливами переговаривались бубенцы. От движения подвод и от звуков этих вздрагивали лежащие перед домами белые пуховые облака.

За деревней, на развилке дорог росли старые тополя. Одна дорога ввела в поля, другая — побелевшая, выгоревшая от времени, в голубоватой опушке молодой поляны, поднималась на угор к лесу. Старый проселок соединял деревню с железнодорожной станцией. Здесь всегда провожающие останавливались. Дальше ехали с невобранцами только родственники.

Остановились и тогда. В последний раз рванул меха гармонист, взлетела в небо песня: «Броня крепка и танки наши быстры...» А над деревней, нагоняя тоску, надоедливо кружила белая метель.

Тревожно косили глазами лошади на поющую и плачущую толпу, отбиваясь от оводов, мотали головами, нетерпеливо переступали в горячей пыли. И разноголосно пели при каждом их взмахе медные бубенцы.

Новобранцы начали прощаться. Они подходили к каждому, кто стоял тут: к девушкам, женщинам, старикам, к мальчикам и подросткам, крепко обнимали и целовали каждого.

Шура и Граня пошли по дороге вперед. Напряженность и скованность



была в их спинах. Дойдя до подводы своей, Шура оглянулся, помахал всем платком. Граня крепко ухватила за обруч тарантаса, потом прильнула к Шуре на какое-то мгновение и пошла обратно, опустив голову и плечи. И тотчас, как по команде, заплакали женщины, новобранцы и родственники двинулись к подводам. Громко звякнули колокольцы. Граня вздрогнула, порывисто оглянулась. Удалялись, пыля, подводы. На последней кто-то вдруг резко натянул вожжи, лошадь остановилась. Шура оглянулся еще раз, и Граня вскинула руки, будто хотела удержать его, потом рванулась с места и, догнав тарантас, вскочила на ходу, села рядом.

Вечером, после бани, мы все сидим в горнице за праздничным столом. Стекло керосиновой лампы, висевшей на проволоке, прикрепленной к потолку, до блеска начищено. В центре стола стоит самовар. Толя, Валька и я, причесанные и сияющие после бани, с нетерпением смотрим на расставленную в чашках селянку из пестиков, морковную кашу и рассыпчатый аппетитный картофель. Чем не праздничный стол? Ешь — не хочю! Только хлеба — всем по норме, черного, липкого хлеба, наполовину в нем запечены лебеда и льняное семя.

В деревне у нас жило немало эвакуированных. Многие из них отличались от ольховчан, если не платьем, то разговором, манерой держаться. Но особенно мне нравилась Валькина мать. Одежда Галины была всегда тщательно подогнана по фигуре, обувь начищена. Даже походка ее была совершенно особой. Ходила она как-то стремительно, легко и неслышно. На этот раз на Галине — серый шевитовый костюм. Курчавые пышные волосы после бани гладко зачесаны, влажно блестят и заправлены за уши. У Вальки волосы прямые, и Галина и Валька сейчас очень похожи. У обеих белые нежные продолговатые лица, одинаковые, близко поставленные, широко открытые глаза, только у Галины они намного чернее Валькиных: так черны, что в них не видно зрачков.

На моей матери — легкое батистовое платье, синее, с алыми листьями. Длинные каштановые косы опущены по спине.

— Запивайте-ко, матушки, — бабушка наливает в мою и Валькину кружки молоко. Брат ставит на стол блюдце с сухими паренками и улыбается Галине.

— А это, как признаете, из чего?

Галина пробует темные сухие комочки на вкус и неуверенно отвечает:

— Из свеклы, похоже.

— Не угадали, — довольная впечатлением, лукаво щурится мать. — Пробуй-ка, Валя, наши конфетки. Из калеги. По-вашему как?

— По-нашему брюква, — говорит Галина. — Как же я сразу не догадалась, что из брюквы!

— Вот, значит, из брюквы... — И, подливая в Галинину кружку чая, мать обещает. — Научу я вас, как их готовить... Толя поможет распахать огород.

Минуту мать смотрит отрешенно в окно, потом обводит всех нас заботливым взглядом и добавляет. — До первой картошки как дотянем, там уж разная зелень пойдет, да ягоды, да грибы...

— Что-то скучно с вами, бабоньки, — говорит баба Настя. — Так ли бывалоча по праздникам? Соберутся Ванины дружки. Маркелыч за гармошку и — запюют!.. Ну-жо, Груша, давай Ванину любимую.

Мать теребит конец скатерти, задумавшись и склонив голову. Потом выпрямляется, откидывает на спину длинные косы и запекает протяжно и тонко.

Там вдали за рекой...

...Загорались огни, — разом подхватывают Галина, баба Настя и Толя.

В небе ясном заря догорала.

Сотня юных бойцов из буденновских войск

На разведку в поля поскакала...

Мы сидим с Валькой неподвижно. С первыми же звуками песни во мне рождается что-то знакомое, волнующее, но давно забытое. Звучат нестройно голоса. Я слушаю и вдруг под звуки песни перед глазами встает ясно картина: окна в доме Маркелыча открыты. Видна зеленая поляна. По ней ходят куры. Отец сидит за столом в черном жилете и белой рубашке, обняв за плечи Маркелыча, качает головой в такт песни. Они поют о молодом бойце, который упал на траву возле ног вороного коня. Поют негромко, но вдохновенно, а за ними в квадрате окна, заросший полынью и васильками, деревенский проселок, ржаное поле, блестит на солнце речка. На крутом травянистом берегу ее — небольшой холмик и деревянный зеленый столб. Там братская могила. Я вспоминаю все это, и мне кажется, как и тогда, что это за нашей Ольховкой заблестали клинки и рассыпались белогвардейские цепи, что боец в краснозвездном шлеме, упавший к ногам вороного коня, похож был на Шуру...

«Ты, конек вороной, передай дорогой», — очень высоко, дрогнувшим голосом вывела мать и замолчала, медленно поднялась со скамьи, пошла на кухню. В уголках глаз ее блестели слезы.

— В братской могиле, за рекой, похоронен брат Груши, комиссар, — бабушка тоже поднялась из-за стола, поправила гирьку часов. — Степаном звали.

В наступившей тишине стало слышно, как стучат на стене ходики.

Хлопнула дверь, на кухне зашкрякали половицы, в горницу вошла Граня. Крохотные разноцветные звездочки мерцали в ее густых волосах, на суконной жакетке. Темные глаза возбужденно сияли.

— С праздником, подружки, с Первомаем вас всех!

Мать обтерла рукой табурет, пододвинула Гране.

— Председатель за вами послал. Агрипина Максимовна, Галя, одевайтесь и никаких! — от Грани пахло брагой и еще чем-то вкусным и

ароматным, кажется, ржаным хлебом и, возможно, одеколоном или духами, — запах духов мне еще не был знаком.

— Да че же. Груша, сходите, — советует баба Настя. — Дело су-седское.

Но мать и Галина наотрез отказываются. Граня подсаживается к ба-бушке:

— Погадайте мне на бобах, Капидоновна.

Баба Настя идет на кухню, шарит там в потайных кладовках.

— Бобы-то варнаки съели, однако. Так и есть! — развязывая на хо-ду мешочек, сокрушается баба Настя. — Так и есть, не хватает. У тя зубы вострые, Граня, раскуси ты два боба. А теперь садись ближе.

Мы сгруживаемся вокруг стола и смотрим, как баба Настя, положив на стол большие жилистые руки, начинает катать бобы, тихонько приго-варивая: «Че ожидает Граню? Какая перемена в жизни али дорога ка-кая?» Потом она делит бобы на кучки, отсчитывает в каждой четные па-ры, оставшиеся раскладывает еще на несколько кучек.

— Ну, что там? — нетерпеливо спрашивает Граня, темные глаза ее странно, словно потерянно, усмеваются.

— А че? Колодит. Дорогу, стало быть, куда-то тебе заколодит.

— Ясно куда, — весело подмигивает Гране Толя. — Замуж не вый-дешь в этом году.

— А по углам сбытки. Вишь, по два боба. Стало быть, че задумала — сбудется.

— Что задумала? — тормошит Граню Галина.

— Это уж моя тайна, что задумала, — Граня кривит в усмешке из-вилистые продолговатые губы.

Мне неприятно от этой ее усмешки.

— На сердце, гли-ко, четыре, — оживает баба Настя. — Больше и гадать нече, Граня. Четыре, полное счастье.

— Замуж-то за председателя собралася. А я Шуре, как приедет, скажу, — набравшись духу, выпаливаю я и чувствую, как начинают пун-цовать уши.

— Наталья! — сердито поворачивается ко мне мать.

— Ой, Наталья! Ой, умора! — брат хохочет раскатисто, с кашлем, захлебываясь от смеха. — Скажи, скажи, он на тебе и женится.

— Все, Капидоновна, я побегу, — Граня медленно выбирается из-за стола, идет к порогу как-то неловко, все время на пути задевая за что-то. На кухне с деревянной кадучки срывается и звенит, ударяясь о пол, же-лезный ковш.

— Ой, Гранька! — вздыхает бабушка, — Совсем заплутала-то. А ес-ли Шура как-ненабудь живой объявится?

Мать берет с наших колен полотенце, строго подступает ко мне:

— Наталья, чего языком барахвостишь?

— А продавщица говорила, — я начинаю мигать, точно мне разом

запорошило оба глаза, — в лавке говорила... Гранька председателя охотунала.

— А ты поменьше слушай, чего тебя не касается. С утра до вечера шастаешь. Неизвестно где...

— Оставь ее, Груша, — вступает за меня Галина. — На первый раз можно простить.

— Ох, если б на первый, — качает головой баба Настя. — Совсем отбилась от рук. Мать все легичко с Толей на поле. И осень, и весну... А Гранька что же? Гранька, знамо, деваха нотная.

— По случаю праздника, Наташа, объявляется тебе амнистия, — непонятно говорит Галина и вдруг вскакивает, бежит в сени, — Совсем забыла! Я быстрэнко...

— Куда? — пытается остановить ее мать, но Галины уже нет.

Она возвращается через несколько минут и ставит рядом с самоваром бутылку.

— Гулять — так гулять!

Бабушка рассматривает бутылку, с уважением замечает:

— Казенная, с белой головкой.

— Еще в марте на станции у проводницы купила. Знала, что пригодится.

— Вы бы поберегли, — советует мать. — А вдруг какой случай.

— Э. Груша... Як по-українськи кажуть, будэ дэнь...—Галина открывает бутылку. — Где рюмки? Толя, настраивай балалайку, плясать пойдём!.. Ну, за Первомай! За Пэршэтравнэвэ свято!

Мать, Галина и баба Настя чокаются. Толя выпить отказывается, а нам с Валькой никто и не предлагает.

Становится весело. Бренчит балалайка. Галина с матерью танцуют польку, танцуют умело и лихо, с какими-то задорными коленцами. И я обнаруживаю, что мать у меня тоже молодая и красивая, разве что только ростом не вышла, и ловкая, ничуть не хуже Валькиной.

— Сидит Гитлер на заборе,

Плетет лапти языком... —

дурачась, подпеваает Толя в такт веселой мелодии.

И мы с Валькой тоже кричим и прыгаем так, что начинает звенеть в шкафу посуда.

Потом Валька читала стихотворение, что-то очень смешное рассказывала Галина, и опять плясали и пели.

— Спой, Галя, вашу, украинскую, — просит бабушка.

И Галина низким, глуховатым голосом поет: «Распрягайте, хлопцы, коней», но тут же умолкает, потому что сидящая у окна Валька громко вскрикивает.

В деревне, зло подвывая, лают собаки.

— Волки! На волков это! — прислушивается мать, — к оврагу, видать, подались, падаль почуяли.

— Хорошо ли скотина заперта, — тревожится бабушка. — В первую ерманскую тоже, помню, волков по лесам развелось. — Баба Настя идет в передний угол и начинает креститься: «Оборони, осподи, от зверя лютого, от горя-напасти, от ворога-супостата!».

— Как она заржала! — у Вальки стремительно бледнеет лицо, глаза словно наливаются мраком.

Плечи Вальки судорожно дернулись. Галина быстро подскочила к Вальке, крепко обхватила ее, прижала к себе. Начала гладить волосы, что-то шепча на ухо. Баба Настя, подойдя к ним, тоже склонилась над Валькой, жалостливо забормотала: — Такая маляпа, а сколь повидала. Под бомбежкой успела уже побывать... — и, заметив предупреждающий взгляд Галины, воплеснула руками: «Девки, ну-ка живо за стол. Чай убежит!»

Мать вынесла с кухни заново вскипевший самовар. Он весело шипел и булькал.

— Плохие мы питухи, — жестко сказала Галина и подняла слегка пригубленную за весь вечер рюмку. — За Первомай мы выпили. Давайте за другой праздник. Он будет. И теперь уже скоро. За тех, кто до него не дожил и за тех, кому суждено встретиться!..

Странно, но я поняла все, о чем говорила Галина: о немом Ванеке, о нашем отце и о Шуре, о всех, кого ольховцы проводили до развилки дорог, а теперь от одних приходят письма, а от других давно уже не приходят...

Провожать гостей мы идем все, кроме бабушки. Дом наш стоит на высоком холме, и с крыльца хорошо видна вся Ольховка. Туман сгустился, висит над самой землей. Будто широкая молочная река залила по крыши дома и сараи, потопила по самые кроны деревья. На всю Ольховку два-три огонька. Да еще за рекой, на конном, кто-то ходит по двору с фонарем. Огни эти из-за тумана тревожны и красны. Мы стоим на крыльце и, ежась от сырости и ночного холода, слушаем, как шумят за баней, подмывая гряды, ручьи. Их спокойная мелодия завораживает, потому что с весной у нас связаны самые радужные надежды.

Когда все уснули, в доме стало тихо и мрачно. Лишь бледным смутным пятном угадывалась подбеленная к празднику печь. Я лежала рядом с матерью, чувствовала на щеке ее теплое дыхание и не могла уснуть. Слишком много впечатлений принес этот день. Они, перемешиваясь и повторяясь, рождали в душе сложное чувство. Мне вспоминалась радостная песня ручьев, красивая Граня, то возбужденная и сияющая, то поникшая, со странной, застывшей улыбкой, добродушные разговоры взрослых, брат, задорно бренчащий на балалайке и неожиданно молодые и веселые в танце мать и Галина. Они вызывали ликование, полноту и жажду жизни, ожидание хорошего впереди. И в то же время во мне жило тревожное ощущение. Несколько раз, подвывая, плачуще и жутко принимались лаять собаки. И под звуки эти непроглядной представлялась темно-сизая мгла, глухо обложившая деревню, голые безжизненные поля и мрачное

кладбище с мертво враждебными запахами гнили и тлена. И мной овладевал пережитый днем страх, перед глазами вставал бурлящий на дне оврага поток, лежащая в воде белая лошадь и волки, терзающие ее сейчас. Это было сложное чувство, и горькое, и радостное одновременно.

Неожиданно для себя я начала громко всхлипывать. Проснулась мать и попыталась выяснить причину столь горьких слез. Так и не смогла я объяснить в ту ночь матери, о чем плачу.

\* \* \*

Много за четыре года войны выпало на нашей улице снега. По самые окна и выше наметало обрывистые снежные толы. Случалось и летом над огородами, над зеленым ворсом полей с шумом и гулом дыбилась, будто норовистый конь, черно-белая градовая туча, и блестящие ледяные струи, как тяжелая каменная соль, хлестко жевали, решетили, корежили все живое.

Но выглядывало солнце, слизывало со стеблей и листьев светлые, как слезы, растаявшие градины, и медленно уходило, крепило и поднимались израненные молодые побеги.

Потому и остался в памяти ярче других тот летний снег, та обильная тополиная вата, что целый месяц невесомыми хлопьями кружила и кружила в воздухе, забивая сады, поляны, реку, крыши и окна домов навязчивым белым бураном.

И по сей день, лишь стоит закрыть глаза, он снова летит и кружит, заполняя собой все, прикрывая плотными белыми облаками живую зелень земли, блестящий свет летнего дня, просторную синеву неба, все больше скрывая в своем белом вихре теперь уже далекие, полузабытые и оттого еще более дорогие лица.

Снег все летит и летит. Все кружит и кружит. Перед глазами уже одна белая сплошная метель.

**ЮРИЙ СТАРЦЕВ**, парторг обкома  
КПСС на строительстве нефтепро-  
вода Самотлор—Альметьевск.

## СУДЬБА РЕКОРДА

«...Досрочное завершение строительства нефтепровода стало возможным благодаря развернувшемуся социалистическому соревнованию, трудовому героизму сварщиков, монтажников, экскаваторщиков, изоляторов, шоферов, всех участников строительства...».

*(Из Обращения ЦК КПСС и Совета Министров СССР  
к участникам строительства нефтепровода).*

Строительство нефтепровода Самотлор—Тюмень—Курган—Уфа—Альметьевск нельзя назвать обычным, одним из многих в стране по целому ряду весьма убедительных причин. Оно во многих отношениях было первым.

Прежде всего, масштабы этого сооружения: две тысячи сто километров. Возникнув на вагманах в стенах Московского института «Гипротрубопровод», стальное русло нефтяной реки прошло по территории Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Башкирской и Татарской автономных республик. Из них тысяча сто километров — по Тюменской области.

Сами уникальные масштабы заставляли искать уникальных, новаторских решений многих технических проблем. Что же касается проблем организации, управления, то они решались совершенно по-новому. Встала задача комплексного ведения работ, объединенными усилиями подразделений землеройщиков, изоляторов, сварщиков. Так родились, например, технические потоки.

Но не только масштабы требовали нового взгляда на вещи. Нормативная продолжительность строительства, рассчитанная на четыре года, входила в противоречие с потребностями. Поэтому стояла задача — использовать все возможности, чтобы сократить сроки. В процессе поисков важнейших решений выкристаллизовался новый рубеж — восемнадцать месяцев ударных вместо сорока восьми предусмотренных!

Невозможно рассказать обо всем на считанных страницах. Здесь запечатлен только один эпизод борьбы за досрочное завершение строительства, но, думается, эпизод характерный.

Тобольский отрезок трассы, как и все остальные — не идеальный стенд для демонстрации рекордной производительности труда. Хотя здесь в некотором смысле «усредненные» условия. Понемножку болот, вековой тайги, всяких ручьев и складок местности. Во всяком случае, зима здесь не более уступчива, чем, допустим, у сургутян или нижневартовцев. Сибирь есть Сибирь, и только одним этим сказано больше половины.

Так что перворождению рекорда какие-то специальные условия не могли содействовать. Он, конечно, был подтолкнут всем духом строительства. Но зарождался невидимо для чуждых глаз. И выплелнулся неожиданно.

И вообще вся трасса была в определенном отношении трассой всяческих неожиданностей.

Рекорд рекордом, но, думается, есть смысл прежде рассказать одну историю, в свете которой потом станет яснее и естественнее все последующее. По крайней мере, будет понятно, что не герои в оперных позах, а обыкновенные люди в мороз, в снегопад, делали из жизни и труда повседневный человеческий праздник.

Говоря о своей бригаде сварщиков-потолочников, бригадир Евгений Молотилин несколько раз назвал Трофимова. По смыслу рассказа получилось, что Трофимов одновременно был в нескольких местах.

— Так у вас не один Трофимов?

— Что вы! В бригаде целый род Трофимовых. Династией пока не назовешь — все представители одного поколения. Но в будущем вполне может династия получиться.

Трофимовы пополняли ряды сварщиков-трассовиков в порядке старшинства. Первым был Николай Трофимов. Немного погодя вслед за ним стал работать в СМУ-35 объединения «Приволжскгазпромстрой» Василий Трофимов. Сначала слесарем, а потом пошел по стопам Николая. И премуудрости, и секреты все своей нынешней профессии перенял от старшего брата.

Потом закончил школу Виктор. Он наслышался от старших братьев, когда те наезжали в отпуск, о трассах. И хотя Николай и Василий не скрывали, что нелегко годами работать и жить на колесах, Виктор еще школьником решил — только туда, где братья. Его в свою очередь тонкостям мастерства обучал Василий. И получилось, что ученик Василия попал в напарники к учителю Василия — Николаю. Виктор Николаю теперь по профессии приходится кем-то вроде «внучатого племянника». Но у того и другого по шестому разряду.

На этом семейственность на трассе не кончилась. Приехал муж одной из сестер Трофимовых — Владимир Кожемякин, тоже сварщик, а следом — Татьяна — на ответственную вакансию бригадного повара.

Бригадир Молотилин посмеивался:

— На стройку — Трофимов за Трофимовым, а на стройке — Трофимовы против Трофимовых.

— Неужели?



— Вполне серьезно. Бригадиром-то соседей Василий Трофимов. Соревнуемся. Соревнование идет даже по поварской части, ибо в бригаде Василия бригадный повар тоже Трофимова — его жена Надежда.

То, что какая-либо профессия становится традиционной в семье, встречается не так уж редко. Но то, что для этих людей семейным, личным делом стало строительство нефтепровода, говорит о многом. И прежде всего о том, что вчерашнее первопроходчество с «палаточным неуютом» при сегодняшней технике, при сегодняшней организации труда, быта, отдыха постепенно становится обжитым местом.

Пусть поборникам «палаточной р-р-романтики» остаются одни туристические походы. И чем скорее, тем лучше. Ибо все, что ни строится, строится для людей и людьми, и должно строиться по-человечески. И никакой романтики нет в том, чтобы по утрам отдирать примерзшие к подушке волосы. При нынешних возможностях такое называется бездушным отношением к человеку.

И если уж мы несколько отвлеклись на эту тему, то заключить отступление можно следующим: тому, что нефтепровод досрочно встал в строй действующих, во многом, очень во многом содействовали нормальные, человеческие условия быта и отдыха. И будь эти условия еще лучше, возможно, строительство шло бы еще быстрее.

Но истинная романтика, романтика созидания, никогда не умирала и никогда не умрет. Она в напряжении тысяч лошадиных сил могучей техники, в вольтах и амперах энерговооруженности, в свободном, умелом и увлеченном владении всей этой мощью. И еще — в стремлении показать, на что способен настоящий человек-созидатель при таком всеоружии.

\* \* \*

В середине февраля «трубу» с телеграфной скоростью облетела весть — двадцать пять за смену! Двадцать пять за смену!

Бывалые сварщики только покачивали головами: ничего себе — сработал Иван со своими поворотниками!

Двадцать пять плетей в смену на стеллаже поворотной сварки — действительно рекордная выработка — почти вдвое превышает обычную сменную норму бригады.

И этого достигла бригада поворотников Ивана Нефедовича Борисова из тридцать пятого строительного-монтажного управления объединения «Приволжскгазпромстрой».

Об этом рассказывали по трассе «Молнии» — на «административных» вагончиках, сообщали газеты и доска показателей. Это событие обсуждали те, кто трудился рядом. Хочешь не хочешь: назвался рекордсменом — получишь славу!

Во всяком случае, накотившая вдруг известность не обременяла Ивана Борисова и его соратников. Разок пришлось попозировать фоторепортеру, а коллекционеры автографов еще не добрались до трассы. Они еще только собирались туда.

Ну, пока собирались, пока добирались, трасса тоже не стояла на месте. А когда добрались, по всей трубе гулко гремела отдача от нового рекорда, что был достигнут снова на тобольском отрезке.

«Боевые листки» и «Молнии» гласили:

«Включившись в социалистическое соревнование за досрочную сдачу нефтепровода Самотлор—Тюмень—Курган—Уфа—Альметьевск, бригада сварщиков-монтажников Анатолия Ларина из первого специализированного управления треста «Мосгазпроводстрой» показывает пример в труде. Позавчера она соединила в нить тридцать плетей. Это лучший результат на строительстве нефтяной магистрали!»

Конечно, рекорд Ивана Борисова и рекорд Анатолия Ларина — это совершенно разные рекорды, но они очень тесно касаются друг друга. Они буквально стыкуются, как стыковались плети, сваренные на стеллаже в нить нефтепровода. Один рекорд как бы вытекал из другого.

Вот тогда-то рекордсменов и взяли в оборот туристы-краеведы! Кому из них не хотелось бы иметь автограф живого исторического лица? Скоро трасса опустеет — нефтепровод войдет в строй, а живая память останется в блокноте. Еще лучше фотография — этаким богатырь с окладистой бородой, как у Ермана Тимофеевича. Другой бородач-Ибрагимов, хоть и не бригадир, зато заслуженный строитель РСФСР.

Зачастую, слыша или читая о каких-то выдающихся трудовых достижениях, о рекордах, мысленно задаешь в пространство вопрос: а как это рождалось? Ведь не так же: пришел, увидел, победил. Ведь когда-то решилось это в мыслях и в душе, и что-то подтолкнуло на такую решимость? Или все делается так же просто, как пишется или говорится, а что возле и вокруг — одни психологические фантазии?

Трудно прояснить эти вопросы вообще и ничуть не легче в данном конкретном случае. Но тут хоть, по крайней мере, можно уверенно сказать, что на самых первых порах, когда бригада Ларина приступила к работе на тобольском отрезке трассы, рекорд ей был не под силу. Прямо скажем, что хоть бригада была и не из худших, но и не из лучших.

Например, коллективы, возглавляемые Евгением Молотилиным или Василием Трофимовым, работали ровнее, спокойнее, технологичнее, что ли.

Ларинскую бригаду вначале лихорадило. Возникали всякие конфликтные ситуации. Оно и понятно: люди «притирались» друг к другу, вырабатывали психологическую совместимость. Коллектив сформировался по сути дела заново. Из того костяка бригады, которая раньше строила нефтепровод из Тернополя в западные районы Украины, в Сибирь приехали сам Анатолий и еще трое сварщиков — Виктор Загребнев и братья Владимир и Геннадий Николаевы.

Все остальные пришли из других коллективов, с других строек. Все непохожие, все незнакомые, все присматривались друг к другу. Один присядет покурить, другой ему подбрасывает:

— Сачнуем?

— Ты бы посачковал с мое!

Слово за слово — и целый митинг. А дело стоит, и бригадир на высоких режимах треплет себе нервы.

Как-то партгруппорг; тракторист Иван Ефимович Казаков после одного такого шума пристыдил рекордом бригады Виктора Навозова — тогда это имя гремело по трассе. Так и подчеркнул: это я, говорит, не для сравнения, потому что сравнивать тут нечего, не та публика, а просто информирую, что есть на свете люди. Ребята обиделись:

— Мы чем хуже?

— Может, каждый и не хуже, а вместе — кто в лес, кто по дрова.

— Наладьте сперва нормальную подвозку труб!

— И что тогда?

— Тогда увидите.

— Хорошо. Посмотрим.

Партгруппорг знал, что с подвозкой труб случаются перебои, что перебои сбивают темп и настроение. Знал он и то, что прорехи снабжения можно ликвидировать.

На этом же собрании обсудили социалистические обязательства. Первым пунктом записали — завершить сборочно-сварочные работы на двадцати семи километрах трассы к двадцатому марта. Конечно, сделать все, как надо, с оценкой не ниже, чем «хорошо».

Не забыли и про машины, механизмы, чтобы использовать с умом и на полную мощь, про экономию электродов и других материалов.

Над последним пунктом задумались — бороться за звание бригады коммунистического труда.

— Что, в ногах слабость? — подбросил угольков Иван Ефимович. — Если бороться, то без птичьих базаров.

— Сказал тоже! Все — за.

На том и порешили.

Конечно, ни о каких рекордах в бригаде никто и не думал. Замыслили хотя бы должок отработать: ведь на двенадцать стыков от плана отставали! Был и день, и час, когда окончательно созрело и оформилось это решение, став и коллективным, и глубоко личным. И каждый, может быть, на всю жизнь запомнил тот день и час, потому что почувствовал локоть соседа. А бригадир запомнил — это точно, потому что бригада стала бригадой не по названию — по своей коллективной сути.

В тот день парни всеми ухватками напоминали заговорщиков. В столовой таинственно переглядывались, а повара на раздаче бдительно и непримиримо предупреждали:

— Только попробуйте!

Парни смеялись в ответ:

— Пробуем! От попытки нет убытка!

— Мы вполне серьезно: здесь не положено!

Повара и сварщики говорили о разном. Никто и не собирался «вспры-

скивать» будущий успех. О нем еще никто и не знал. Но предвосхищение победы уже веселило и воздымало душу.

И вот заполыхали вдоль трубы всплески голубого огня. И казалось, что это не вспышки электросварки, а идет плавка; и рождается новый сплав — сплав мастерства и общей идеи.

Парни варили, стараясь забыть о счете минут и стыков. И только по тому, как удалялось рычание бульдозера Виктора Алешина и трубоукладчика Анатолия Никитина, подсознательно угадывали, что труба сегодня растет быстро. Быстрее, чем всегда. Много быстрее.

Нет, в тот день им не нужна была даже внутрибригадная гласность — сколько стыков пройдено. Это отрывало бы дорогие минуты. И было еще что-то вроде наивного суеверия: как бы не вспугнуть подсчетом удачу.

В неизвестности время то летело, то останавливалось. И никто бы толком не смог сказать, мало его прошло или много, когда замолкли трубоукладчик и бульдозер.

— Что — все?

— Ну, как?

— Сколько?

— Не хуже других сегодня? — сыпали вопросами, собираясь вокруг бригадира.

У Ларина был ошеломленный вид:

— Тридцать, братва. Тридцаты!

— Сколько?

— Тридцать, говорю. Тридцаты!

На какое-то мгновение замолкла бригада. И вдруг, как один голос, во всю силу молодых объемистых легких гаркнула:

— Ура-а-а!

Парни смотрели в чумазые лица друг друга, как друзья после долгой разлуки, и находили, что никогда не видели в жизни милее и смешнее лиц. Они хохотали, гикали, увесисто хлопали друг друга по плечу. А потом под новое «ура» над головами, недовко разбросив руки и ноги, взлетел Анатолий Ларин.

— Ка-ачать его!

— В космос, братцы, в космос!

— Тридцать раз!

— Стойте, старики, а то стрясем ему руководящий балансир!

Итак, позади было тридцать стыков, а в руках — всесоюзный рекорд. Да, да — рекорд страны. Ведь бригада Виктора Навозова свой рекорд установила на тонкостенной трубе, а они на толстостенной.

Когда прошло первое счастливое потрясение, улеглось возбуждение, сварщики призадумались, уже на спокойную голову осознавая, что такое они натворили, и как теперь отвечать за содеянное.

Рекорд — это ведь не только часы напряженного труда и острая радость оттого, что удалось шагнуть за черту неведомого и недостижимого до сих пор. Рекорд — это и трудная ответственность на плечах, потому

что после него любой срыв станет настоящим позором. Человек, однажды познавший одержимость первооткрывательства, больше уже никогда не будет удовлетворен выполнением «среднестатистической» роли. Но если не определить места собственному рекорду в собственной же жизни, то еще не известно, куда может завести такая неудовлетворенность.

Случаются еще «разовые рекордисты», которые не удовлетворены лишь тем, что им всю жизнь не кланяются в ноги за прошлую заслугу. Никто не отнимает прошлых заслуг: что сделано, то сделано. Но человек живет будущим. И, принимая добровольно на себя обязанности идущего впереди, должен исходить из этого.

Пусть эти размышления о месте и значении взлета в человеческой жизни не будут сочтены ратованием за то, что рекорды нужно печь, как пироги. В любом наступлении есть разведка и есть основные силы. И не всем сразу нужно и должно быть в разведке. Но чего достигают разведчики, то в итоге становится достижением и достоянием всех.

Примерно под таким углом зрения и думала бригада Анатолия Ларина о том, что произошло в один из солнечных дней в середине марта.

— Трудно установить рекорд, но еще труднее удержать его, — говорил Анатолий Ларин. — Но главное, мы убедились, что тридцать-не тридцать пока, а двадцать пять стыков в нормальную смену при нормальных условиях варить вполне можно.

Бригадир был безусловно прав. А вскоре и сама жизнь подтвердила его правоту.

\* \* \*

Март был бурным и на восьмом технологическом потоке.

Яростное весеннее солнце в ударном темпе плавило сугробы, грозя скорой распутицей. Оно торопило трассовиков. Да трассовики и сами наращивали темп, потому что по социалистическому обязательству должны были закончить сварку трубы в нить с триста восемьдесят четвертого километра по четыреста тридцать восьмой к двадцать пятому марта.

В эти жаркие дни достигло наивысшего накала соревнование между братьями Трофимовыми, т. е. между бригадой Евгения Молотилина, в которой трудятся Николай и Виктор Трофимовы, и коллективом сварщиков, в котором руководил Василий Трофимов.

Соревнование подогревалось еще и тем, что не так уж далеко впереди перед обеими бригадами заманчиво маячили тридцать стыков бригады Анатолия Ларина.

Борьба за первенство шла с переменным успехом. То один коллектив вырвется вперед, то другой. Но чаша весов понемногу склонялась в пользу того, где огненные швы вели сразу двое Трофимовых.

И вот наступило восемнадцатое марта — день знаменательный на трассе. В этот день бригада Евгения Молотилина повторила рекорд бригады Анатолия Ларина, тоже сварив за смену тридцать стыков!

А через три дня на восьмом технологическом потоке сварка трубы в нить была закончена.

Так рекорд, оставаясь в руках своих первых хозяев, стал принадлежать и другим. Такова уж судьба любого рекорда.

Вот, собственно, и весь рассказ.

Хотя нет. Чтобы он получил достойное завершение, просто процитируем небольшую заметку, которая в двадцатых числах марта обошла все газеты Тюменской области:

«За высокие показатели в труде на строительстве тобольского участка нефтепровода Саяногорск—Тюмень—Курган—Уфа—Альметьевск значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства» награжден бригадир комсомольско-молодежной бригады потолочной сварки восьмого потока Иван Борисов, грамотами обкома ВЛКСМ награждены: бригадир комсомольско-молодежной бригады стеллажа поворотной сварки СМУ-35 треста «Приволжскгазпромстрой» Евгений Молотилин (восьмой поток) и бригадир потолочной сварки Анатолий Ларин (десятый «А» поток)».

Так воздавалось за прошлое — с большой надеждой на будущее.

Указ Президиума Верховного Совета СССР был много позднее — 5 октября. Этим Указом Евгений Молотилин награжден орденом Октябрьской революции, младший из Трофимовых Виктор и Анатолий Ларин — удостоены медали «За трудовую доблесть».

ЛЕВ ДАВИДЫЧЕВ

## ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН

Начну, как ни странно, со старины глубокой. В прошлом году Пермь отмечала двести пятьдесят лет со дня своего рождения. Я готовил для телевидения цикл передач «На заре пермской поэзии». Среди авторов той далекой поры я, в частности, столкнулся с творчеством поэта Ивана Ивановича Бахтина (1756—1818 гг.).

Было в жизни этого интереснейшего человека одно странное и редкое противоречие. Выходец из семьи горного чиновника Егошихинского медеплавильного завода, который и дал начало нашему городу, Бахтин сам стал крупным чиновником, дослужился до чина действительного статского советника, был даже губернатором в Харькове.

И вместе с тем он был поэтом да еще сатириком! Согласитесь, что губернатор и сатирик — звания трудно совместимые.

Бахтин писал, например:

Дворянского коня вчера зарыли здесь,  
Который проводил в работе век свой весь.  
Свой весь же век провел его хозяин.  
Полезней свету был кто: конь или боярин?

Вспомнил я об этом поэте вот почему. Вернувшись из поездки по Тюменской области, восхищенный увиденным там размахом освоения богатейшего края, я по привычке бывшего газетчика начал искать факты связей наших областей.

Сделать это оказалось очень легко. Друзья-журналисты и работники соответствующих организаций сообщили мне много интересного.

Судите сами. С пермского завода имени Ленина, центра знаменитой революционной Мотовилихи, Кунгурского и Павловского машиностроительных предприятий в Тюменскую область поступают турбобуры самых

различных марок для проходки нефтяных и газовых разведочных и эксплуатационных скважин.

Лысьвенский турбогенераторный завод посылает погружные насосы новейшей конструкции.

С Очерского машиностроительного завода поступают трубоукладчики для нефтяных и газовых магистралей, камцы изготовляют запорную арматуру для нефтепромыслов.

Свою продукцию направляет тюменцам Чайковский комбинат шелковых тканей.

Список этот можно продолжить. Но отмечу еще одно обстоятельство — в освоении тюменской нефтяной целины участвует много пермских специалистов.

Для меня же после знакомства с тюменским краем такие названия, как Сургут, Салым, Усть-Балык, Смотлор, Усть-Юган и другие стали родными. И теперь я с совершенно особым интересом читаю газетные сообщения об успехах тюменских тружеников.

Вообще, я считаю, что для писателя очень важно знать свою страну как очевидцу. Когда я слышу о Магнитке, целине, КамАЗе, не говоря уже о нашей знаменитой «республике химии» — городе трех калийных комбинатов — Березниках, названия эти звучат для меня не абстрактно, я вижу их, я ощущаю себя как бы уроженцем и трудящимся тех мест. Это чувство богатит душу, наводит на высокие размышления о величии Родины, и цифры грандиозных работ рождают в душе ощущение личной причастности ко многим замечательным делам советских людей. Я как бы всегда с ними, и мой письменный стол представляется мне рабочим местом в прямом смысле этого слова.

Родной стала для меня и Тюменская область. Я воспринимаю название Тюмень не только, как имя города, но и всего края. Мне дорого все, что связано с ним.

Вот теперь я и попробую объяснить, почему свои заметки я начал со столь далекой старины, с какого-то там действительного статского советника, но хорошего поэта, пермяка Ивана Ивановича Бахтина.

На встрече с трудящимися Тобольского судоремонтного завода мне подарили книгу об этом удивительном городе.

И вот, уже будучи в Перми, я прочитал в ней то, что для другого явилось бы просто исторической мелочью, а для меня стало толчком для воспоминаний о сегодняшней жизни и работе Тюмени.

Оказалось, что в выходящем в Тобольске в 1789—1891 гг. журнале «Иртыш» своей антикрепостнической направленностью особенно выделялись произведения прокурора Ивана Ивановича Бахтина. И дело тут не в интересных для меня литературоведческих изысканиях, хотя, по-моему, Бахтин займет достойное место в истории русской журналистики.

Поведал я об этом факте лишь для того, чтобы доказать, что личное причастие писателя к любому факту уже начисто лишает его возможности (пусть и невольной) быть сторонним наблюдателем.



Любить свой край — это счастье, обязывающее служить ему всей душой, отдавать его трудовой славе все свои силы. Еще большее счастье, когда многие края твоей страны — твои не номинально, так сказать, а по душе.

Тогда и любовь к Родине будет чувством еще более действенным, глубоко личным и в то же время общественным, расширит твой гражданский кругозор, сделает тебя причастным к тому, что творит народ на необъятных просторах страны.

И я благодарен тюменскому краю, что он стал и моим, щедро дополнил мои представления о грандиозных преобразованиях, которые творят советские люди. Мои представления о Родине обрели еще более зримые черты.

Начал-то я издавека, а рассказ мой о нынешних днях, о современниках. Маршрут наш назывался «Дорога», а бригада из шести писателей именовалась «Строитель», которую руководитель наш — поэт Яков Захарович Шведов, автор знаменитой песни «Орленок», окрестил «Серебряный костыль». Название это сохранилось, недавно я увидел его в интервью с Борисом Полевым, появившемся на страницах «Литературной газеты».

Первое выступление мы провели перед строителями дороги Тюмень — Сургут. Побывали мы у рабочих головного ремонтно-восстановительного поезда № 38, в таежном Салыме, поселке Кинтус, Усть-Югане и закончили в Сургуте.

Все мои записи безнадежно устарели, все цифры, записанные мною, сейчас не имеют уже интереса.

Но стареют цифры, а люди в памяти остаются такими, какими ты их увидел хоть много лет назад.

Особенно запомнились мне два человека, чем-то очень похожих друг на друга — не внешне, а характерами и отношением к своей работе.

Меня давно привлекают люди, обладающие качествами, которые мне даже трудно сформулировать. Вообще-то для себя я эти качества приблизительно определил так: внутренняя обаятельность, не выпирающее наружу чувство достоинства и деловитость.

В мартеновском цехе Магнитогорского металлургического комбината мне бросилось в глаза, с каким именно достоинством трудятся все. Когда смотришь на их неторопливое, сосредоточенное поведение даже в самые драматические минуты (например, если вовремя не закипает сталь), улавливаешь это чувство достоинства рабочего человека, сознающего значение своего труда.

Петр Максимович Сидельников — начальник СМП-198 сразу мне понравился. Я чувствовал, что, рассказывая нам о работе его коллектива, он в то же самое время в уме решает множество производственных вопросов. И если бы только одних производителей! Забот у таких руководителей столько, что просто диву даешься, как они ухитряются помнит все это великое множество больших и маленьких дел.

Скромность, какая-то негромкость общения с людьми, даже такая особенность, как отдавать распоряжения, характерны для Сидельникова.

Временами создавалось впечатление, что все он делает на ходу, причем в поле его внимания сразу несколько объектов.

Есть такое выражение: человек не принадлежит сам себе, он — весь в делах. Это справедливое определение, но в нем не всегда учитывается одна важная деталь. Такой человек получает не только удовлетворение, но и удовольствие от подобного отношения к своим обязанностям.

Лишить человека радости труда, превратить работу только в обязанность — значит обеднить душу свою, стать добровольным рабом мелких корыстей.

Труд превращается в искусство, когда трудящийся получает от него радость.

А ведь руководить — это тоже труд и не из легких. Конечные его результаты, разумеется, выражаются в цифрах. Но цифры эти слагаются из самого драгоценного и самого сложного материала — человеческих судеб.

Деловитость руководителя заключается не в умении любыми способами заставить работать нерадивого, а воспитать в нем наше отношение к труду.

— Народ здесь разный, — сказал как-то Петр Максимович, — есть и настоящие герои, есть и... всякие. Но люди здесь очень нужны.

А его отношение к людям отличается беспредельной заботой о каждом.

Вечером, после выступления, мы сидели за ужином, вспоминали увиденное днем, как вдруг услышали, что под окном кто-то... читает стихи, глупейшие стихи о том, как, мол, вы, писатели, «пчете ситро, ездите в метро», а мы тут вынуждены пить совсем другое и вкалывать за милую душу.

Казалось бы, чего обращать внимание на подвыпившего чудака, взять да и попросить его удалиться.

Но Петр Максимович знал, что это рабочий из руководимого им коллектива, и счел своим долгом выяснить, откуда у парня такие, не соответствующие, мягко выражаясь, действительности взгляды на писательский труд и попытаться переубедить его. А, может быть, хотя это и маловероятно, Петру Максимовичу было просто неудобно перед гостями. Все оказалось не так.

Сидельников пригласил автора стихов о ситро и о метро к столу, завел с ним разговор. Но парень, с каждой минутой все более распаяясь, жаловался уже не на писателей, а на свою судьбу.

Петр Максимович терпеливо втолковывал ему, что тот не прав.

И я подумал, что не смотря на всю нелепость происходящего, нелепость, конечно, внешнюю, есть в этом особый смысл. Сидельников просто привык внимательно и заботливо, хотя и с нужной долей требовательности, относиться к людям, особенно когда они отягощены неверными думами или тяжким настроением.

А у парня было и то и другое.

Оказалось, что недавно он вышел из заключения, что-то ему там говорили про его жену или невесту, а товарищи по работе будто бы не прощают ему прошлого.

Всем сидящим за столом парень порядком надоел. Всем, кроме Петра Максимовича. Он не читал нотаций, не делал выговора, он убеждал. Ведь перед ним был живой человек, и неважно, в какой обстановке он делился своим сокровенным, может быть, завтра он, ничего не объясняя, сбежал бы со стройки.

Душевность сочетается у Сидельникова с предельной деловитостью.

Хотя и на Западе существует понятие «деловой человек», но мне кажется, что деловитость — понятие наше, советское. Не случайно мы так часто пользуемся им. И вошло оно в нашу жизнь не так уж давно. А это значит, что канули в прошлое времена громких общих фраз, времена шумихи, показухи, трескотни.

Пример делового решения всех вопросов — от производственных до международных — дает нам ЦК нашей партии.

Там, в чужих странах, деловой человек работает только для себя. Там деловитость и практицизм личной выгоды — синонимы.

Наша деловитость проистекает из чувства высокой ответственности за каждое свое слово, каждое решение, каждый поступок.

Отношение к труду, как к своей общественной, но в то же время естественной и необходимой лично для тебя потребности существует только в социалистическом обществе.

В самом деле, человек рассказывает о строительстве дороги в таких труднейших условиях столь душевно, будто легче работы не придумаешь, и делает он ее для себя.

Деловитость советского человека не имеет ничего общего, противоположна узкому и эгоистическому практицизму буржуазного делового человека, который любой ценой выжимает из человека все силы. К механизмам он куда более внимателен, они стоят денег, они — собственность.

Петр Максимович Сидельников обладает еще одним, очень ценным в моем понимании качеством — скромностью, не той скромностью, которая — серость, а та, которая свидетельствует самокритичности, внутреннего достоинства. А достоинство это рождается из глубокого, сердечного сознания важности порученного тебе дела, умения воспринимать его, как частицу общей заботы всего народа.

В поездке нашу писательскую бригаду сопровождал работник Тюменского обкома партии Михаил Анатольевич Капеко.

Невысокого роста, худенький, в очках, похожий на студента-отличника, совершенно неприметный в группе хотя бы из нескольких человек, он запомнился мне. Капеко похож на Сидельникова деловитостью, и скромностью, и внимательным отношением к людям, и личной, душевной пристрастностью ко всему, что творят люди, с которыми он связан, так ска-

зять по службе. А служба у него — воспитание людей, тех самых, которые творят трудовые чудеса.

Я всегда взглядывал на Михаила Анатольевича, когда один из начинающих авторов на каждом выступлении обращался к слушателям с такими словами:

— Вы люди из легенды, поэтому я и пишу о вас.

Капекó, я понимаю, в принципе против таких слов не возражал. Строительство железной дороги Тюмень—Сургут среди непролазных топей — работа тяжелая и героическая. Вся страна следит за ней и участвует в освоении сказочно богатого края, как когда-то весь наш народ помогал Магнитке, сейчас помогает КамАЗу...

Нуждаются ли эти беззаветные труженики в столь громких определениях, как «люди из легенды», и нет ли в нем доли эдакого писательского комплимента?

— Нет, не нуждаются, — ответил на мой вопрос Капекó, — дела они делают великие, но делить людей, трудящихся на героев из легенд или не героев... не обязательно. Другое дело — отметить, выделить самых лучших. Но не громкими словами, а признанием.

Защитил он и начинающего писателя, рассказав мне, что тот не только пишет о строителях дороги, но и сам работает с ними. Да и кто знает, может, громкие слова типа «люди из легенды» вдохновляют молодежь, вселяют в нее уверенность, что кто-нибудь из них действительно станет легендарной личностью?

В конце концов мы сошлись на том, что вопрос об этих словах, так сказать, практического значения не имеет. Но вопрос этот я запомнил и однажды задал его замечательному поэту, ныне покойному, Борису Александровичу Ручьеву. Он ответил:

— Я вообще возмущаюсь, когда рабочему классу приклеивают пусть самые красивые определения. Нет выше слов для нас, как пролетариат, рабочий, самый передовой класс. Вот что он делает, становится со временем действительно легендарным. Наша Магнитка, например. Днепрогэс... КамАЗ станет легендарным... Тюменские дела...

Слова начинающего автора я вспомнил вот еще почему. Сколько существует необходимейших профессий, люди которых вкладывают в свою работу всю душу, но вряд ли когда станут «людьми из легенды»? А работа их важна, без нее немислимы наши успехи.

Они, эти скромные труженики, не нуждаются не только в громких определениях, но даже в том, что их деятельность вообще будет выделена. Они понимают, что им скорее всего и не совершить подвига, но вся их жизнь — непрерывный подвиг, и главная их забота — готовить людей для свершения больших дел.

Знакомство с Михаилом Анатольевичем Капекó натолкнуло меня на размышления о судьбах рядовых партийных работников.

Мало мы пишем о них и не по тому, что их кропотливая деятельность не дает достаточного художественного материала, а мы, писатели, им не

владеем. Нет, тут дело, видимо, в сознании нами ответственности за качество образа партийного работника и в необычайной трудности создания яркого этого образа.

Обязанности партийного работника безграничны. Люди предъявляют к ним, проводникам идей партии, самые высокие требования, лишая их не только права на ошибки, но и на простые человеческие слабости.

Михаил Анатольевич, выслушав мои вот эти соображения, сказал:

— И все-таки плохо вы нашу работу представляете. Во всяком случае, внимания нам в ваших произведениях уделяете мало. Дело не в том, чтобы нас превозносили. Показали бы суть нашей работы. Отношение к ней. Мы ведь в самой гуще жизни.

Мне было особенно интересно разговаривать с ним, потому что с партийными работниками мы обыкновенно встречаемся в официальной обстановке, когда вопросы затрагиваются узко практические.

Здесь же, в поездке, точнее, в перелетах по Тюменской области, мы часто имели возможность поразмышлять обо всем, побеседовать, как говорится, «за жизнь».

Известна категория людей, которые любят поучать писателей: отображать надо то-то и так-то, и в качестве материала для замечательного романа предлагают свою биографию. Им и в голову не придет спросить собеседника что-нибудь о писательской работе, о ее иногда немислимых трудностях. На таких обычно не обижаешься, а иногда их и жалеешь хотя бы за отсутствие любознательности.

Напеко меня не поучал. Мы беседовали с ним о наших профессиях «на равных». Главное в его манере рассуждать, как, впрочем, и во всей его работе, — это деловитость, отсутствие громких общих фраз, скромность, причина которых — большой запас разнообразных жизненных наблюдений.

В нем живет уважение к любимому труду. Он ценит не профессии, не должности, а отношение к труду. И особенно он внимателен к тому, как отнесется руководитель к подчиненным.

Начальник одного мостопоезда, окруженный работниками кино съемочной группы, московскими корреспондентами, не очень доброжелательно отнесся к приезду неизвестных ему писателей, разговаривал с нами, как бы делая нам одолжение. К тому же он был из типа людей, которые «мы» производят в значении «я».

Но после нашего более чем двухчасового выступления он признался с нескрываемым удивлением, что оно ему понравилось. Нам его похвала была не нужна, и мы в его оценке не нуждались, ведь мы приехали не к нему, а к рабочим.

Я чувствовал, как обостренно переживал неделикатность и высокомерие этого деятеля Михаил Анатольевич. Может быть, как начальник мостопоезда, тот человек был достоин уважения, но вот уважения к людям ему явно не хватало.

— Бывают такие, — сказал Капеко, — они и о рабочих заботятся только потому, что от них зависит выполнение плана.

По-моему, над этими словами стоит задуматься. Я сразу вспомнил Петра Максимовича Сидельникова, который является прямой противоположностью таким вот руководителям, которые в человеке видят только единицу рабочей силы.

Капеко, казалось, понятия не имеет, что такое в его работе мелочь. Для него такого понятия вообще не существует.

Вот едем мы на катере-водомете по обмелевшей речке Вандрасу. Впечатление такое, что суденышко выталкивает всю воду на берега, а само скользит по дну.

Мы с Капеко разговариваем о трудностях снабжения людей в далеких поселках. Но, увидев, что вдоль рубки на веревочке вялится какая-то рыбешка, он сокрушенно замечает:

— Сколько им ни объясняют, что нельзя здешнюю рыбу есть вяленой, больная она, а вот поди ж ты...

Я даже не успевал замечать, как, появившись с нами в новом месте, Капеко быстро успевал разузнать многое: и как идет работа, и готов ли обед, и будет ли достаточное количество слушателей на нашем выступлении. И делал он все как-то именно незаметно, словно специально беспокоился о том, чтобы его заботливость о нас мы не ощущали.

В который раз, думая о нем, я вспоминал известную истину о том, что деликатность и требовательность не противоречат друг другу, как скромность — самоотверженности.

Человек не по обязанности, а уже по душевной привычке лично пристрастен к своему делу. Поэтому и работать, и жить ему интересно.

Когда нам предложили, — а мы к этому времени очень устали, — проехаться на автодрезине по неготовому участку дороги Тюмень—Сургут, которая сейчас уже длиной семьсот километров, и мы, конечно, согласились, лицо Капеко, — тут уж иначе не скажешь, — озарилось улыбкой. Ему хотелось показать то, что ему дорого, ради чего он сам живет, то, что ему самому придает сил. И жаль было, если бы мы отказались...

Да, картина была впечатляющей, может быть, самой сильной из всего, что я видел в поездке, хотя видели мы многое. Навсегда мне запомнилась эта дорга, я мечтаю побывать на ней сейчас.

По обе стороны насыпи — болота, в которых, — так и хочется сказать, — по колено в воде стоят деревья, и вот в этих топях растет железнодорожная насыпь.

Сильный ветер метет с нее песок так остервенело и упорно, что, кажется, через некоторое время от насыпи ничего не останется.

Эту дорогу теперь называют «ключом к нефти».

Михаил Анатольевич рассказывал о ней несколько даже смущенно, словно он сам задумал это грандиозное строительство, и вот как бы его рассказ не прозвучал хвастливо.

А я, слушая его, опять думал, какие силы придает человеку личная  
пристрастность к общему делу.

Впечатлений от встреч на тюменской земле у меня осталось больше  
в сердце, чем в записных книжках. Я теперь не только пермский, но и  
тюменский.

Обнаружил я даже нашего общего старинного поэта. Приведу еще одно  
его четверостишие:

Я честный человек, — ты всех так уверяешь.  
Не верят в том тебе, ты всех за то ругаешь.  
Но я даю совет: коль честным хочешь слыть,  
Не славь себя ты им, ты им старайся быть.

Пусть извинят меня за некоторую искусственность приема, но нынеш-  
ние пермяки и тюменцы согласятся с мнением пермяка-тюменца поэта  
И. И. Бахтина и делами своими доказывают, какими они стремятся быть.  
А стремятся они и уже стали достойными славы своей Родины.

г. Пермь.

## ОГРОМНАЯ ЩУКА

Шершавые руки берут Афоньку за плечи.

— Вставай, пора.

Афоньке хочется чуть-чуть понежиться на теплой постели, но что-то мешает. «Сегодня не просплю», — не то себе, не то отцу бормочет сынишка...

Отец идет широко, не слышно дыхания. Афонька семенит по его следам, спотыкаясь о кочки, поросшие осокой. Густой белесый туман расплывается по сору, сонные кулики в испуге шарахаются из-под ног. Оба садятся в колданку, отец погружает весла. Афонька понимает — шуметь нельзя. Он зорко осматривает дно, корни подводной травы, — а вдруг заметит первым щуку, огромную, с колданку. Рассказывали, что и такие здесь водятся. Вздрагивает, увидев на дне корягу, — если бы это щука! Тогда бы Афонька прыгнул за борт, ухватил ее зубастую за глаза — иначе нельзя, укусить может, перевалил бы рыбину в лодку. Это не ершей на удочку ловить. Там главное поплевать на червячка, тогда ерш быстрее схватит. Афонька их тысячу наловил, а, может, и две — не считал. А потом пройтись по поселку около этого новичка Аркашки, с ним у него особые счёты. Есть у Афоньки красивая коробочка из-под папирос «Казбек», куда он собирает бабочек. Ну и что, обязательно драться и отбирать? Может, немного Афонька и подразнил, а разве Аркашка не любит хвастать? Вот у нас на Волге яблоки растут: ешь — не хочу. Зато у нас полный лес шишек. Конечно, он сильный. Отец сказал, кто веснушчатый и курносый, тот всегда задира. Афонька несколько раз пытался сделатья веснушчатым и курносым. Вечером ложился в постель и пока не уснет, держал на подушке свой нос, заданным вверх. Утром химическим карандашом ставил себе



веснушки. Ничего не вышло, может, потому что мать увидела, отшлепала и назвала обезьяной.

— Папа, а ты в молодости был сильным?—спрашивает Афонька.

— Не знаю,— улыбается отец.

— Дедушка?

— Не помню, может, и был.

— Я думаю, никто у нас не был сильным,— грустно вздыхает сын.

— Это почему?

— Такая наша порода.

Отец перестает грести, весело смеется. «Чему смеется,— пожал плечами Афонька.— Сейчас смеется, а вчера...» И опять же из-за этого Аркашки. Как появился в классе, так от него покоя нет. Проиграл Афонька ему монету, значит, тащи для него свинцовый биток. А где свинец возьмешь? Отогнул Афонька заклепки на плавной сети—целую банку свинца набралось. Отец уехал на рыбалку. Плавными сетями по дну реки плавают, а как же она утонет без груза? Вернулся он без улова, что тут было! Не мог же тогда Афонька признаться и под горячую руку лезть. Позднее только сказал матери. Увидела она на берегу Аркашку и прижала его коромыслом к земле.

— Сейчас отдам,— задрал тот ноги,— не бейте меня!

А еще герой. И все же первым на него Афонька боится напасть. Сколько ни пытался перебороть страх, а он из кожи лезет—мурашки прыгают по всему телу. Случай с коровой не хочется вспоминать. Афонька уходил за ней на самую Белую гору к заброшенному хантыйскому кладбищу. Сначала ничего, а как увидел череп, то одна мурашка быстро-быстро забегала по затылку, а потом их целые тучи запрыгали по голове, по щекам и по спине. Вместо могил Афонька увидел полуистлевшие домики с крохотными дверцами—это так они хоронили раньше. К домикам складывали лыжи, нарты—думали, что и там они охотиться будут. Когда хоронили—резали оленя, жгли костры. Сейчас только Афонька видел черные кострища. Однажды он спросил у старика Санько, почему к кладбищу за Белой горой никто не ходит.

«Другой время пришел, другой порядка,—пояснил тот.—Халась-ики шибко сердится, пускать не терпит. Говорит—мало угощаешь Халась-ики (это у них дух охраняет могилы). Теперь Халась-ики кровь хочет. Ночью пляшет Белый гора. Шибко страшно...». До того страх на Афоньку нашел, что он боялся на горе пошевелиться. А тут вдруг что-то хрустнуло.

— Милка! Милочка!

Но Милка задрала хвост и кинулась наутек в лес.

— Это же я, ну оглянись,— не спуская с нее глаз через кусты мчался хозяин.

— Проклятая коровища, остановись же!

Большие рыбацкие сапоги с длинными голенищами взлетали над кочками, кустарником, прыгали через лужи или со шлепом падали в них. Наконец, Милка сдалась. Запыхавшийся Афонька протянул в левой руке хлеб, а правой лихорадочно нащупал в кармане веревку.

— Милочка, дуреха, это же я,— подлизывался он,— помнишь, ты еще была теленочком, а я из бутылочки тебя поил? Попробуй вот хлебушка. Но как только хлеб попал ей в рот, она снова скакнула в сторону.

— Не отпущу, хоть совсем забодай, хоть убей!— завыл Афонька, крепко ухватившись за хвост. Так он и болтался, пока не выбежали они на берег, и лес черными зубьями сомкнулся за ними. Однако он боялся опустить хвост, когда уже их встретила мать.

— Она была за Белой горой,— выдохнул Афонька и уткнулся в мягкий теплый ворс материнского полушубка.

— Ну вот еще, один в лесу не плакал, а сейчас о ком рэветь,— успокаивала мать, целуя Афонькин нос.

— Да я просто так,— всхлипывал Афонька,— у полушубка мех щекотный, в глаза лезет.

...Вот шевельнулась трава, что-то блеснуло и скрылось в тени.

— Сорвалось,— без всякого сожаления говорит отец.— Пора домой, на работу бы не опоздать.

Конечно, ему что щука,— так, побаловаться, когда он сетями ловит осетра и нельму.

Солнце припекает затылок, Афонька лежит вниз животом на отцовском полушубке. «Зачем эту работу придумали»,— думает он, едва сдерживая слезы. От мягкого покачивания у него слипаются веки. Круги на месте упавшей блесны становятся все больше и больше. Вот они превратились в волны. Со дна выпрыгивает щука, та самая, которую хотел Афонька. «Вот же она, вот!»— обрадованно кричит он отцу. Но щука вдруг сама перелезает в колданку, крепко обхватывает Афоньку, горячо дышит в лицо...

— Мать, а мать? Принимай улов.

— Не солить же мне их,— отзывается она из-за дверей.

— Ладно, ладно, эту не будешь.

Увидев на руках спящего Афоньку, мать всплескивает руками и поспешно готовит постель.

НИКОЛАЙ НЕДОВЕЖКИН

## ХРАБРЫЙ ЛЕБЕДЬ

РАССКАЗ-БЫЛЬ

Сгушая на деревьях краски, осень щедро бросала по линиям тайге рдеющие пятна. Среди пожелтевших берез красным пламенем вспыхивали осины. На обмелевших илистых берегах пойменных речек в поисках корма копошатся утки, казарки и другие птицы. Затабунилась шилохвость, свиязь, чирок и голубая чернеть. Шло хлопотливое приготовление птичьего мира к далекому перелету. За компанию с ними сытой походкой беззаботно расхаживают по берегу орлы.

Необозримо разноцветное море тайги — летишь и, кажется, нет предела сказочному простору Приобья.

Наша экспедиция завершала работу по гравиметрической съемке на гидросамолете АН-2В. Приходилось делать по несколько посадок в день на глухих таежных озерах в верховьях реки Большой Юган. В один из маршрутных полетов мы подлетели к огромному озеру Источное. С воздуха оно выглядело восьмеркой, вытянутой с юга на север и соединялось узким, как ручей, перешейком. Северная половина озера с торфяными берегами и мутной водой казалась мрачной. Зато южная часть радовала глаз пологим песчаным берегом, поросшим камышом, и окружена хвойным лесом. Вода здесь прозрачная, местами устлана разлапчатыми листьями желтых кубышек. Отсюда же вытекала маленькая речушка. Она косо укрادкой нырнула в берег и незаметно спряталась в лесной чащобе.

Делая последний круг, чтобы выбрать место, где можно безопаснее подрулить и удобнее выбраться на берег, я увидел лебедя с выводком, отплывавших от острова на середину озера.

Сбавив обороты мотора, я пошел на посадку с расчетом закончить пробег там, где находились лебеди. Машина мягко заскользи-

ла по гладкой поверхности. Разбрызгивая назад воду, остановилась подле птиц.

— Смотри, смотри!..— закричал топограф, обращаясь к сидящим в пассажирской. Студент-практикант втиснулся в кабину и, не понимая причину возбужденного крика, растерянно смотрел на нас.

— Лебеди слева, разве не видишь?— показал рукой второй пилот.

Лебеди торопливо отплывали, пугливо поворачивали головы в сторону самолета. Я включил реверс.\* Винт, вращаясь вхолостую, прекратил движение машины, и мы с любопытством стали рассматривать редких птиц.

Я уже хотел увеличить газ и рулить к берегу, как вдруг заметил, что слева от машины над самой водой, забористо махая крыльями, к нам приближался крупный лебедь-кликун. Он полукругом облетел самолет, в спешке неуклюже плюхнулся на воду, повернулся к нам грудью, по-змеиному изгибая шею, стал взмахивать крыльями, разевать клюв и рывками подвигаться к машине. Но, видимо, шум мотора пугал его — подступал он медленно.

Меня начала беспокоить отчаянная смелость птицы. Кто знает, какие у нее намерения: подлетит под работающий винт — не успеешь выключить мотор, полетят перья от лебедя и щепки от тонких лопастей винта.

Дал команду опустить водяные рули и задним ходом решил уйти от греха подальше, к берегу.

На суше все занялись своими делами: рабочий стал обрубать с деревьев сучья, операторы возились с приборами. Зная, что они долго будут настраивать свои капризные машинки, я решил побродить около озера. Переобулся в резиновые сапоги, взял бинокль, «малопульку» и пошел к острову.

По берегам, наклонно к воде, росли искривленные березы. Ветви их почти касались воды и бросали узорчатую тень в озеро. На дне лежали почерневшие, с облезлой корой, отжившие сосны. На холмах попадались выбеленные временем зубастые черепа крупных щук. Тут же — кучи выдранного моха и сухой медвежий помет, усеянный семенами ягод.

Ранние ягоды давно осыпались, лишь изредка в тени лесной поросли попадалась на глаза сморщенная бледно-желтая морошка. Зато ноги ступали среди сплошной россыпи кровавой переспелой брусники.

---

\* Реверс — механизм, изменяющий направление движения гидросамолета в обратную сторону.

Вскоре я поравнялся с островом и остановился против лебедей. На берег не вышел, а сел на поваленную буреломом, обросшую зеленым мохом сухую сосну. Рядом с лесиной возвышался с добрую копну старый муравейник из песка с ровной прической из сухой хвои. Большие рыжие муравьи беспрерывно сновали по сучьям, и узкими нитями тропинок возвышались к своему жилью.

За вывернутыми мохрастыми корнями сосны мне хорошо было видно, что делалось на озере.

Лебеди всей семьей плавали на середине озера. Старые усталились друг на друга, громко кричали. Один поворачивал голову, наклонял ее в сторону, вниз, сердито откидывал назад. Было похоже, что супруга за какую-то птичью провинность крепко отчитывала хозяина. Может, за то, что оставил ее одну с малышами в такой момент, когда над головой был страшный шум и зеленое чудовище уселось рядом. До меня отчетливо доносились их трубные голоса. Не отрываясь, я любовался развернувшейся передо мной редкой таежной картиной.

Наконец, супружеская перебранка утихла, но, как мне показалось, поведение птиц стало явно тревожным.

В самом узком месте озера, сплошь заросшем травой, начал кружиться орлан-белохвост. Он временами зависал на одном месте, круто падал вниз, стараясь, видимо, что-то схватить, но густая трава хорошо прятала жертву. Покружившись немного и, вероятно, совсем потеряв добычу, он не спеша грузно пролетел невдалеке от меня в сторону лебедей. Весь его вкрадчивый полет, звериная оглядка и темный силуэт с белым подхвостьем предвещали недоброе.

Завидев орлана, лебеди как-то особенно беспокойно переключились. Молодые, прижавшись друг к другу, слились в один серый комок. Старые быстро подплыли к ним. Подлетая, орлан стал кружиться над лебедями, постепенно снижаясь. Один из старых лебедей, оседая на хвост, как простынями замахал крыльями, изгибая кольцом длинную шею. Лебедята, пригнув головы к воде, не шевелились. Я уже приготовился бежать к воде и выстрелить в орлана, но решил, что старый лебедь не даст в обиду малышей.

Что ему орлан, если перед самолетом не струсил!

Хищник продолжал кружиться и, ловко делая развороты, старался уловить какой-то нужный ему момент. Но сам, видно, тоже боялся попасть под удар сильного противника. При каждом приближении орла лебеди поднимали гвалт, прикрывая собой малышей. В суматохе один лебеденок почему-то оказался впереди семьи. Орлан, выпустив лапы, бросился к нему.

В тот же миг старый лебедь стремительно метнулся вперед и ударом крыла свалил орлана в воду. Панический крик лебедей

смешался с хлопанием крыльев. В стороны разлетались брызги воды, черные и белые перья.

Самка в это время отплыла с лебедями в сторону от места побоища.

Орлан, вцепившись клювом в крыло лебедя, норовил на него взобраться, а лебедь, сиюсь оторваться, волочил его по озеру. Он то поднимал орлана как мокрую тряпку, то окунал его в воду. Лебедь, находясь в родной стихии, оказался намного сильнее коварного хищника. Все чаще раздавались его удары по спине противника.

Наконец, силы покинули орла. Он беспомощно распластал на воде крылья, откинул назад голову с пучком белых перьев в клюве, злобно вертел ею, следя за каждым движением лебедя. Но лебедь не отступал от него. Быстро описывая вокруг орлана виражи, он со всего размаху бил его крылом, нещадно долбил клювом спину.

Расправившись с орланом, лебедь звонко огласил криком озеро и гордо поплыл к выводку. Изредка оглядываясь на поверженного врага, он поправил на себе взъерошенные перья и скрылся за островом.

Довольный исходом поединка, я берегом пошел к самолету. По дороге я не переставал думать об этой таежной схватке. Как все же велика у лебедя любовь к потомству. Она оказалась сильнее страха и вселила в него храбрость.

Когда я рассказал ребятам о том, что видел, второй пилот Вася загорелся желанием привезти орлана. Он быстро накачал воздухом резиновую лодку и заработал веслами. Рабочий-ханты Егор, бросая ему веревку, предупредил, чтобы он не брал орла в лодку: тот может запустить когти в резину и выпустить воздух.

Вскоре Вася привез завернутого в чехол орлана. Тот был весь до единого перышка мокрый и неподавал признаков жизни.

— А ты не пристукнул его веслом?—спросил я Васю.

— Не-е-т!.. Наоборот, хотел живого привезти, смущенно ответил он,— когда я подплыл, он уже доходил, пузыри пускал, голова в воде была.

На берегу мы осмотрели орлана: маховые перья на крыльях были поломаны. Одно крыло завернуто, на оголенной спине от ударов образовались темные кровавые подтеки.

Егор покачал головой и кратко изрек: «Отвоевался!» Потом он вынул из кармана два гвоздя, подбросил их на ладони и на стесе сосны, рядом с металлической биркой распыл за крылья разбойника.

Так рухнуло орлиное царство на озере Источном.

Все кругом объято безмолвием, только изредка доносился победный крик храброго лебедя.

АНАТОЛИЙ ОМЕЛЬЧУК

## НАДЕЖДА НА ВСТРЕЧУ

*Рассказ*

За оконным стеклом долго и причудливо падал желтый лист.

— Поезд мой отходит в шесть, — сказал Сергей Павлович. — К этому времени у тебя будет готово?

Маша опустила глаза на чертеж.

— Да.

Сергей Павлович отметил про себя, что голос ее звучит твердо, будто она приняла значительное решение. У нее открытый голос, если вслушаться в интонации, подумаешь, что в ее жизни все важно и не бывает пустяков.

— Давай договоримся так. — Он помедлил: мысль пришла к нему лишь сейчас, и в ней могло быть что-то предосудительное. Сергей Павлович постарался говорить равнодушно. — Мне нужно сейчас уходить, в отдел я уже не зайду — ты принеси чертеж прямо к поезду. Это не обременительно?

— Я принесу.

— Будем считать наше свидание деловым, — закончил он с улыбкой. Она не подняла глаз от чертежа.

В этом непритязательном разговоре была преодолена масса неловкостей, которые были заметны только ему и, возможно, ей.

Как всегда, перед отъездом скапливалась куча неотложных дел — однако из дома он вышел на час раньше: по привычке не надеялся на транспорт. Однако лихой грузин подкатил автобус вовремя, и Сергей Павлович оказался на вокзале раньше, чем предполагал. Командировка ему предстояла недолгая, но выходил он из автобуса с чувством раскованности, уже не обремененной текущей мелочной деятельностью.

Скромное здание вокзала словно стояло на пороге сегодняшних забот и завтрашней свободы.

Сергей Павлович не сразу заметил Машу. Она выбрала незаметный

типичок между вокзалом и какой-то глухой постройкой. Она была неприемтна, невысокая, скромная, в стареньком пальто. Наверное, Маша давно заметила Сергея Павловича, но выжидала, когда он ее обнаружит.

В ее фигуре, в ее позе он отметил и независимость, и робость одновременно. Его всегда смущала и озадачивала эта двойственность. Глядя на нее, сейчас он мог предположить, что она ждет его с нетерпением и радостью и придает значение этой встрече. Но одновременно в ее ожидании можно было уловить нарядность и настороженность. Какой-то неуловимый переход (в чем?— в глазах, улыбке, позе) и он уже видел просто чертежницу, которую начальник отдела заставил принести к поезду спешные чертежи.

Направляясь к ней, издали помахав рукой, Сергей Павлович подумал:

— Как провести границу — что делает и думает сам человек, и что приписываем мы ему?

Маша была молчаливица. В последнее время ему все труднее становилось разгадывать ее невысказанные слова. Что действительно думала она, а что предполагал за нее он? Как всякая неопределенность, — это было мучительно.

— Я успела, — сказала Маша, улыбнувшись, протягивая рулончик чертежа.

— Давно ждешь?

— Нет. Только что пришла.

— Спасибо, — произнес он. И, предвидя неизбежную паузу; повторил. — Выручаешь, большое спасибо.

Сергей Павлович не предполагал, что у него останется такой большой кусок времени на прощание. Вечно спешешь, не успеваешь, прибегаешь в последнюю минуту. «Принесла? Молодец! Большое спасибо. До свидания. Не теряйте своего начальника».

А здесь почти пятьдесят минут свободного и какого-то пустого времени.

Разговор был исчерпан. Маше осталось только попрощаться и повернуть к автобусной стоянке. Он уже ощущал, как она — с чуть заметным вздохом — произнесет свое «до свиданья».

— Ты прямо с работы, — сказал он. — Давай-ка зайдем в ресторан. Ты перекусишь, а я выпью шампанского на дорожку. Время терпит.

Он сказал это как бы мимоходом, как можно свободнее, чтобы она не поняла, что он просит ее, а не приказывает.

Сергей Павлович сделал шаг в сторону привокзального ресторана, чтобы у нее не осталось времени отказаться. На миг ему почудилось, что он идет один, а она не сделала шага и стоит на месте. Эта секунда была мучительна. Он чуть повернул голову и увидел, что она идет рядом.

... Если бы Сергея Павловича спросили, как долго они работают вместе, то, пожалуй, ему не ответить точно. Чертежницы в отдел приходили и уходили, не задерживаясь подолгу, чаще всего они были юны, недавно из школы, свежи, хороши в своей свежести. Кто-то из них делал работу,



хорошо, кто-то хуже. Как получилось, что эта молчаливая девочка, приехавшая из какого-то поселка поступать в вуз и не поступившая, задержалась в их отделе, он не смог объяснить. К ней так привыкли, что считали ветераном, хотя ей еще не исполнилось и двадцати.

Но он мог точно сказать, когда впервые заметил ее. Отметил, выделил. Был конец квартала. Заканчивалась срочная работа. Они трудились без выходных. Машу не предупредили на воскресенье, и Сергею Павловичу пришлось по дороге на работу зайти к ней в общежитие.

Она жила одна в просторной комнате. Может, Маша и удивилась неожиданному визиту, но не выразила своего изумления. Только глаза ее как-то затеплились. Он вошел в комнату, а она села на стул, на котором сидела до его прихода. Комната была просторна, но как-то неживлена, несмотря на порядок и чистоту. Как будто Маша считала ее временным пристанищем и не хотела тратить себя на уют. На подоконнике негромко скрипел проигрыватель. Но музыка звучала как-то отдельно.

В эти несколько секунд перед тем, как попросить придти ее на работу, Сергей Павлович с неосознанной до сих пор ясностью увидел ее. Его поразила атмосфера одиночества ее жизни. Он не знал, есть ли у нее родители, сирота ли она, но понял, что росла она среди непонимания, что сердце ее сжато. Она трудно сходится с людьми, подруг не нашла, а кавалеров чурается.

Наверное, она постоянно была одинока — в семье, в школе, на работе, и в этой убранной, но не обжитой комнате. Везде ее тяготит нецелительная молодости ноша одиночества. В глазах ее он уловил этот постоянный двойственный оттенок — желание сочувствия и предупреждающую твердость. Она хотела бы пойти навстречу, но боялась, что ее снова не поймут. Ее душа была создана для большого и глубокого чувства, но до сих пор не нашла отклика, и это замкнуло ее. В этой душе скопилось столь негражданской нежности, что она уже должна была угнетать ее.

Ее руки, большие, красноватые не девичьи ладони, лежали на столе. Наверное, это были руки работающей жены и заботливой матери. Нетрудно было понять, что она создана не для себя, а для того, кого полюбит, кому обживет уютные комнаты, отдаст тепло своей нежности. Сейчас же она стеснялась жить для одной себя. А до сих пор никто не встретился на пути ее сердца, это томило и мучило ее.

Видимо, это было не внезапное прозрение для Сергея Павловича. Незаметно для себя он думал о ней, что-то подмечая и осмысливая, а столкнувшись с ее одиночеством, осознал четко.

В этот миг его сердце расположилось к ней.

... В неярком ресторанчике было полупусто. Небрежные официантки толпились у ширмы перед кухней. Сергей Павлович и Маша сели у окна, откуда открывался вид на суетливый перрон и грязные пути. Официантка подошла быстро, как это умеют в дорожных ресторанах. Сергей Павлович попросил шампанского и что-нибудь поесть на скорую руку. Пока они усаживались, смотрели в окно и в меню, их отношения были запол-

нены. Но он с мимолетным ужасом ждал той минуты, когда они останутся наедине. Не то, чтобы он не нашел или не имел, что сказать ей. Сергей Павлович просто не мог позволить себе многое говорить, а это создавало ощущение, что вообще нечего говорить.

Маша сидела настроженная и покорная, сложив руки на коленях. Над этой чуть понурой девочкой хотелось сжалиться, но что-то было в ней выпрямляющее, что сразу предупреждало жалость.

В разговорах с Машей Сергей Павлович всегда старался придать своему голосу оттенок равнодушия, нейтральности, чтобы не привлечь ее внимания. Два неясных чувства боролись в нем: наверное, он хотел, чтобы она полюбила его, и страшился, что это может произойти.

Сейчас ему захотелось, чтобы она почувствовала... Что могла почувствовать эта одинокая девочка в его голосе? Поддержку.

— Конечно, это не ресторанный разговор, и не беседа на дороге, — начал он, чувствуя в своем голосе виновность, но не стараясь избежать ее. — Но как-то у нас все времени не выдавалось.

Маша подняла на него глаза, и он заметил, что она хочет его приободрить.

Это всегда был самый трудный момент, когда он видел эти живые, слишком выразительные и какие-то беспомощные глаза, а нужно было сохранять спокойную деловитость.

— В последнее время я начинаю думать, что у тебя... ну, что ли, жизнь не удастся. Это верно?

Маша не ответила, и Сергей Павлович пояснил:

— Нет, внешне все обстоит нормально, но — у тебя нет такого ощущения, что вот уже несколько лет ты живешь как бы на пороге? То, что происходит сегодня, тебя не то что не интересует, а просто не главное. Но тебе кажется, что однажды — волшебным образом — все изменится: появятся подруги, друзья. Появится человек, который поймет тебя и станет близок.

Маша не ответила снова, но в осторожном ее взгляде он уловил горькую признательность.

— Но «волшебным образом» не бывает. Нас окружает не сказка, а быт.

... После визита в общежитие Сергей Павлович стал внимательнее присматриваться к Маше. Он был начальником отдела, под его началом работало несколько инженеров и группа чертежниц. Женщины, с которыми была вынуждена общаться Маша, были обеспеченные мужние жены и легкомысленные телефонные барышни. Вряд ли можно было говорить, что Маша держится от них особняком, но то, что так жарко волновало их, не особенно интересовало ее, а они, слишком занятые собой, не принимали участия в ее судьбе, Маша была добросовестна, исполнительна, ее не обижали и не замечали.

Но за сдержанностью природы проскользывала самостоятельность и сила нераскрывшихся чувств.

Все служебные отношения у Сергея Павловича с ней заканчивались на нескольких распоряжениях в течение дня. Сделать то, сделать так, сдать к такому-то сроку.

Отношения эти почти не изменились. Только в распоряжениях прибавились предложения: «Если это тебя не затруднит», «Это можно оставить на завтра, отдохни», «Почему у тебя грустный вид — кто тебя расстроил?», «В местном есть турпутевки — куда не хочешь съездить?», «Ну-ка проверим, как расширяют свой кругозор наши сотрудники: что ты в последнее время читала?»

Сергей Павлович хотел, чтобы это получилось неназойливо, но, видимо, не всегда все происходило ловко, но это сознавал только он сам и, возможно, она.

Что еще мог предложить он ей, тридцатитрехлетний преданный муж и любящий отец?

Он боялся не своей заботы о ней, а ее благодарного ответного чувства.

Однажды в отделе была пирушка по какому-то торжественному поводу, шумная складчина после работы. Где-то раздобыли магнитофон, гитару, пели и танцевали. На этом вечере Сергей Павлович впервые услышал, как Маша смеется. Она сидела в кругу подвыпивших девушек-чертежниц. Это был легкий, заразительный, свободный смех счастливого человека. Он не знал, что ее так развеселило, но мимолетно разгадывая ее, пережил приступ ревности. Он знал, что она бы могла смеяться так счастливо с ним... Но этого не произойдет никогда.

Он был ровен, доброжелателен, заботлив, чтобы это не бросалось в глаза, но не мог шагнуть дальше. Эта девочка за долгие годы своего одиночества заслуживала счастья, но чистого и безудержного. Он же мог придти к ней только через разрыв с женой и детьми, которых уважал и любил, через недоброту. Недоброту — вот самое верное слово, — которую она бы не приняла и которая омрачила бы ее счастье.

Теперь он остерегался лишь одного, чтобы не смутить ее. Чтобы она внимательным своим сердцем не почувствовала его расположения.

Во всех этих хитростях было что-то по-юношески платоническое, столь очевидно не мужское, что он порой задумывался, с ним ли все это происходит. Роман этот был неясен и невыявлен, но ему казалось, что их связывают очень давние крепкие узы.

Официантка принесла шампанского.

— Выпьешь немного? — спросил Сергей Павлович.

— Немного выпью.

— Надо бы тост произнести, — он повертел бокал за ножку, — но я неважный тамада. Если ты позволишь, я выпью за тебя... Позволишь?

Она не сумела произнести «нет».

— Мне продолжить? — спросил он, выпив.

Маша кивнула.

— Если я хоть чуточку разбираюсь в людях, ты замкнута, и замкнута на себя. Все, что ты переживаешь, не проявляется наружно. Как бы это попонятней выразиться? Все твои личные грозы разряжаются в твоём сердце. У тебя, как ты мне сама говорила, не было понимания с матерью, отцу было не до тебя, старшая сестра тоже была далека от твоих интересов. Поэтому с детства ты трудно сходилась с людьми, и с годами, мне думается, в тебе вызрело чувство, что тебя вообще никто не поймет. Были, конечно, робкие попытки контактов, но ты острее переживала разочарования в дружбе, поэтому и произошли эти страшные ножницы — твоё сердце тянулось к другим, но не находило отклика. Так оно и замкнулось на себя.

Маша держала бокал перед лицом, Сергей Павлович видел только её черные напряженные глаза.

— В этом, что я говорю, есть хоть доля истины?

— Есть.

В её голосе странно смешивались признательность и упрек. Она просила, чтобы он рассказывал о ней, и боялась, что он много знает.

— Если уж я привлек к душевным движениям электричество, — выпитое шампанское придало ему смелости, — то закончу: при замыкании что-то должно перегореть. У людей же нет предохранительных пробок. Отсюда следует — человеческое сердце замыкается только на драму. Но это теоретическая часть. Странное дело. Я нечаянно подслушал твой смех. Надеюсь, ты меня простишь. Ты мало смеешься и редко, но когда я его услышал, то понял — ты живешь накануне счастья. В тебе нет разочарованности. Мне думается, та скорлупа скованности, сдержанности душевной, одиночества, она не только мешала тебе, но и защищала твоё юное нерастраченное сердце. Мне думается, что эта скорлупа скоро и естественно должна отпасть.

Он помолчал и добавил:

— Можно только позавидовать тому шалопаю, на которого прорвется эта плотина чувств.

Он сам услышал в своём голосе привкус горечи.

— Понимаешь, какая вещь. Ты слушаешь и думаешь, что главное я припас на конец. Какой-то всеобъемлющий совет. Но я не знаю, что тебе посоветовать. И главное, я уже сказал. Ты немного растерялась от себя, иногда тебе начинает казаться, что жизнь у тебя не складывается, ты теряешь надежду. Единственное, что я могу тебе посоветовать — эту надежду не терять. Счастье, оно всегда очень не похожее, и ты не очень расстраивайся, если оно будет непохоже на удовольствие Марии Ивановны.

...Локомотив прокричал первый раз. Маша стояла на перроне, а Сергей Павлович опустил окно купе. Наверное, уже стоило отослать её, он боялся, что-то может расстроиться в том хрупком положении, которое сложилось у них за последние минуты.

Словно на выручку, перед окном возник не вполне трезвый Еремеев.

— Серж! — завопил он. — В столицу?

— Привет, старина. В белокаменную.

Отойдя чуть в сторону, Маша теперь глядела на него. Наверное, она была чуть пьяна и не могла совсем осознать, как много могут говорить ее слишком выразительные глаза. Может быть, и на него подействовало шампанское, но он увидел в них откровенное и искреннее признание. Бескорыстная, преданная и беззаветная любовь. Лучились в этом взгляде. Боясь поверить, боясь, что и его могут выдать глаза, он отвел свой взгляд.

— Серж, значит, пару галстучков, не забудешь, — твердил Еремеев. Магази́нчик на Горького.

Маша бесстрашно не опускала глаз.

Сергей Павлович махал рукой и от него уплывало откровенное желание любви, живущее в ее взгляде.

Сергей Павлович долго не закрывал окна и смотрел на мелькающие желтеющие рощи. Ее глаза, полные признательности, нежности, летели за стеклами, и ему хотелось верить, что он не ошибся. Он осознавал твердо, что существование его внешне не изменится, но понимал, что жизнь, когда он уже ничего от нее не ожидал, преподнесла ему такой подарок, что жить, как прежде, устроено и безмятежно, нельзя.

Когда он был юношей, то писал стихи, но потом разучился, слагалось что-то вялое и унылое, и он бросил. Сейчас он смотрел в темнеющее окно и произносил раздельно, так, когда не знаешь следующего слова:

— Разлука — надежда на встречу.

Больше у него ничего не получалось, как он ни бился.

— Разлука — надежда на встречу, — произносил он размеренно.

Ему хотелось, чтобы написалось большое и прочувствованное стихотворение. Но оно не выходило. Он произнес несколько раз единственную строчку и вдруг понял, что это и есть целое стихотворение.

ВИКТОР ХМЕЛЕВ

## РЯДОВОЕ ДЕЛО

Рассказ

### 1 ПОТЕРПЕВШАЯ.

Список вызванных на сегодня кажется бесконечным. Один, два, три... тринадцать человек. Как не похвалить стажера? Постарался Саша.

В коридоре раздается четкий стук каблучков.

Кто-то уже идет. Я пододвинул к себе стопку дел. Которое понадобится?

Девушка с фигурой манекенщицы. Веселое, смазливое личико окружено густыми рыжими волосами, спускающимися до плеч. Волосы наверняка крашеные.

— Доброе утро, товарищ детектив, — с улыбкой сказала вошедшая.

Признаться, такого фамильярного обращения я не ожидал и пока решил, не установить ли между нами известную дистанцию, приличествующую деловой обстановке, девушка продолжала тем же беспечным голосом:

— Я по вызову. Только в повестке указано: одиннадцать часов. А я не могу. У меня в это время экзамен. Отпустите, пожалуйста, раньше. Это можно? — Она все еще держалась за дверную ручку, но глазами уже искала стул.

— Экзамен — причина уважительная, — посочувствовал я. Проходите.

— Модерновая мебелировка, — удовлетворенно констатировала незнакомка, оглядев мебель в кабинете. Со стульев, обитых зеленой буклированной тканью, и железного шкафа в углу она быстро перевела взгляд на меня.

— А я вас представляла другим...

Глядела она прямо вызывающе.

«Девушка-холерик, — решил я. — В компании такие добровольно бе-

рут на себя обязанности массовиков-затейников. Незаменяемые свидетели с их почти фотографической памятью».

...— То есть не вас, а следователя вообще, — поправилась она. — Знаете, с такой беспощадной суровостью... Тут лицо ее, изображая эту суровость, стало строгим. Она рассмеялась: — А вы такой, как пипут в этих... детективных штучках: с умными усталыми глазами. — Девушка произнесла последнюю фразу медленно, подчеркивая каждое слово, и снова рассмеялась: — Да-да! Не верите?

Чем-то она все-таки подкупала. Может, своей непосредственностью? Способностью к живому общению?

В списке значилось, что на одиннадцать часов вызвана Наталья Задонская, Отрекомендовалась и сама девушка, протянув руку с длинными светлоотлакированными ногтями. Пожатие ее было уверенным, крепким по-мужски.

— Если хотите, просто Ната, — добавила она и села.

«Потерпевшая. Студентка университета», — понял я. Выщелкнул стерженок авторучки. Приготовился слушать и записывать.

— Представляете! — Задонская слегка подалась ко мне, в ее красивых серо-зеленых глазах опять появились веселые искорки. — Впервые в жизни села на мель. Ни копейки за душой. Старуха смотрела прямо как на врага: «Когда за квартиру платить будешь, жиличка?» Поверьте, Ираида Ивановна, говорю, нет денег вот нисколько. Задержали что-то мои с переводом. Ведь Камилла задерживает, вы же ей ничего! «Тебя не касается!» — Голос девушки мгновенно почерствел, в нем явственно обозначилось чужеродное, видимо, хозяйкино раздражение. — Ужасно грубая старуха.

Вблизи заметно, что на верхние веки Задонской наложен серебристо-голубой тон. Современная девушка.

— Пришлось продать кофточку, — призналась она. — Ну, расплатилась, чтоб с квартиры не вытурили, звоню своим. Спрашиваю у мамули: в дотации отказали, да? Голодной смертью умирать? Мамуля, конечно, переполошилась. Что такое? И вот, представьте, оказывается, перевод давно выслан. Да, да. А я не получала. Вы понимаете? — Девушка явно напрашивалась на сочувствие.

— Понимаю, — сказал я.

В кабинет без стука вошел новый посетитель — молодой чернобрый парень.

— Пока побудьте в коридоре. Я занят.

— Но вы же вызывали к девяти, — возразил парень, протягивая повестку.

— Человек торопится на экзамен, — миролюбиво объяснил я, — давайте отпустим. Не возражаете?

— Я, может, тоже тороплюсь, — пробормотал парень и только тут взглянул на Задонскую.

— Если молодой человек настаивает, я могу... — она приподнялась.

— Да нет уж... — сдался парень. — Даме полагается уступить.

Задонская проводила его взглядом до двери.

— Тогда, как заправский следователь, — продолжила она, показывая, что засучивает рукава, — принимаюсь за следствие. Первым делом — на почту. А злость!.. Ну, сейчас, думаю, в жалобную книгу такое напишу! Такое!.. Начальник почты, толстячок, покопался в бумагах. Важничает: «Это самое. Э-э.. Верно. Пришел перевод». Фу! — помахала она рукой, шутливо отдуваясь. — Пропала охота жаловаться. Так выдавайте скорее, прошу, и делу конец! «Мы, гражданочка, это самое... дважды не выдаем!» Как дважды? Уже выдан? А кому... Задонской? Да поймите, говорю, Задонская перед вами. Это я! И вот мой паспорт. Этих денег я не по-лу-ча-ла! Посмотрел и возвращает: «По нему и выдан». Разрешите, говорю, взглянуть.

Взяв со стола конверт, я достал извещение о переводе. На лице Задонской появилось удивление.

— А оно уже здесь?! Быстро!.. Ух и взялся за меня начальник: «Да будет вам известно, выемка корреспонденции производится только с санкции прокурора. Это еще требуется доказать, что вы не получали! И, между прочим, на двери читать надо: «Вход посторонним запрещен!». Казалось, я слышал чеканную сухую речь рассерженного администратора. — Я еще и почтальонцу разыскала, — вдруг вспомнила она. — Почему, спрашиваю, извещения не было? А она глаза круглые как вытаращит, да как закричит: «Ах, не было? Посадить надумала?.. Беги скорее в милицию, беги... Да я тебя сама затаскаю! Ишь, грамотная выискалась!» — девушка уперла руки в бока, задрала голову, и кабинет заполонила скороговорка почтальонищи.

— Ну вот, на этом мое следствие и закончилось, — простодушно созналась она. — Разберитесь, пожалуйста: кто прав? кто виноват? А денег, правда, не получала. Честное пионерское!

Я задал несколько вопросов. Задонская отвечала без запинки, не размышляя и не задумываясь. Живем вдвоем с Камиллой Гуревич. Кто она? Студентка музыкального училища. Кто в доме еще? Одно женское сословье: они да старуха Ираида Ивановна, хозяйка.

— Не вздумайте назвать бабушкой, — предостерегла Задонская. — Ох, и психанет!

— А раньше переводы приходили на этот же адрес? Недоразумений не было?

— Да, туда. Да, не было.

Дверь снова открылась. Вошел Саша Семенов, симпатичный молодой практикант с безукоризненной военной выправкой.

— Дом на замке, — четко доложил Саша. — Повестку оставил у соседки.

У меня Саша всего третий день, и я очень доволен расторопностью помощника. Подойдя к своему столу, Саша с озабоченным видом принялся подшивать дело, но, взглянув на Задонскую, озадаченно заморгал глазами.



— Камилла Гуревич ваша подруга? — спросил я Задонскую.

— Нет, что вы! — удивилась девушка. — Просто мы случайно оказались вместе. Она с прошлого лета живет. А я с зимы. Да и вообще... она вздохнула. — Знаете, как у девчонок? Ну, прибежишь из университета, поболтать с кем-то хочется, поделиться, а Камилла все больше молчит. Все дует на что-то. Но со старухой у них взаимная симпатия. Чаевничают вместе, а меня даже и не пригласят. В общем, девица себе на уме. Это точно.

— А вы ее не подозреваете?

— В чем?

— В этом самом.

— Воровстве? — «Модные» глаза Задонской округлились. — Как-то даже не подумала. Правда, а кто же тогда взял паспорт? Он всегда в сумочке на стене... И, заметьте, паспорт как был, так и остался.

С минуту размышляла, оттопырив нижнюю губу:

— Сидит вечно без денег, стипендию не получает... — И решительно отрезала: — Нет, не знаю.

Саша смотрел на Задонскую во все глаза, как на диковинку. Я сделал незаметный знак: не смущай, мол, девушку! Но мой помощник никак не отреагировал.

— Да тут целая швейная мастерская! — воскликнула Задонская, увидев в его руках толстую иголку с ниткой, и добавила, явно кокетничая: — Интересно, юноша, какой шов у вас в моде?

— Любой, — отпарировал Саша. — Лишь бы не было шито белыми нитками.

Задонская оценила ответ и рассмеялась.

— Саша, — сказал я, — даю тебе поручение. Возьми у девушки образец почерка. Продиктуй что-нибудь на вольную тему. — Я повернулся к Задонской: — Вы не против?

— Почему против? Пожалуйста, сколько угодно. На почте говорят: «Требуется доказать»... Вот и докажем, что не мой почерк. Пожалуйста сверяйте сколько угодно вашей душе.

Пока Саша брал образец почерка, я закончил писать протокол.

— Бог с ними, с деньгами, — доверительно произнесла Задонская, подписывая показания. — Презренный металл! Но все-таки, кто это мог? Кому надо? Еще здесь?... Но, если это моя соседка... И здесь? О, писать научись... Если это она!.. Знаете, верх подлости!

Перед тем, как направиться к двери, Задонская сказала:

— У меня к вам просьба: поговорите, если не трудно, с хозяйкой. Сейчас экзамены, а старухе — никакого дела. Вчера вещи чуть не повыбрасывала. Не по нраву, видите ли, прищлась. А чего? Мальчишки не ходят. Допоздна не задерживаюсь...

Я обещал, тем более, что встреча с хозяйкой непременно должна состояться. Разъяснил попутно, что все конфликтные вопросы о выселении решает суд.

— А когда дело прояснится? — поинтересовалась Задонская. — Не скоро?

— Как только будет готово заключение экспертизы. — Не позже пятницы.

— Ловлю на слове! — Она взглянула на свои часики. — В пятницу ровно в десять утра я приду. Имейте в виду! — И погрозила пальчиком. — Попробуйте не сдерживать обещания.

— Ни пуха, ни пера! — Вдруг оторвался от дела Саша.

— Простите, к черту... — небрежно ответила ему Задонская и опять повернулась ко мне: — Вы с ней поостороже... Ладно? Надо приструнить стяжательницу. Ну, до пятницы...

Так она и осталась в памяти — стройная, бесконечно милая, с солнечной прядью на бело-розовой щеке. И ни одного фальшивого жеста! Редкий человек держится так естественно и уверенно в кабинете следователя.

— У нашей пострадавшей талант общения, — сказал я. — Ты не находишь?

Мой помощник, казалось, только и ждал этой реплики.

— Странная вещь получается! — он откинулся на спинку стула. — Вот заметишь где-нибудь человека, просто так в глаза бросится: в автобусе, на улице... И все равно где-нибудь столкнешься с ним еще раз! Недавно на водной станции видел одну веселую компанию. А на вышке — девчонка в голубом. Одевает шапочку. Помахала своим рукой. Оказывается, поспорила, что прыгнет. Вижу, бултых! И выходит, как ни в чем не бывало. И вот, пожалуйста, — торжествовал Саша. — Только что здесь была! Как, по-вашему, ничего девчонка?

Ах, вот в чем дело!

— Выходит, это у тебя уже не первое свидание?

Саша замер. Не ответив, нагнулся, чтобы перекусить нитку.

— Наконец, подшил все-таки... — проговорил он, хмурясь и краснея мочками ушей. — Но шило... черт... Как списанный штык. Вон, смотрите, тупое. Неважнецкие тут у вас орудия труда... Не прокалывает, а рвет... Ну при чем тут свидание?

Эх ты, Саша, Саша...

Меня так и подмывало пощекотать его самолюбие. Саша считал себя неуязвимым и на все колкости, как правило, отвечал снисходительной улыбкой.

— А что? Неплохо бы сюда электронную машину. Запрограммировали бы, скажем, цвет глаз, отношение к общественным нагрузкам. Еще какой-нибудь десяток пунктов. Палец на кнопку: раз! И ответ готов: хорошая девчонка или так себе. Здорово! — Я поднялся, чтобы пригласить парня, ожидавшего в коридоре.

— Если надо, и без машины разберемся, — буркнул Саша вдогонку. — Но прошу учесть, меня это не интересует.

## 2. «СПРОСИТЕ ПОЧТАЛЬОНШУ»

Первые капли дождя дробно застучали по подоконнику. На стол, на бумаги полетели брызги. Я бросился к окну, чтобы закрыть его. Дождевые струи плотно заштриховали сквер и дальние дома прямыми серыми полосками. Ливень налетел на город внезапно — шумный, озорной...

— Ну, я и выдала. А кому? Нет, вы спросите, кому? — Минуту назад внезапное вторжение дождя оборвало бойкий рассказ кассира почты. Теперь она словно торопилась наверстать упущенное.

— Ей и выдала, фифочке, которая к нам приходила. Если крашенная, значит ей вера?

Кассирша — решительная женщина лет тридцати пяти с сердитыми глазами и могучим торсом.

— Паспорт-то чей записан? Давайте глянем. Ее паспорт, Задонской. Ишь, зубоскалка, всех хочет вокруг пальца...

И все-таки кассирша держалась не очень уверенно. Говорила с надрывом. Размахивала руками. Еще бы! Выдать деньги другому лицу — служебная халатность. За это начальство, естественно, не похвалит. Да и платить, пожалуй, заставят из своих кровных.

— Мы бы вам поверили, — остановил я кассиршу, — если бы можно было объяснить: зачем нужно Задонской вводить нас в заблуждение?

Стул под женщиной жалобно заскрипел.

— Нужно не нужно, — сварливо передразнила она. — Имейте в виду, я прямо говорю. Давайте тогда очную ставку, коли не верите. Я ей в глаза бессстыжие... прямо. Получала, а еще жалуется. Таким мадоннам, конечно, вера... Не верите, так у почтальона поинтересуйтесь. Извещение принесли? Принесли. Не куда-нибудь — на дом. Так что надо? Нет, что хотите, а моей вины нету! Спросите лучше почтальоншу: кому она вручила извещение?

Хорошо, послушаем почтальоншу.

В кабинет вошла высокая, худощавая, какая-то чересчур подвижная женщина. Было в ее продолговатом лице с длинным носом и близко посаженными глазами что-то неприятное. Угодливость? Неприязнь вызывало и скромненькое покашливание в кулак, и тихий голос, и манера сидеть на краешке стула. Такая, мне представилось, могла на Задонскую и накричать.

Свой паспорт женщина оставила дома. Обозвала себя недотепой. Принялась пространно, с извинениями объяснять, что вспомнила об этом, лишь подходя к милиции, и, конечно, вернулась бы, но помешал дождь.

— Так и льет. Как из прорвы. Гляньте, стеной встал. — Дождь действительно разошелся вовсю. Водосточные трубы гремели, будто по ним барабанили палками.

— Я за ограду заглянула, — рассказывала с готовностью почтальонша, — смотрю, замочек на снях. Ладно, думаю, тогда в ящичек опущу.

Для корреспонденции у них щелка возле ворот. В заборе. Ну там... снаружи надо опускать. Понимаете? Вот, значит, протолкнула и пошла.

— А зачем заглядывали за ограду?

— Заглядывала за ограду?

— Ну да, — подтвердил я, — зачем вам это понадобилось? Ведь щель, как вы сказали, снаружи забора?

— Верно, верно, — спохватилась почтальонша. — Забыла упомянуть, извините. Для удобства клиентов мы и деньги разносим. Тут извещение, тут сразу и деньги. Получай, дорогой товарищ. Ну и посмотрела: есть ли кто дома? А там замочек. Небольшой такой. Собака загавкала. Я ее до смерти боюсь. Как сейчас помню, принесла, значит, письмо, потом извещение об этом переводе. И еще что-то было. Да, «Работница», да газетка... Письмо, значит, с извещением — в газетку, газетку — в журнальчик. И в щелку...

— Письмо на чье имя?

— На чье имя? — опять переспросила она.

— Да, кому адресовано?

— Что-то не припомню, извините. Нам лишь бы адрес.

— А как поступили с деньгами?

— Как поступила?

Ее манера переспрашивать начинала надоедать. Не часто, но такие свидетели попадают. А у некоторой категории людей это излюбленный прием — тянуть время, чтобы обдумать ответ.

Я промолчал. Притихла и почтальонша, спокойно глядя на меня.

— Так где же деньги?

— Деньги?

Нет, чтобы разговаривать с нею, надо иметь железные нервы.

— Да, где деньги, которые вы приносили для вручения Задонской?

— Известно где. У кассира. Все до единого рублика. — Она вдруг сдвинула губы в полосочку, глянула подозрительно. — Уж не меня ли обвиновать хотите? За всю жизнь ни за единую копейку не запнулась. Врать не буду.

Уходя, почтальонша расхрабрилась:

— Неудобно, да уж спрошу. Сколько за это дело причитается?

Я понял.

— До трех лет лишения свободы.

— Так и надо, — поддакнула женщина, — не воруй.. А суд скоро? Интересно, дура, а может, чего не так? Не скоро? Извините, вам «Неделька» не нужна? Свеженькая. Ну, ладно. До свиданья. — Ушла довольная, что подозревать ее в чем-либо никто не собирается.

Следующей была Камила Гуревич.

Девушка вошла медленно. Скромно опустилась на стул, поправила юбку. И смотрела куда-то за окно, где уже кончался буйный июньский ливень.

Гуревич походила на индианку чернотою волос, гладко обтекающих

голову, ровной смуглостью, но более всего — глазами цвета влажного антрацита.

Она была в сером, тщательно отглаженном костюмчике и в белой блузке, наглухо застегнутой у самой шеи. Серьезное выражение лица делало ее старше своих восемнадцати лет.

На вопросы отвечала тихим голосом, односложно. Нет она не знает, кто мог получить деньги ее соседки по комнате. Нет, извещения не видела. Получала ли письмо? Нет, не получала. Ей пишет только бабушка, у которой она выросла. Больше никто? Нет, только бабушка. А мать? Мать не видела с детства. Разъезжает, где-то по периферии с концертами. Артистка? Да, артистка. Правда, еще подруга пишет. С нею вместе поступали в музыкальное училище. А больше никто? Да, никто.

Руки ее сложены на коленях. Пальцы тонкие, идеально круглые, длинные. Музыкальные?

Да, она учится по классу фортепьяно.

«Но почему такая тихоня? — спросил я себя. — Или действует на нее официальная обстановка? Эти стены, железный шкаф, милиционер у входа... Нет, Задонская в этом смысле молодец».

Ливень мало-помалу истончал, сошел на нет. Наконец, ярко, как на переводной картинке, еще мокрой от воды, за окном прояснилась улица. Мокрые желтые стены домов, мокрая зелень, блестящий, уже кое-где дымящийся от солнца асфальт.

Гуревич ушла, унося с собой какую-то непонятную печаль. Была в кабинете пятнадцать минут: ровно столько потребовалось, чтобы выслушать и занести в протокол ее ответы, взять образец почерка.

На бланке извещения, адресованном Задонской и изъятом нами в качестве вещественного доказательства, почерк был круглый, торопливый. И, на взгляд, принадлежал Гуревич. Но, чтобы не обижать девушку подозрениями, которые могут и не подтвердиться, я не задал ей главного вопроса. Пусть ответят на него вначале специалисты почерковеды.

Бумаг в деле прибавилось.

Вдали, в той стороне, куда отошла гроза, еще погромыхивало «Интересно, над чьей головой ударит гром? — подумал я. — Пора назначать экспертизу...»

### 3. ТРОФЕИ

Листок из ученической тетрадки сложен вчетверо.

«Дорогой солдатик!

Ваша разлюбленная королева вступила в местное общество «ЭКЮ». Расшифровать? «Эксплуатируем карманы юношей». С чем и поздравляю. Научилась курить, пить и вообще... Ваши письма, сударь, читает своим кавалерам. Намотайте на ус.

Доброжелательница».

Анонимка? Буквы ломние, с левым наклоном, вытянутые. Автор явно старался изменить почерк.

— Обратите внимание: левая рука, — дышит отрывисто над самым моим ухом Саша. От него жарко и я по голосу чувствую, что он весь охвачен нетерпением и жадной преследования, точно молодой гончий пес.

— Пробовал сам, — продолжает он наседать на меня. —левой получается точь-в-точь. Буквы заваливаются именно в эту сторону. — Мой помощник уже не скрывает своей радости.

— Гаденькая анонимка, — приговаривает он. — Хозяйка нашла на полу комнаты у этих девчат. К делу, конечно, не относится. Я так прихватил. Может, пригодится.

Он разворачивает над столом газету.

— А это обнаружено в печке, — Саша осторожно разгибает складки бумаги. — Печка тоже в их комнате... На всякий случай изъял. Вот взгляните...

Я усмехнулся. Как-то перед домом, в котором было совершено убийство, нашли при осмотре каблук от дамского туфля. Наморщили лбы: «Взять или не взять?» А кто его знает? Пригодится ли? На нем не написано. Может, случайная прохожая потеряла или выкинула. Но в протокол все же занесли. На всякий случай. И как пригодилось!

У подозреваемой, которая клялась, что слыхом не слыхала и не видела этот самый дом, изъяли туфли. На одном не хватало именно того каблука. Потом появились и другие улики.

— Ориентир номер один! — воскликнул Саша перед уходом два часа назад. — Осмотр комнаты девчат! Да! Именно! И встал. — У вас папка найдется?

— Саша, — попытался я охладить пыл моего помощника. — Взломов ведь нет. Обстановка явно не нарушена. Что тебе даст осмотр? — Я, конечно, хитрил. Осмотр необходим, но хотелось проверить, как отнесется к моим словам Саша, насколько он подкован в методике следствия. — От преступления к преступнику надо идти кратчайшим путем. Ты уверен, что это — кратчайший?

— Как прямая между двумя точками, — расхрабрился Саша, запасаясь бланком протокола осмотра.

— Образцы почерков есть? Есть. Не короче ли без лишней мороки просто назначить экспертизу? Вон почерк Гуревич, по-моему, подходит... Думаю, подтвердится.

Но Саша был непреклонен.

— Осмотр — та же рекогносцировка. — Доказывать он предпочел с помощью армейской терминологии. — Комната... Сумочка.. Там — паспорт. Какие вообще ходы-выходы? Как мог действовать преступник?.. Сориентируюсь — и легче разобратся. Понятно?

— Понятно, — рассмеялся я. — Тебя не переспоришь. Только не пугай: осмотр места происшествия и рекогносцировка — далеко не одно и то же. А потому смотри там получше. Ну, действуй.

К двери Саша шагнул по-военному, с левой ноги. Откуда в парне столько армейского? А возраст — только-только призывной.

...На газетном листе, который Саша бережно развернул передо мной, лежал второй его трофей: кучка пепла. В темной его массе светлело пятнышко, величиной чуть больше головки спички — не сторевший бумажный уголок. Я рассмотрел его: с одной стороны белый, с другой — в желтоватом смолистом налете.

— Ты, думаешь, чертовик анонимки? — Я поднял на Сашу глаза.

И что у него за вид! На лбу — сажа. Плечо в известке... На славу потрудился парень.

Саша заметил, что я оглядываю его с улыбкой и убежал почиститься.

Я уже знаю, как действует Саша во время осмотра места происшествия. Ничто не оставит без внимания. Бутылку, любой осколок стекла сантиметр за сантиметром просмотрит в боковом освещении. Наведет лупу то на спичку, то на окурочек. Из следственного чемодана постоянно что-нибудь вынимает. От порошка для опыления до фотоаппарата.

— Семенов, не заночуешь? — шутят сотрудники, покуривая в стороне и обсуждая прогнозы раскрытия. — А то, гляди, сержанта за раскладушкой пошлем.

— А?.. — запоздало вопрошает Саша. Русые пряди упали на лоб, на лице полная отрешенность. — Сейчас я, погодите... — он все еще там, в мире вещей. Ведь вещи «видели» все! Надо повнимательней, не пропустить бы чего! Самого, самого...

Но я его понимаю.

Сегодня, после ухода Задонской, Саша пожалсвался:

— У меня одни хулиганства! Надоели эти боксеры — хуже некуда. Ясность полная. Возмутитель спокойствия есть. Свидетели — тоже. Знай себе, пиши, переводы бумагу. — И попросил: — Дайте дело, где преступник неизвестен. Я бы раскрыл. Честно... Да нет, я не отказываюсь. Работа есть работа. Но что-нибудь повеселее поручить можно?

— Пожалуйста, не против... — сказал я. — Кража из ларька подойдет? Смотри, с визитной карточкой: на месте оставлен паспорт. Или вор был пьянее вина и потерял документ. Или паспорт подбросили. Куда веселее... Возьмешь?

Но Саша не торопился соглашаться. Возможно, хотел заполучить что-то другое. Разумеется, самое свежее. Что-нибудь такое... Старшему товарищу надо бы быть подгадливей.

— Тогда возьми другое. Вот.

— Давайте, — сдержанно ответил Саша, принимая от меня дело Задонской. — Мне все равно какое. Лишь бы от начала. Понимаете? Розыск интересен.

Я понимал. А он через минуту, листая дело, легонько посвистывал, что у него было признаком отличного настроения.

Но вопрос квартирной хозяйки я оставил за собой.

— Надо выяснить, — сказал я, — и кое-какие обстоятельства, не совсем относящиеся к делу. При тебе пообещал...

Но куда запропастился Саша? А, убежал почиститься. Кажется, идет.

Пуговицы на форме курсанта милицейской школы надраены до сияния. Богинки отглянцованы. Складки на брюках безукоризненны.

Саша сразу отыскал глазами свои находки: анонимку и горку пепла на газете.

— Даю на выводы пять минут, — сказал я и взглянул на часы. — Хотя нет. Обеденный перерыв, можем искупаться. Говорят, после дождя вода, что парное молоко. Проверим? А дорогой поговорим.

Солнце некло нещадно. С асфальта уже исчезли последние остатки ливня, и только газоны хранили влагу.

Саша подтянулся, привычным жестом поправил фуражку. Я в своем гражданском костюме рядом с ним выглядел несколько мешковато.

— Саша, ты спишь и видишь карьеру военного?

— Почему вы думаете? — насторожился он.

— Да у тебя осанка натянута и ты все с левой шагаешь.

— Вон вы о чем, — кисло протянул он. — Я эту науку побеждать, можно сказать, с детства... В общем, суворовское закончил. А потом решил податься на борьбу с разной нечистью. — Он помолчал. — Хочу на следствии распределиться, да вот не знаю, получится ли?

— Получится, — успокоил я. — Было бы желание.

— Как раз этого мне не занимать, — бодро ответил он и снова ожил.

— Значит, так, — начал Саша, когда мы быстро зашагали к реке, перейдя на теневую сторону улицы. — Достать извещение из ящика. Войти в дом за паспортом. Пройти к почтовому отделению. Получить деньги. Вернуться и положить паспорт на место... Я прикинул. На все это надо примерно полчаса.

— Аккуратный нынче пошел вор, — заметил я. — Начали класть паспорта на место. — Это был намек и на дело с «визитной карточкой», но Саша даже ухом не повел.

— Допустим, кассирша права. — Саша развивал мысль дальше. — Перевод получила Задонская. Но этого не может быть. — Он умолк на мгновение, пока мы обгоняли какую-то женщину. — Далее. Допустим, кассирша лжет. Почему? Во-первых, выдала в чужие руки и боится... Этот вариант возможен? Вполне. Вопрос: кому выдала? Тому, кто положил паспорт на место. После осмотра я сомневаюсь, чтобы это мог сделать посторонний. Вор — свой, домашний! И, чтобы не было никаких неясностей, уточним: «Гуревич!» — Подождал, ожидая моей похвалы (ее не было) и напомнил: — Вы же ее заподозрили... Во-вторых, — особо выделил Саша, — допустим, кассирша денег никому не выдавала, а поделила их в сговоре с почтальоном. Возможно? Вполне. Могут спросить: а паспорт? Как лежал, так и остался в сумочке. Вопрос: получала ли пере-



воды Задонская раньше у этих почтовиков? Ответ: получала! Все ясно. Паспорт им был не нужен.

За двухэтажным зданием пошивочной мастерской мы перебежали дорогу еще раз. До реки остался квартал.

— А хозяйка? — поинтересовался я.

— Вы подозреваете и ее?

— Сердитая? Коромыслом не вооружилась?

— Нет, — усмехнулся Саша. — Чаю предлагала. Интересовалась: что ищу? Одна была дома. Поговорили, а записывать не стал. Для вас оставил. Да ей все равно ничего неизвестно.

С берега река казалась неширокой желтоватой лентой, а купальщики — муравьями.

— Одно из двух, — прокричал Саша, когда мы запрыгали вниз по тропинке. — Или кассирша с почтальоном, или Гуревич. Других вариантов нет. Или-или...

Он разделся первым. Подвигал по-боксерски кулаками, попрыгал. На теле- ни жиринки. И подвижен Саша, наверное, от того, что худощав.

— Лучше сразу, с разбега!

Мы побежали к воде.

— Теперь экспертиза... — Саша перепрыгнул через чье-то распластанное на песке тело.

И не договорил. Его поглотила вода.

#### 4. КОСВЕННАЯ УЛИКА

Пока специалисты исследовали почерки, пока готовились сказать свое веское слово, мы с Сашей работали по другим делам, находящимся в моем производстве. Допрашивали, проводили очные ставки.

Но дело Задонской Саша держал на особой примете. Часто листал его, о чем-то думал, поглядывал на календарь. Иногда, вчитываясь в страницы, хмурился. Вот и теперь он склонился над ним.

— Ну, опять! — искренне негодует Саша. — Читаю, и злость разбирает! Вот лежат деньги. Обязательно надо к ним подобраться. Лапу на них наложить! Плохо лежат? Да? Ох, ненавижу я подлых людишек!

— Ого, — удивился я. — С таким темпераментом любого дебошира обезвредишь в два счета. Мимо не пройдешь... Похвально.

— Знал бы кто это сделал! — все еще распаялся Саша. — Я бы с ним поговорил! Со всей беспощадной суровостью! По душам! Эх, я бы...

— Поговоришь с одним, с другим, — решил предостеречь я. — Но вот благородное твое негодование сработает однажды вхолостую, и постарайся впредь сдерживаться.

— Почему вхолостую?

— Почему? Виновным в конце концов может оказаться не тот, кого подозревал вначале, против кого метал вот такие громы и молнии. Или

выяснится вдруг, что заявитель — дрянцо и клеветник. Ни одно его слово не подтвердилось.

— Отставить! — встrepенулся Саша. — Вы не поняли... Будет обеспечено точное попадание в носителя зла. Чье имя будет выведено нашей рукой здесь? — Он приподнял корочку дела. — В этой графе: «По обвинению»... Понимаете?

Солнце слепило его, мешало смотреть на меня, и он заслонялся рукой. Не вытерпел, схватил с тумбочки газету, стал подвешивать к окну.

— Вот тогда и поговорим! — Резко вдавил кнопку в переплет рамы. — Здесь не благотворительная контора! — Вдавил другую. — Здесь обвиняют! Воров, хулиганов... Нечисть всякую, охвостье. — Теперь я видел его глаза, серые с пронзительными зрачками.

— Мы не обвиняем, а устанавливаем истину, — поправил я. — Истину. Кто? Где? Когда? Как? Почему? Кипятиться нам не положено по штату. — Я выдержал паузу. — И ни в коем случае не нажимать на перо. Скажем, вместо слов: «Он вбежал», не писать в протоколе: «он ворвался». Вместо: «подошел и замахнулся кулаком», не писать: «набросился с кулаками». Помнишь?

Саша повел бровью. Не забыл, значит. Случился на днях с ним такой конфуз: постановление о привлечении в качестве обвиняемого составил вдохновенной прозой. Пришлось потом переделывать, доводить смысл каждой фразы обвинения до арифметической точности.

Но меня не раздражала несдержанность практиканта: в конце концов все приходит со временем.

— Короче, ты обвинитель и защитник в одном лице, — подытожил я, вовсе не обольщая себя надеждой мигом перевоспитать его. Говори, не говори — в итоге каждый набирает собственные синяки и шишки.

— Ты обвинитель и защитник, — повторил я. — Документируешь как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. Одинаково, во всей полноте! И от того, как смогут сосуществовать в тебе эти двое, зависит, получится ли из тебя следователь. Настоящий. Кстати, я не уверен, получится ли он из меня. Нет, серьезно... Все это, понимаешь ли, гораздо сложнее... А выражение «нечисть всякую», — вспомнил я, — слышу от тебя не впервые. Юристу, по-моему, употреблять его негоже. Почему? Опять же никакой определенности. Один темперамент... Больше подходит для статьи в газету как... как собирательная характеристика зла. А здесь? Преступники. Самое точное слово.

Саша тяжело вздыхает: до чего же ему надоели эти душеспасительные беседы! Ходит по кабинету, косится на мой стол и вдруг решается, хватается за телефон.

— Хотя бы предварительно, — спрашивает он эксперта. — Не можете? А если вне очереди? Только в пятницу? Утром? Жаль. А нам этот почерк Гуревич... Не можете...

— Вот тебе и на! — поворачивается Саша ко мне. — Надо проверить и нельзя!

Выхватил из тугой прически прядь над ухом, покрутил ее пальцами. Новая Сашина привычка. Я уже знаю: сейчас он скажет нечто такое...

— Добыл косвенную улику, — не выдерживает Саша. — На следующий день почтальонша купила туфли. После того случая. Но зарплату не выдавали. О чем это говорит?

• Я пожимаю плечами.

— Ни о чем...

— Ладно, — не сдается Саша, — опять же анонимка...

Кроме извещения с почерком, оставленным рукой преступника, мы отправили на экспертизу и анонимку.

— Если окажется, что ее писала Гуревич... И если перевод получила она же... — рассуждает Саша. — Тогда анонимку приобщим к делу для характеристики ее личности.

Я улыбаюсь: так выразиться мог только следователь. Это тебе не словечки из воинского устава. И Саша улыбается: почему — не знаю. Может, опять видел Задонскую?

А пепёл в газетке оставили до лучших времен.

— Восстановить текст по пеплу может только волшебник. А ты как думаешь, Саша?

— Я за! — Проголосовал тот. — Но как вышло? Открываю печку. Лежит! Будто для меня нарочно. Даже вот здесь мурашки... — Он рассмехался, показав на затылок. — Ничего не оставалось, как забрать.

В пятницу я покажу Задонской на отличившегося Саму:

— Его стараниями...

А она, скорая на слово и улыбку, конечно, скажет Саше что-нибудь вроде:

— Вас случайно зовут не Нат? А фамилия не Пинкертон? Позвольте пожать вашу мужественную руку.

А дальше?

Есть же на моей памяти один случай: как-то поручил практиканту допросить молоденькую свидетельницу, а через год поздравил их с законным браком.

Коллеге, что сидит через стенку, я иногда напоминаю об этом. Мы смеемся. Бывает же!

— Саша, — говорю, — где дело номер...

Саша не отвечал. Видимо, все еще находится под впечатлением добытой им косвенной улики. Он смотрит куда-то сквозь меня, перебирая пальцами волосы.

— А чепуха! — Саша возвращается на землю. — Купила туфли. Ну и что?

## 5. РАЗГОВОР В ПЕРЕУЛКЕ

Переулок, по которому я шел, делится на две части: каменную, многоэтажную, с цветной штукатуркой, балконами, и, низкорослую, деревянную, обреченную на слом.

А между ними тут и там поднимаются кирпичные остовы будущих зданий. Над земляными горами взлетают и разжимаются железные кулаки экскаваторов. Где-то натужно работает бульдозер.

«Еще год-два, — подумалось мне, — и в переулке справлять новоселье будет уже некому».

Вот и зеленые ворота с номером 50. А вот щель для корреспонденции в заборе. «...Письмо, значит, с извещением — в газетку, газетку — в журнальчик...»

Но кто вынимал из ящика?

«Не вздумайте назвать бабушкой. Ох, и психанет!» — предупреждала Задонская. Подходя к дому, я вспомнил вчерашний телефонный звонок из университета. Приятный баритон принадлежал декану факультета иностранных языков. Декан говорил о том, что некоторые обстоятельства вынуждают его обратиться к нам за помощью: кто-то обидел их студентку. Да, Наталью Задонскую. Она — староста группы, отличница и прочее... Декан перечислил достоинства студентки, не забыв упомянуть человеческое обаяние, веселый нрав и спросил:

— Интересно, что-нибудь предпринимается по вашей линии? Ах, возбудили уголовное дело. И как?.. Не установлен. Вы говорите, к концу, недели? А побыстрее нельзя? Ну, надеемся, справедливость восторжествует... Да, едва не упустил из вида, — спохватился он. — Будьте добры, поинтересуйтесь хозяйкой. Напряженный, понимаете ли, момент. Сессия. И гнать из квартиры! Это же настоящая трепка нервов! Поговорите с этой стяжательницей поостороже. Обещаете? Заранее вам благодарен.

«Оперативность, быстрота, — думал я, стоя перед домом номер 50. — Но как объяснить, что у экспертов тоже немало своих дел. И свои сроки. А про хозяйку декан не забыл».

За калиткой навстречу мне рванулась, гремя цепью, большая черная собака. Вздрыбила, забегала с лаем.

Цепь закреплена у самого почтового ящика. Последнее я отметил особо. Верно говорил Саша: постороннему дорога заказана.

— Был недавно кто-то из ваших, — первое, что сказала хозяйка, выходящая седая женщина в белом переднике, когда, войдя в кухню, я представился, предъявив удостоверение личности. Усмехнулась, продолжая мыть посуду. — А вы зачем? — Она взглянула на меня в упор насмешливо и твердо.

— Я пришел... — начал я несколько обескураженный таким приемом. — Чтобы уточнить ряд вопросов.

— А то, может, сразу, без обиняков?.. — огорошила меня хозяйка. — Ничего, я постоять за себя сумею. Не Камилла. — Бренчала тарелками, полоскала их в тазике, опрокидывала на подставку. — Живо научу черное от белого отличать...

На что намекала она, я не понял. Не тратя времени попусту, достал бланк протокола допроса, предупредил хозяйку об ответственности за дачу ложных показаний, дал расписаться.

Бабушкой я бы ее не назвал, хотя лицо и казалось состоящим из одних глубоких морщин. Но глаза под широкими бровями сохранили незамутненный карий цвет. Да и морщины в соседстве с крепким, горбатым носом скорее обозначали крутой нрав, чем свидетельствовали об увядании.

— Покажите, если не затруднит, комнату девушек, — попросил я, когда с формальностями было покончено.

Комната просторная. Можно вселить при желании и четверых. Я ощутил аромат духов. Так целый день пахло в моем кабинете после ухода Задонской.

Хозяйка и здесь нашла себе работу. Обмахнула тряпочкой клеенчатую скатерть, раздвинула шторы, распахнула створки окна. Примерилась: к чему бы еще приложить руку? И все поглядывала на меня искоса, с недоверием.

— Оказывается, и у хозяек бывают любимчики, — улыбнулся я, кивнув на нарядное убранство одной из кроватей. Другая постель была накрыта простым одеялом.

— Выселяю я этого любимчика! — отрубил хозяйка. Перестала поправлять безделушки на туалетном столике. Войственно сложила на груди большие руки.

И опять что-то высматривала во мне заинтересованно и строго.

Странно. Вел я себя как будто нормально.

— Как вы думаете, Гуревич способна на кражу?

— Час от часу не легче, — удивилась хозяйка и нахмурилась. — Кто это у вас додумался? Камилла в голоде, в холоде будет — чужого не возьмет. Девушка простая, свое еще отдаст, будьте уверены!

Что ж, предположим, не возьмет. Тогда кассир и почтальон? Окно выходит во двор, к калитке. Собака и тут следила за мной. Пригнув морду к земле, очертила зубы.

— Да вот, случай хотя бы вспомнить, — слышу из-за плеча голос хозяйки. — Как-то Камилла нашла пятерку. Вон в сенях. «Ираида Ивановна, не ваши?» Нет, говорю, мои в комод, на месте. А их эта обронила, Задонская. Как потом оказалось. А вы — кражу... Ну, насмотрелись? — Она, кажется, намерена пригласить меня на чашку чая.

— Скажите, кто имеет доступ к почтовому ящику?

Хозяйка подступила к окну. С ответом не торопилась.

— Я имею. А что?

— И только вы?

— Ну, Камилла... А эта, — она повернулась к кровати Задонской, — боится, красавица. Сама виновата, не подходи к собаке с палкой. — Пренебрежительно махнула рукой. — Худой человек. Наливное яблочко, да с червоточинной. Но наговорит с три короба, только слушай...

Я предпочел вернуть разговор к прежней теме. О Задонской успеется. И вот о чем узнал.

Тогда, уходя в сберкассу, хозяйка закрыла сени на висячий замок, а ключ положила, как всегда, в углубление за дверью. На братном пути

встретила в переулке Камиллу. Во двор вошли вместе. В почтовом ящике был журнал «Работница» и, кажется, газета. А перед уходом, она видела, ящик был пуст. Извещение о переводе?письмо? От дочери и сына письма приходили, но позже. А Камилле — от бабушки. В ящике были только журнал и газета. Она хорошо вспомнила.

Теперь показания следовало записать. Я огляделся: где бы присесть?

— К вам можно пройти?—напросился я, еще не зная, как отнесется к этому скупая на гостеприимство женщина. А Саша хвалил... — Нужно занести то, что вы сказали в протокол.

— Так вы разве по делу? — Хозяйка точно сделала открытие. А удостоверение кому я показывал? А эти разговоры зачем вел?

— Тогда пошли ко мне, коли так, — она уже закрывала окно.

— А я ведь вас чуть не выставила, — призналась хозяйка в соседней комнате. Строгое выражение лица растворилось в улыбке.

И скумандовала:

— Присаживайтесь к столу. Здесь удобнее. Что, ручка отказала? Берите мою.

Можно было удивиться происшедшей в ней перемене. Все-таки, за кого она меня приняла?

— Ну, вошла в дом, — рассказывала Ираида Ивановна, пока я записывал все, что слышал от нее в комнате девушек. — Полистала «Работницу» на кухне и тут вспомнила: что-то мне Камилла расстроенной показалась. Пошла к ней. Лежит на кровати в одежде, лицом в подушку. За плечо ее тронула: «Что случилось? Двойка?» Молчит. «Или обидел кто?» Звука не подает. «Да ты хоть ответь, когда спрашивают!» «Ираида Ивановна, говорит, миленькая, дайте побыть одной». Вижу, тяжело ей. Ушла. Поболит да перестанет, думаю. Все равно расскажешь, что за беда. Но нет. С той поры — как подменили. И все молчком. И думает, думает. Как-то гляжу — подушка мокрая. Уж не плакала ли? Прямо не знаю, что с ней творится.

— Почталъон утверждает, — задал я уточняющий вопрос, — что в ящик вместе с журналом и газетой опустила также и извещение...

— Если бы опустила, было бы на месте, — убежденно заявила хозяйка. — Вы нашу Джульбу видели? Никого не подпустит.

Теперь к моим вопросам она относилась с должным вниманием. Наконец-то между нами установился деловой контакт. И только скрещенные на груди руки остались от прежнего ее неприступного вида.

— Вначале у меня Камилла с подружкой поселилась, — вернулась к рассказу Ираида Ивановна. — Вместе в музыкальное училище поступали, да осечка вышла, по конкурсу не прошли. Но вольнослушательницами допустили. Ходили, ходили... Мыкались. Та не выдержала, укатила. А эта — самостоятельная. Ни за что, говорит, Ираида Ивановна, не брошу. Подработку где-то нашла. Осталась... Вот Задонская и подселилась зимой.

— Вам промокнуть? — Она заметила кляксу, расплывшуюся под пером.

— Подселлась новенькая, — начала хозяйка, — когда «авария» на листе общими силами была устранена. — Смотрю, нравится. А чего? Светло, чисто. Газ. Ванная с колонкой — сын смастерил. До центра рукой подать. Недорого. Хозяйка не притесняет, — она усмехнулась. — Жить можно. Пожила немного и намекает: нельзя ли комнату одной занять? Мол, для учебы... И в плате не обидит. Это как же одной? — спрашиваю. — Выходит, я Камилле отказать должна, а тебя оставить? И тебе не жалко ее на мороз выбрасывать? — Хозяйка разволновалась, как будто воспринимая тот разговор заново. — Нет, говорю, красавица моя, такой номер не пройдет, денег твоих не надо. А Камилла жила и жить будет. Против тебя, говорю, тоже ничего не имею, живи. Я, может, вас вместо дочерей пустила. «На нет и суда нет, — отвечает. — Не могу настаивать».

Хозяйка под села ко мне ближе.

— Теперь слушайте дальше, — видимо, ей хотелось выговориться до конца. — Не ужились между собой девушки. А все Задонская. То вышучивать при подругах Камиллу примется. Или платью ее «похвалит». Дескать, ничего платьице, универсальное: хоть к плите в нем, хоть на танцы. А Камилла тушует, уж такая тихоня. Она слова в ответ никогда не скажет. «Эх, — думаю, — милая. Мой бы тебе нрав. Я бы отбрила, не возрадуешься!» И все, знаете, со смехом, с подковыром как-то. Думала, может, характер бойкий да горячий. Одно слово — прямой. Да вижу, прямота-то злая у нее: это все равно, что безногому или кривому на изъяс их указать. Да смеяться еще над этим. Предупреждать ее стала, но без толку. Но последний случай, — посуровела хозяйка, — я ей не простила. Как раз накануне того дня, когда ее в милицию вызывали. Вижу, Камилла обижена чем-то. Зовет в комнату, а только с занятием вернулась. Гляжу, на подушке ее наложены горкой, вы думаете что? Дохлые мухи. Целая горсть на подушке! — подчеркнула хозяйка. — А у меня в доме мух видели? Ни одной! Это что же? Выходит, их где-то специально набить, собирать надо! Вот, думаю, над чем хохотала Наташка с подругами. Тогда дошло: ведь она ее нарочно выживает! Травит! Чтоб одной остаться. Не мытьем, так катаньем. Ну я ей устроила прием! «Заразу в дом тащишь?». А ей хоть кол на голове теши. Посмеивается: «Шутки не понимаете?». Эта ухмылочка меня вывела... Понимаю, говорю. Только сегодня поняла. Но не она уйдет, а ты! Чтоб немедленно! Чтоб духу твоего не было! Сейчас, говорю, все твои тряпки красивые на двор полетят. Никаких экзаменов знать не хочу!.. Кое-как успокоилась... Давление ведь у меня.

— А вы не волнуйтесь, — сказал я, заметив, что на шее женщины выступили розовые пятна.

— А, — отмахнулась хозяйка. — Слушайте самое интересное. Наутро квартирантка в милицию ушла. Потом ваш работник приходил... Вечером заявляется опять она. Напевает что-то про себя, видно, опять пятерка. И

ко мне, руки в боки: «Ничего у вас, хозяйюшка, не выйдет теперь. Защита у меня теперь надежная. Следовательно! Он так и сказал: «Никто не имеет права выбрасывать вещи на улицу». Вот придет да вас штрафанет, будете знать. Между прочим, обещал. А еще проконсультировал, что высылает только суд. Вот так, дорогая Ираида Ивановна». Первый раз меня так назвала. А то все бабушкой. Меня-то! Вот я бы вас расчехвостила, — хозяйка грубовато рассмеялась. — Думаю, пусть приходит, я этого защитника назад пятками поверну... Вижу, пришел, не соврала квартантка.

Такого предательства от Задонской я не ожидал. Собственно, почему предательства? Каждый волен защищаться так, как считает нужным. Да, но какое она имела право прикрываться мной? Это уже запрещенный прием.

Старинные часы в углу начали бить, показывая одиннадцать часов. Напомнили, что я засиделся.

— Ираида Ивановна, — сказал я. — Вот прочтите. Если согласны, поставьте подпись внизу.

Пока хозяйка разыскивала очки, я осмотрелся. В комнате идеальная чистота. Домашние половики. Сервант. Большой цветок на самом свету походит на зеленоватый дымок. Над комодом портрет двух улыбающихся девушек с такими же энергичными, как у хозяйки, лицами.

— А эта Задонская защитников себе найдет, будьте уверены. К любому в душу залезет, — говорила Ираида Ивановна, когда мы шли к калитке.

Остановились за воротами. Невдалеке четко белели новые каменные дома.

— Скоро и ваш терем снесут, — сказал я. — Не жалко?

— Что жалеть-то? — улыбнулась женщина, но в глазах ее появилась грусть. — Можно считать, вся жизнь в этом переулке... — тихо проговорила она. — Детей вырастила. Мужа похоронила. Сын в прошлом году на Север в Нижневартовск укатил. Теперь вот зовет к себе. Дочки разлетелись — кто куда. Одна — в Венгрию с мужем. Другая — на Украине. Время такое. Что жалеть-то? Новую квартиру дадут.

— А с Задонской, — вдруг вспомнила Ираида Ивановна, — вчера был у нас последний разговор. Смотрю, другая стала. Поглядывает ласково. К чему бы? Оказалось, старая песня да на новый лад. Теперь просит продать ей комнату. Вон куда наметила. Вон ее прицел. Благоустроиться хочет, цепкая не по годам. Новую квартиру хотела отхватить, ведь сносить будут, потому и из общежития ушла. Пробивная. Я, знаете, на такие сделки не способна. Так и сказала. Живи, говорю, до конца экзаменов, а о своих думках забудь. Камиллу в обиду я тебе не дам. И — на все четыре стороны! — Хозяйка взялась за щеколду.

— Пойдите, — остановил я ее, вспомнив, что не выяснил одно обстоятельство, связанное с анонимкой, — Задонская с кем-нибудь дружит из военнослужащих?



— Не знаю. По-моему, нет. А вот у Камиллы есть в армии паренек. Да что-то замолчал. Месяца два нет писем.

На обратном пути возле одного из высоких домов дорогу мне преградила автомашина с домашним скарбом. Плыли к подъезду зеркала, диван-кровати, кастрюли... Из окон и с балконов выглядывали улыбающиеся лица новоселов.

«Пробивная», — сказала Ираида Ивановна. Это как? Расталкивая других локтями? Правдами-неправдами? Довольно мерзко.

На что надеялась, обращаясь ко мне с просьбой? Что сразу наброшусь на хозяйку? И декан тоже: «Поговорите постороже». Но что же делать? Я попробовал сформулировать ответ: «Извините, гражданка Задонская, но вынуждены поставить вас в известность: людям, которые потеряли наше уважение, мы не помогаем...»

Вот был бы номер! Но скажи я такое Задонской, уверен, не сконфузится. Дверью хлопнет. Да с жалобой к вышестоящим: грабителя, мол, оставляют на свободе.

Когда я ехал в автобусе, мне вдруг припомнились категорические заверения кассирши. Может, и в самом деле она права и деньги выданы Задонской?

## 6. НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ

«Характеристика на студентку 1-го курса Гуревич Камиллу Иосифовну.

Камилла Гуревич при поступлении в музыкальное училище обнаружила неплохие знания по общеобразовательным предметам и хорошие музыкальные данные.

Была определена вольнослушательницей, так как по конкурсу не прошла.

В дальнейшем проявила себя только с положительной стороны. Отличалась упорством, прилежанием, любовью к музыке.

После зимней экзаменационной сессии зачислена студенткой по классу фортепьяно.

В коллективе пользуется уважением. Комсомолка. Является успевающей. С обязанностями агитатора во время выборной кампании справлялась.

По характеру замкнута.

Классный руководитель Бельская».

Характеристика — еще одна страничка в деле.

— К вам гражданочка, — предупредил по телефону постовой. — Пропустить?

— Пропустите.

Дверь распахнулась широко и резко. На пороге стояла Камилла Гуревич, взволнованная, бледная, с каким-то лихорадочным, болезненным блеском в глазах.

— Здравствуйте, — выпалила она. Улыбнулась как-то принужденно, прикусила губу. — Это сделала я! — Точно после хорошего бега, ей не хватало дыхания. — Получилось так... Но поймите... нет, лучше ничего не объяснять. К чему теперь объяснения?

«Явка с повинной», — подумал я, предложив девушке пройти вперед.

Ей стоило больших усилий стронуться с места, точно весь запал ушел на признание.

Нехотя отняла плечо от дверного косяка, подошла к столу походкой сорокалетней грузной женщины.

Выложила из руки новые пятирублевки.

И села, опустив голову. В том же костюмчике и той же белой блузке.

— Те самые? — спросил я, перебирая негнущиеся купюры. Шесть штук.

Отрицательно покачала головой.

«Стало быть те истратила. Самая обыкновенная мошенница...» После разговора с Ираидой Ивановной я еще надеялся, что подозрение не оправдается. «Еще свое отдаст, будьте уверены...» Вот тебе и отдала!

За ярлычком «мошенница» открывалось что-то жалкое, достойное осмеяния и презрения. А ведь девушка на вид заслуживает как-будто лучшей участи. И на мошенницу уж ни чем не похожа.

Словно прочитав мои мысли, она закрыла лицо ладонями, Уткнулась в столешницу. Я увидел, как мелко-мелко вздрагивают ее плечи, и потянулся к графину.

— Успокойтесь. Ну, что же вы... Вы поступили правильно. В конце концов это смягчает вину. Выпейте...

— Нет, я знаю. Ничто меня не спасет, — расслышал я сивозв всхлипания. — Не успокаивайте меня. Для меня все пропало. Все!.. Теперь меня выгонят из училища. Она... Она своего добилась...

Девушка разрыдалась.

— Почему вы не сказали об этом сразу? На первом допросе? — спросил я, когда в кабинете стало, наконец, тихо.

— Что она надо мной издевалась?

— И об этом, и о деньгах.

— Разве что-нибудь изменится?.. И сейчас я вас очень прошу ничего не сообщать Володе. Он в армии... там он служит. Я вам все расскажу... — Гуревич снова заплакала.

А было так. Кассирша тогда болтала о чем-то через стол со своей соседкой. Смеялись. Она сверила реквизиты извещения, заполненные рукой Гуревич, с паспортом Задонской. И выдала деньги.

— Давайте так, — предложил я. — Лучше напишите сами. Собственно-ручно. Но это чуть позже. А вначале поговорим не об этом. О другом. Поговорим на свободную тему, допустим, о вас. Следствию тоже не безразлично, что человек представляет из себя. Какое он получил воспитание?.. Кто его родители? Я слышал, ваша мама — эстрадная артистка?

— Да, — чуть слышно подтвердила девушка. — Но так себе... Да я ее и мамой не считаю вовсе. У меня бабушка — мама.

Мы проговорили потом и час и два, и три. О многом могла бы поведать Камилла еще, слишком много на ее долю выпало в самом начале жизни разной горечи. Оттого и стала, по-видимому, такой замкнутой и серьезной. Трудно жили они с бабушкой.

— А она придет к нам, всего навезет, — рассказывала Камилла про свою мать, — всяких подарков. И все плачет. Смотрит на меня и плачет. Раза три приезжала всего. Но я поняла, когда взрослее стала, что не меня она жалела. Не нас с бабушкой. Себя... Ни разу не пригласила меня с собой... Равнодушная она, моя мать, и очень слезливая, вот она кто...

И еще Камилла сказала мне одно такое слово, которое все это дело поворачивало на сто восемьдесят градусов. Точнее, ставило с головы на ноги. Слово — неожиданность! Слово — выстрел!

Прокурор, рассматривая материалы на арест, не даст санкции на лишение свободы заочно, без предварительной беседы с обвиняемым. Такая беседа должна предостеречь от возможных ошибок. Как бы ни нагромождались обвинения одно на другое, в каких бы смертных грехах человек ни подозревался, может быть такой случай, когда живой разговор с последственным, его объяснение дадут абсолютно иной поворот делу.

До прокурора дело не дошло. Но на нашу с Сашей долю выпал именно такой редкостный случай.

Одно только слово!

— Садитесь теперь на мое место, — говорю я, проникаясь к девушке даже некоторой симпатией. — Вот ручка. Сейчас бумагу... Так. Только подробнее — все, о чем мы говорили. А сверху «Заявление», — показал я и подумал. «Оформим как явку с повинной». — Да. Укажите и дальнейшую судьбу денег, — добавил я. — И почему вы их взяли? Что вас толкнуло на это. Вы понимаете? Я-то знаю, но здесь указать надо. Только подробнее и так же чистосердечно. Ну, не буду мешать.

Я включил лампу и отошел к окну.

Свет на улице мерк постепенно, как в кинозале перед началом киносеанса.

«Саша, наверное, досматривает уже картину, — прикинул я. — Или пьет дома чай. Не знал, а то бы остался...»

...«А Задонская мошенница, — вдруг пришло мне на ум. — Обманым путем хотела заполучить благоустроенную квартиру. А это откуда?..»

«Или-или», — говорил Саша. И вот одна из версий нашла подтверждение. Нашла, да не совсем. Но, в общем-то, он молодец, этот мой новый помощник. И следовательно из него, дай бог, получится со временем неплохой»...

Через полчаса Камилла Гуревич дописывала шестой лист. Писала быстро, точно копировала уже сказанное мне. А может, опасалась, что времени осталось мало и она ничего не успеет.

— Я написала и о письме, — сказала девушка. — Оно пришло вместе со всем. Мне можно будет взять его с собой?

— Пока нет, а там что-нибудь придумаем.

На страницах заявления мелькали знакомые слова: «извещение», «письмо», «Задонская», «обида»...

И быто то самое слово, под впечатлением которого дело могло показаться не таким уж и мрачным.

Она ушла, тихо притворив за собой дверь. Такая же неулыбчивая, серьезная.

Листкам, исписанным девушкой суждено стать предпоследними. Последнее слово оставим Задонской. Я подровнял листки заявления, соединил их скрепкой. Прошелся по кабинету туда-сюда: громыхнула железная дверца шкафа, скрипнули оконные задвижки.

М-да, вот так история...

## 7. РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

— «...Вы служите, мы вас подождем, — ребята часто ставят эту пластинку. Здесь, в армии, песенка звучит по-новому и не надоедает...» — Саша читал громко, четко с видимым наслаждением. Письмо, которое оставила Камилла, я подсунил Саше, как только принесли заключение почерковедческой экспертизы.

«...Песенка настраивает на грустную волну, — читал Саша. — Воспоминания... Вот выхожу из автобуса. Между большими домами виден ваш с бабушкой низенький дом. И ты в окне. Улыбаешься, что-то кричишь. Машешь рукой. Я бегу мимо палисадника, нагибаюсь под ветвями. Мимо стены дома. Скорее... За углом снова вижу тебя...» Судьба дела решена. Специалисты не подвели: заключение подготовлено вовремя. Все правильно: на извещении почерк Гуревич.

Я серьезен на вид и сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Я готовлю Саше сюрприз: заключение экспертизы он пока не видел и всего не знает.

Пятница. Часы показывают половину десятого. До прихода Задонской — полчаса. И я знаю, почему Саша переоделся сегодня в гражданское, почему пришел в отлично отутюженном костюме, с широкими по-модному лацканами, в белой рубашке с галстуком-бабочкой. Я знаю, что будет через полчаса, и мне становится жаль Сашу.

«...А помнишь наш неудавшийся культпоход в кино? — читал Саша. — Я ждал тебя у аптеки на троллейбусной остановке. Первый, второй троллейбус... Тебя не было. Начался и прошел дождь. Троллейбусы шли и шли. Я лишь подсчитывал. За два часа их прошло сорок. Решил, хватит... И вдруг, проезжая мимо кино, я увидел тебя. Помнишь, с обидой на лице ты отвернулась, хотела уйти, когда я подбежал?.. Мы все перепугали! Ты вышла из троллейбуса на одну остановку раньше. Всего лишь. Ждала у кино, а я у аптеки...»

— Так, значит, завтра на том же месте, в тот же час, — подытожил

Саша словами песенки. — А что это за письмо? — спросил он. — Ничего не пойму. Шутка?

— Читай, читай, — тороплю я. — Подходишь к главному.

— «...Рядовой Макридичев опять балагурит. Ребята смеются, а мне невесело, как и все это время, — терпеливо читал Саша. — Ты знаешь мой дурацкий характер, Камилла...»

— Гуревич, что ли?..

— Читай, читай.

— «...знаешь мой... характер, Камилла. Знаешь, что меня может на какой-то момент вышибить из седла. И я не стремлюсь подняться сразу. Не стремлюсь выяснить, чего-то добиваться сразу же, давать обидчику отпор, выяснять какие-то отношения. Но проходит время и появляется желание «помахать кулаками», показать зубы. Я не писал себе, отмалчивался по своей предательской привычке и теперь жестоко казню себя за это. Какое имел право забыть все наше. Все! Поверить этой жалкой писульке...»

— Стоп! — оборвал я чтение. — Теперь слушай меня. «Рукописный текст записки, — прочитал я первый пункт заключения экспертизы, — выполненный черными чернилами, начинающийся словами: «Дорогой солдатик» и оканчивающийся: «Доброжелательница», исполнен левой рукой Задонской».

Сашины веки дрогнули. Он приподнялся со стула, подавшись всем телом ко мне.

— Задонской, — повторил я. — Анонимка пришла обратно вместе с письмом.

— Задонской? Вы шутите? — пробормотал Саша. — Дайте взглянуть.

— Сюрприз второй, — сказал я, отодвигая его руку. — Вчера после твоего ухода Гуревич явилась с повинной. Деньги Задонской получила она, но мы...

— В корне не согласен! — Саша вскочил. Заволюбовался. Без видимой причины начал переставлять на столе чернильницу, стакан с карандашами. — Какой же сюрприз? Я доложил: «Или-или». Разве неожиданно? Одно подтвердилось. Теперь все ясно. — Саша говорил быстро, не глядя на меня.

Я хмыкнул:

— Что молодому оппоненту ясно?

— Объявим Гуревич статью. В чем обвиняется. Так — Саша пригнул палец. Он по-прежнему на меня не смотрел. — Разъясним процессуальные права. — Пригнул второй палец. Задумался на секунду и заторопился: — Изберем меру пресечения, скажем, подписку о невыезде. Арестовывать не будем. Три! Представление в училище: «Куда смотрели?» Четыре! Ознакомление обвиняемого с делом. Обвинительное...

— Нет, мы не будем отдавать Гуревич под суд, Саша, И в этом сюрприз второй. Ты не дал мне досказать. И представления не будет. Дело подлежит прекращению. Потом сдадим в архив. Теперь все ясно?

— Вы что, серьезно? Н-не понимаю. Поблажка? — опять зачастил он. — Из-за Задонской?

— Ты полагаешь, что это тот случай, когда, допустим, жертвой хулигана оказался злостный неплательщик алиментов? И неплательщика не очень-то хочется защищать?

Саша передернул плечами.

— Но даже тогда хулиган получит по заслугам, Это совсем другой случай, Саша.

— Деньгами она не воспользовалась, вот в чем суть.

— Хорошенькое дело, — заводновался Саша опять. — Если я прикарманю что-нибудь, украду и не буду пользоваться — я и не вор?

— Она их сожгла, — сказал я. — Получила и сожгла, чтобы в чем-то досадить своей обидчице. Мстила ей по-своему.

И я подробно рассказал о вчерашнем разговоре с Камиллой Гуревич.

— Своей соседке по комнате я никогда не могла ответить так, как надо бы. Никогда... — говорила она. — У нас с Володей характеры одинаковые. Даже на удивление. Я никогда почему-то не могу дать отпор сразу. Почему-то слова нужные приходят потом, когда уже поздно. Отчего не сразу? Просто паралич какой-то от обиды. — Она медленно провела рукой по щеке, голос зазвучал глуше. — Мы часто с ним переписывались. Каждую неделю приходило от него по несколько писем. Но вдруг замолчал. Думала, думала... Или несчастье там какое? Хотела командиру части написать, — девушка потупила взгляд. Она смутилась еще больше, но заставила себя выговорить — Вы даже не представляете, что для меня Володя... — И примолкла.

Я не торопил ее. Молчание длилось несколько секунд.

— Только он и бабушка... А мама... — Камилла, наконец, подняла голову. — Как она смела распускать клевету! Боже мой! Какая подлость! Мало ей было других издевательства? Ведь я слышала об этом обществе «Эксплуатируем карманы юношей». Очередная ее шутка. Помню, еще зимой она веселила этим подружек... А вначале Задонская мне понравилась, — припомнила Камилла. — С ней, думала, не соскучишься. Друзей у нее много. Думала, подружмся. Но потом... начался какой-то кошмар. Эти замечания, ухмылочки. Ноты потерялись, переискала их везде, так неудобно было перед преподавателем. На два дня мне давала, под честное слово. Через два месяца нахожу их случайно под баком в чулане. Она спрятала, больше некому. Мухи... Может, не поверите, но плохого я ей ничего не делала. Даже не отвечала на ее шуточки. На подлости тоже... Как-то не могла. Конечно, расстраивалась. Старалась дома бывать реже.

— А кто у нее родители, вы не знаете?

— Она говорила, что отец у нее крупная величина, а где — я не запомнила что-то... Да и пропустила как-то мимо внимания. А в последние месяц-два мы совсем не разговаривали. Я вдруг поняла, что ненавижу ее самым настоящим образом. О, она хорошо постаралась, чтоб это со

мною случилось... Как ходит! Как она говорит! Ее самодовольство. Смех. Желание командовать всеми. Ненавижу буквально все. Все — все! По-няла, что надо немедленно бросить квартиру, иначе не знаю, что будет...

— Как раз этого она от вас и добивалась. Чтоб вы съехали.

— Да, я знаю теперь. Ираида Ивановна объяснила... А тут письмо Володино. Знаете... столько молчал. Разрываю конверт, и... эта мерзкая записка. Ну, такое во мне поднялось! Прямо не знаю, что бы я с нею сделала. Отомстит! Только это! Думаю: ты такая, и я тебе так же. Получай! И больше ни о чем другом... ни о чем не хотела думать, — сквозь смуглоту ее щек явственно проступил румянец. — Посидишь хоть без денег, может, узнаешь, как мне достается. Понимаю, все это несерьезно. Надо было не так. По-взрослому как-то. Но нормальные мысли пришли поздно, слишком поздно... Все рассказала Ираиде Ивановне, а она немедленно послала к вам...

Я где-то читал: в арсенале заплечных дел мастеров имеется изуверская пытка — капать водой с высоты на затылок. Методически и длительно повторяемый удар капли в одно и то же место непереносим. Жертва сходит с ума.

Примерно так, наверное, нагнетались в Гуревич неприязнь к Задонской и чувство сопротивления. Обида за обидой. Кап! Кап! Человек впечатлительный и скрытный, девушка все более замыкалась в себе, в своих огорчениях. Молча переживала каждый удар. А они становились по закону повторения все ощутимей, больней. Внутреннее напряжение до поры не получало разрядки. И вот после того, как анонимка попала ей в руки, произошел нервный срыв. Действовала она безусловно в стрессовом состоянии — в перенапряжении душевных сил.

К концу моего рассказа Саша опять был самим собой. Только раз по его лицу пробежала горькая, жесткая усмешка.

— Пепел! Где пепел? — Саша пошел в угол комнаты и шкафу. — Там?

— Твой трофей у меня, — я выдвинул ящик стола. — Смотри.

На горстке пепла лежал тот же не догоревший бумажный уголок — величиной чуть больше спичечной головки.

— Теперь сравни с другим. — Я достал из ящика второй точно такой же уголок, блестящий желтоватый с одной стороны. — Видишь, сходны. Но второй получен экспериментально. Очень просто! Отрезать от пятерки уголок, от белой ее полоски, и поджечь. Этот пепел — деньги, Саша. Точнее, остатки денег, обваруженные тобой в печке...

Забегая вперед, замечу, что впоследствии это было полностью подтверждено выводами экспертизы.

— А мы с тобой и не догадались. Выходит, плохие мы нат-пинкертон!

— А вдруг она часть сожгла для вида, а другую — прикарманила? — с вызовом спросил Саша, и я увидел, как он украдкой взглянул на часы. До прихода Задонской оставалось всего три минуты.

— Какой ты рационалист, однако.

— А умышленное уничтожение имущества? — примерил Саша другую статью. — Что, не подходит, скажете?

— Статья-то подходит, — ответил я, — но посуди сам: явка с повинной, ущерб возмещен. Нужно ли привлекать Гуревич?

— Пожалуй... — Саша пришел в движение, будто ожившая фотография. Он опять не смотрел на меня и бубнил, частил без остановки: — Видите! Значит, осмотр нужен! Ага, кто оказался прав? А если бы я не нашел? Если бы осмотра не было?.. — Он тогда не понял моей иронии. Разумеется, осмотр был необходим. Но поздно оправдываться.

— Если бы да, кабы... Результат один. Презумпция невиновности. Знаешь?

— Еще бы! — упавшим голосом сказал Саша. — Следовательно обязан исходить из предположения, что лицо невиновно.

— Пятерка, — похвалил я. — Завтра на планерке доложишь это дело. Любопытный оборот все-таки!

Но Саша почему-то сник и слушал с прохладцей. Он опять сидел в любимой позе, крутил двумя пальцами прядку волос. В сквере, куда поглядывал Саша, бегала детвора. Пенсионеры отдыхали на лавочках. Проехала поливочная машина, провезла перед собой радугу из водяной пыли.

— Мне бы о другом, — запоздало отозвался Саша. — О настоящем раскрытии бы. Про настоящего преступника. А это — какое-то исключение из правила. Вы уж сами... — Он как-то уныло подергал себя за лацкан пиджака.

— Чудак-человек! — изумился я. — Будет другое! Будут раскрытия. Но пойми.. А, впрочем, — махнул я рукой, — сам разберешься.

Итак, Гуревич кара в виде лишения свободы на определенный срок не грозит... Но ведь она выступила под фамилией Задонской — налицо обман. Она завладела чужим денежным переводом. Как будто все ясно. Отнеслась без должного почтения к Уголовному кодексу. Пиши: «Преследуя цель незаконного обогащения...» Или: «Из стремления извлечь материальную выгоду...» Но, выходит, не преследовала. Не стремилась! Не было корыстолюбия. А было душевное волнение, сгусток обид, желание отомстить...

Уникальный в своем роде случай. «Сожгла» — это то самое слово, которое вмиг осветило всю историю иным светом. Умысла на присвоение — нет!

Саша вторично перечитывал заключение экспертизы. Вертел в руках анонимку.

«Поведение Задонской заслуживает самого широкого обсуждения в институте», — укажем мы в представлении. «В результате халатного отношения кассира почтового отделения к своим обязанностям стало возможным...» — укажем в другом официальном послании.

Время отсчитывало последнюю минуту до прихода Задонской. В том, что она заявится, я не сомневался. Я встал, чтобы забрать у Саши бума-



ги. Потом достал папку с обвинительными заключениями. Полистал. После каждого проведенного дела я один экземпляр оставляю себе на память. Когда-нибудь я узнаю, как сложилась дальше жизнь моих подследственных. Есть такая мысль...

— Ничего, Саша, где наша не пропадала?!

Он ответил какой-то скользкой, незрелой, стеснительной улыбкой. А парень-то принарядился: новенький костюм, модный галстук. Жаль, конечно, его. Ну ничего, бывает и хуже. Выдюжит.

В коридоре по паркету весело зацокали каблучки. Идет.

— А что мы ей скажем? — как будто без интереса спросил Саша, рассматривая свои ногти.

— Отдадим деньги, — ответил я. — Ты, помнится, говорил про точное попадание в носителя зла? Про разговор по душам?.. Ну вот. Похвалим ее за преднамеренную травлю. За гаденькую, как ты сказал, анонимку. Для такого разговора мы созрели вполне. Не ожидал? Оба созрели.

Я увидел, как Саша выпрямился на стуле и побледнел.

С порога нам улыбалась Задонская. Приветливая, как всегда.

ОЛЬГА ЛАГУНОВА

## Страницы истории Сибири в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка

Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка неотделимо от темы Урала, давшего писателю богатейший материал, который лег в основу большинства его произведений. Но мало кто знает Мамина-Сибиряка как публициста и художника, создавшего яркие картины исторического прошлого Сибири.

История России глубоко волновала писателя на протяжении всей его литературной деятельности. Мамин не жалел ни сил, ни времени на изучение исторических документов, архивных материалов, народных преданий.

Глубокое знание прошлого своего народа помогало писателю в поиске ответов на жгучие, животрепещущие вопросы современности. О чем бы ни писал Мамин, он прежде всего стремился нащупать корни, из которых произросло исследуемое явление, и потому рассматривал его в историческом аспекте.

Мамин-Сибиряк был одним из первых, кто приложил свой талант к художественному осмыслению исторического прошлого Сибири. Оно, это прошлое, представлялось писателю настолько богатым выдающимися событиями, характерами, конфликтами, что он искренне сожалел по поводу невнимания к истории Сибири русских ученых и литераторов.

Вот что писал Д. Н. Мамин-Сибиряк в 1881 году в очерке «300-летний юбилей завоевания Сибири»:

«Все наши сведения... о Сибири ограничиваются сухими официальными данными ученых, главным образом, занимавшихся естественно-историческим исследованием этого интересного края и десятками двумя-тремя монографий, разбросанных по периодическим изданиям. Самые ценные материалы о сибирской старине хранятся еще нетронутыми по архивам и в записках частных лиц. Они терпеливо дожидаются своего историка, который по этим историческим данным воспроизведет сибирскую историю.

Конечно, это будет гигантский труд, который на одну подготовительную черновую работу потребует сотни, даже тысячи трудолюбивых рук, но можно с уверенностью сказать, что этот труд будет вполне благодарным по своим результатам и развернет перед потомством страницу за страницей, может быть одной из самых любопытных эпох существования русского народа».

Сам Мамин-Сибиряк предпринимал попытку заинтересовать, увлечь сибирской стариной исследователей и широкий круг читателей, и хотя истории Сибири он посвятил всего несколько произведений, они значительно заполнили отмеченный писателем пробел, так как каждый его рассказ или очерк — необыкновенно ярко воссоздавал наиболее значимые события прошлого этого края.

К сожалению, почти все написанное Маминым на эту тему, незаслуженно забыто теперь. Некоторые его произведения, как «300-летний юбилей завоевания Сибири», «Покорение Сибири», остались на страницах ушедших в прошлое газет и журналов. («Русские ведомости» 25 октября 1881 г.; «Иллюстрированный журнал для детей старшего возраста» 1882. кн. 2) Другие, как «Наши инородцы», до сих пор лежат нетронутыми в рукописях. Иные же, как «Клад Кучума», или «Сказание о сибирском хане старом Кучуме», впервые опубликованные в литературном приложении к «Ниве» № 3 за 1897 г. и в «Наблюдателе» за 1891 г. не переиздавались с 1916 г. и являются ныне библиографической редкостью.

Сибирь интересовала писателя как малоисследованный, малоизвестный район страны, как кладовая несметных природных богатств и как арена, на которой многие века разыгрывалась кровавая трагедия малых народов. Первый акт этой трагедии начался задолго до покорения Сибири Ермаком. Так называемое Сибирское царство, последним владыкой которого был Кучум, могло служить образцом азиатского порабощения и угнетения татарскими феодалами малых народов Севера. Вся история Сибирского царства — это история героической борьбы разобщенных, угнетенных, задавленных нуждой и невежеством малых народов за свою свободу и независимость. И присоединение Сибири к России для них было актом спасительным. Все это прекрасно понимал Мамин-Сибиряк и с этих позиций подходил к оценке тех или иных моментов в истории Сибири. Он не просто детально описывал день за днем, год за годом жизнь Сибирского царства, а увязывал происходящее здесь со всей историей России, концентрируя свое внимание на переломных событиях.

Присоединению Сибири к России Мамин посвящает как специальный очерк «300-летний юбилей завоевания Сибири», так и очерки «Покорение Сибири», «Клад Кучума», «Сказание о Кучуме», в основу которых положены научные исследования, народные предания и легенды, а также «Сибирские Летописи» 1880-х годов.

О том, как готовился поход Ермака, как Строганов собирал и копил силы для этого похода, как в том помогало ему Русское государство на-

ибо более подробно Мамин описал в очерке «300-летний юбилей завоевания Сибири».

Здесь, как и в других названных произведениях, господствует мысль о необходимости и прогрессивности присоединения Сибири, которую писатель считает по своим природным богатствам «золотым дном», «сплошным кладом». Но богатства эти оставались нетронутыми, так как малочисленным, безграмотным, отсталым малым народам не под силу было самим снять с Сибири «роковой зарок».

Аборигены таежного края были разобщены, распылены на гигантской территории. Вся их энергия уходила на то, чтобы выжить, продлить свое существование. И присоединение к России было единственным путем спасения этих народов от вымирания. Однако экономическая слабость царской России, косность и консервативность ее правящей верхушки, суровый климат, бездорожье и безлюдье Сибири на долгие годы затянули процесс ее экономического и духовного развития. Самодержавное правительство смотрело на Сибирь как на сырьевую окраину, как на место ссылки неугодных опальных людей. И не случайно Мамин-Сибиряк в очерке «300-летний юбилей завоевания Сибири» писал:

«При всем желании помянуть добрым словом прожитые сотни лет, мы должны сознаться, что не сделали ничего, и все богатства Сибири лежат нетронутыми, за исключением, может быть, драгоценных металлов и пушного зверя — земледелие, скотоводство, промыслы — лесной, рыбный, промышленность обрабатывающая — все это находится в зачаточном состоянии; пути сообщения, народное образование, торговля — тоже».

Мамин-Сибиряк неоднократно подчеркивал, что все, связанное с освоением Сибири и судьбами населяющих этот край малых народов, представляет «капитальную важность». Писатель объективен в оценке русского влияния на «инородцев». Наряду со светлыми сторонами, он отмечает и темные стороны русской колонизации.

«Водка, сифилис, кабала и эксплуатация русских промышленников, произвол и безучастное отношение сибирской администрации, наконец, соседство беглых и ссыльных поселенцев — вот плоды той роковой цивилизации, от одного прикосновения к которой народы гибнут и вымирают...

Инородцы ухитрялись существовать при сорокаградусном сибирском холоде и всяческих случайностях и невзгодах, неразлучных с бытом дикарей, при периодических голодовках и повальных болезнях, междоусобных бранях — все это перенесли эти жалкие существа, а благоденствий нашей цивилизации не могут перенести».

Мамина глубоко волновало будущее ханты, манси, ненцев, селькупов и других малых народов Сибирского Севера. Все его произведения в той или иной степени касаются национального вопроса — самого сложного и злободневного в царской России, которую Ленин называл «тюрьмой народов». Актуальность этого вопроса, в частности, подтверждалась и тем, что на его решении сосредоточивали свое внимание многие современники писателя — историки, философы, литераторы.

Прогрессивных деятелей России глубоко возмущали самодержавный гнет и жестокая эксплуатация «инородцев». Салтыков-Щедрин, Успенский, Мамин, Нафедов проявляли горячее участие в судьбах ограбленных царизмом малых народов, горячо защищали их права, гневными статьями и очерками разоблачая и бичуя колонизаторов.

Исторические экскурсы в прошлое угнетаемых малых наций, разоблачение безжалостной истребительной национальной политики царского самодержавия, сделавшего шовинизм официальной государственной программой, свидетельствовали о прямом вторжении Мамина-Сибиряка в вопросы политики.

Мамин-Сибиряк по своим взглядам на национальный вопрос принадлежал к демократическому направлению в русской литературе. Ему, как публицисту и автору крупных художественных произведений, никогда не изменяло чувство высокого гуманизма и интернационализма.

«В очерках о покорении Сибири, написанных к трехсотлетию ее присоединения к России, он с полным знанием дела говорит о походе Ермака и о причинах, сделавших Сибирское царство неустойчивым. В них нет и тени высокомерия по отношению к побежденным народам, страдавшим от грабительского и разорительного для них хозяйничанья собственных ханов, налетов князьков и баев, возглавлявших кочевые народы Средней Азии». (И. А. Дергачев, «Жанр легенды в творчестве Мамина-Сибиряка и пути развития русской литературы».)

Описывая быт, нравы, обычаи малых народов Обского Севера, писатель восторгается их силой, выносливостью, стойкостью, терпением. Мамин считает, что эти «инородцы» оказали огромную услугу России, сохранив жизнь белой северной пустыне. Постоянное, ежечасное, неравное единоборство с суровым климатом, гнусом, непроходимыми болотами и таежными чащами требовали от этих людей с примитивными орудиями труда высочайшего мужества, ловкости, воли. Писатель славит за то эти народы, восхищается их трудолюбием, упорством и смелостью. «Жизнь тунгусов, самоедов, остяков, вогулов, — писал Мамин, — сравнительно с нашей была сплошной цепью самого тяжелого и неблагоприятного труда, забот и постоянных неудач». Над этими народами висела реальная угроза полного исчезновения с лица земли от голода и болезней. Обычным явлением был для них падеж оленей. Начинался голод, безжалостно уносящий с собой многие жизни. Нередко в тундре можно было на месте недавних стойбищ увидеть груды человеческих и оленьих костей. Это были немые свидетели страшных трагедий, следы эпидемий тифа, оспы, холеры, уносящих из жизни не только отдельные стойбища, но и целые рода.

Официальная статистика дореволюционной России свидетельствовала, что на 1000 северных «инородцев» ежегодно рождалось 36, а умирало 88 человек. Без всякого стеснения некоторые буржуазные ученые России утверждали, что силою обстоятельств и прирожденной неполноценностью этим народам сама история уготовала полное вымирание. На этой позиции стоял даже такой известный исследователь Западной Сиби-

ри как А. А. Дунин-Горнавич или Н. Лебедев. Оба эти «теоретика» старательно замалчивают классовую суть происходящего.

Вопреки подобным утверждениям, Мамин (как мы уже сказали) считает главной причиной трагедии малых народов национальную политику царизма, несущего бесправие и гнет. Писатель верил в жизненные силы малых народов, поднимал голос в их защиту.

Повествуя о важных переломных событиях, составляющих историю Сибири, Мамин-Сибиряк предстает перед нами не только как публицист, но и как замечательный художник. Его очерки—это не просто сухие, бестрепетные, насыщенные добросовестно собранными фактами и цифрами экскурсы в историческое прошлое. Очерки Мамина—это яркие, написанные сочными красками, взволнованные повествования.

«...Казак поднимаются уж вверх по Иртышу к городку мурзы Атика. Грозно надулась сердитая река, со стоном бьются о берега седые волны, рассыпаясь серебряной струей, а сверху глядит на казаков осеннее серое небо, холодное и суровое, как лицо мертвеца. С жалобой бежит ветер по высокой степной траве, точно он ищет кого-то и тоже стонет, как стонет по ночам Иртыш. Черные вороны стаяй провожают казацкие струги и ждут кровавой добычи. По Иртышу к Искеру идет страшное и великое горе, а над казацкими стругами невидимо летит смерть...

Близится день и час, когда по степным стойбищам, улусам и займищам горько заплачут тысячи татарок об убитых мужьях, отцах и детях, и на далекой русской стороне ответят им тем же матери, жены и дочери казаков. Это суд божий, и никто не может остановить его ни на одно мгновение». Это отрывок из «Сказания о Кучуме» Мамина-Сибиряка, которое не только подтверждает вышесказанное, но приоткрывает нам еще одну грань таланта Мамина, которая необыкновенно ярко проступила в его «Аленушкиных сказках». Сказовые элементы в различной степени просматриваются и в других его произведениях. И тот факт, что писатель прибегает к этой форме для развития исторической темы, свидетельствует не только о многообразии его таланта, но и о том, насколько большое внимание уделял он проблемам истории. Всю свою палитру художника использует Мамин для того, чтобы полнее и шире осветить волнующие его моменты из прошлого Сибири.

Сочетание исторической достоверности с высокой поэтичностью в «Сказании о Кучуме» сразу привлекло к нему внимание читающей России. Знаменитый русский композитор Рубинштейн решил написать оперу на сюжет «Сказания». Об этом мы узнаем из письма Мамина матери от 14 сен. в 1892 г.

«Рубинштейн присылал ко мне одного из своих адъютантов за легендой о Кучуме, из которой он хотел сделать оперу. Выйдет из этого что-нибудь или не выйдет—трудно сказать. Жаль только, что я поздно напечатал эту легенду, ибо Рубинштейн уезжает на 1½ года в Америку, да и стар он...»

«Сказание о Кучуме» выделяется из всего написанного Маминым о

походах Ермака. Подобно русским былинам, здесь удивительно сочетается живописность слова с точным соблюдением исторических фактов. Неторопливо, эпически медленно, но и в то же время не упуская никаких деталей и мелочей рассказывает писатель о том, как собирал силы сибирский хан Кучум для того, чтобы отстоять свои владения от нашествия казаков. Под свое крыло стянул Кучум не только татар, но и зависящих от него остяков и вогулов.

Понимая прогрессивность и необходимость проникновения русской культуры и цивилизации в Сибирь, Мамин вместе с тем, в отличие от некоторых русских историков, без пренебрежения относится к татарам, объективно оценивал их позицию. Он не злорадуется по поводу их поражения, не глумится над их недостатками, а описывает происходящую борьбу за Сибирь, как исторически неизбежную, но тем не менее глубоко трагическую страницу в жизни сибирских татар.

Здесь с новой силой проявляется интернационализм писателя, его заинтересованно доброе, сочувственное отношение к малым народам.

В «Сказании» Мамина-Сибиряка Кучум предстает перед нами как умный военачальник, тонкий и хитрый дипломат, жестокий восточный властелин. Он далеко не идеален. Властолюбив и коварен, не по годам сладострастен и жаден. Но сотканный из этих противоречий образ Кучума все-таки не вызывает отвращения. Писатель сочувствует ему. И не случайно в финале «Сказания» свершается чудо, которое помогает Кучуму избежать гибели. А последние страницы повествования, рассказывающие о приходе царского посла в ставку разгромленного, слепого, обездоленного, лишенного армии Кучума, вновь утверждают непокорный дух этого Человека, его веру в правоту своих дел. И здесь Мамин слагает гимн немногочисленному, но вольнолюбивому, мужественному и смелому татарскому народу.

Однако, понимая, что возрождение Сибири, ее обновление и расцвет целиком связаны с присоединением этого гигантского края к России, Мамин большую часть своих симпатий отдает Ермаку, поэтизируя атамана и его войско, проторившее в глухую и дикую Сибирь дорогу русской культуре, науке и цивилизации. Образ Ермака, «друга голытьбы», глубоко интересует Мамина. Еще в 1875 г. писатель просит отца собирать и сообщать ему рассказы о Ермаке. Он показывает М. И. Куприной-Иорданской материалы для исторической повести о Ермаке и говорит, что собирается писать о нем, т. е. в Сибири и на Урале еще живут «прекрасные старинные предания и песни о Ермаке и его казачьей вольнице».

Ермак в «Сказании о Кучуме» Мамина — это живая легенда, это средоточие всех лучших черт русского народного характера. Он мудр, храбр, добр, доверчив, отважен в бою. И нет для него на свете ничего дороже и святее России. Он прям и честен, как настоящий русский солдат, и на вероломство и коварство врага он отвечает прямодушием и честностью. Именно этим и силен Ермак, именно этим он страшен для Кучума. Атаман знает, что малым, обездоленным народам Сибири несет новую жизнь,

а этому огромному краю долгожданное обновление. В этой вере — бессмертие Ермака.

Неколебимая вера в близкое светлое будущее Сибири, пронизывающая все произведения Мамина — залог их бессмертия.

«Значение Сибири, — пишет Мамин в очерке «300-летний юбилей завоевания Сибири», — с каждым годом будет увеличиваться...

Сибирь в нашем представлении неразрывно связана с именем ссыльных и каторжных, будем надеяться, что в недалеком будущем с именем Сибири будут еще более неразрывно связаны: сибирская пшеница, сибирский скот, сибирское железо, сибирский каменный уголь, сибирские меха, леса, рыба и длинный ряд изделий обрабатывающей промышленности».

Мамин мечтал о том времени, когда «пропадающие втуне силы природы» будут «служить на потребу русского человека». С думами писателя созвучны слова героя его романа «Без названия» Окоемова:

«Вся Сибирь в будущем. И даже страшно подумать об этом будущем, настолько оно грандиозно, начиная с неисчерпаемых сибирских сокровищ. Где теперь живут 5—6 миллионов населения с грехом пополам, будут жить сотни миллионов... Посмотрите, какой особенный здесь народ, сравнительно с коренной Россией. Вообще хорошо...»



ЛАРИСА БЕСПАЛОВА

## Наталья Долгорукая в Березове

Знаменитый поэт-декабрист Кондратий Рылеев был пылким патриотом, горячо интересовался славной русской историей, гордился замечательными людьми прошлого. В 1821—22 годах он создал цикл дум — своеобразных стихотворений с исторической тематикой. Воспел Дмитрия Донского, Ермака, Сусанина, Петра I.

А в некоторых думах поэт обратился к образам прекрасных русских женщин. Одна из них в монологе, идущем от самого сердца, произносит:

...Была гонима всюду я  
Жезлом судьбины самовластной;  
Увы! Вся молодость моя  
Промчалась осенью ненастной.  
В борьбе с враждующей судьбой,  
Я отцветала в заточенье,  
Мне друг, прекрасный и молодой,  
Был дан, как призрак, на мгновенье.  
Забыла я родной свой град,  
Богатство, почести и знатность,  
Чтоб с ним делить в Сибири хлад  
И испытать судьбы превратность...

Интересна судьба женщины, в уста которой Рылеев вложил столь откровенные и мужественные слова.

...Всем известен могущественный сподвижник Петра А. Д. Меншиков, сосланный когда-то в Сибирь, в далекий глухой Березов — почти к Полярному кругу. Популярности этой колоритной исторической фигуры способствовала и картина В. И. Сурикова «Меншиков в Березове». А между тем в XVIII веке Меншиков не был единственным знатым узником Березова. Почти в те же годы там находилась в изгнании и опальная княжеская семья Долгоруких вместе с юной княгиней Натальей Борисовной. Ее не ссылали — она предварила подвиг жен декабристов, отправившихся в Сибирь к мужьям.

Драматическая жизнь Натальи Долгорукой послужила темой для повестей, романов и поэтических произведений в русской и мировой литературе. Ее воспел, например, поэт И. И. Козлов. О ней и написал свою думу «Наталья Долгорукая» Рылеев.

О судьбе своей она рассказала и сама в «Памятных записках княгини Натальи Борисовны Долгорукой». Ее простой рассказ не предназначал-

ся для печати, она писала свою безыскусную повесть уже в конце жизни — для сына, невестки и внучат. Однако ее «Записки» — выдающийся мемуарный памятник XVIII века. С их страниц слышится живой, страдающей и вместе с тем мужественный голос женщины, явившейся жертвой придворных интриг, последовавших после смерти Петра I. «Записки» отличаются напряженным драматизмом повествования, искренностью и силой чувств.

Мемуары княгини интересны не только для познания ее горестной судьбы. Они запечатлели и черты эпохи, в которую жила Наталья Борисовна, они дают яркое представление о нравах придворных кругов XVIII века, а также отражают отдельные события времени царствования Петра II и Анны Иоанновны.

Наталья Борисовна Долгорукая была младшей дочерью сподвижника Петра I выдающегося русского полководца — фельдмаршала графа В. П. Шереметева, о котором Пушкин упомянул в «Полтаве» как об одном из «птенцов гнезда Петрова»:

И Шереметев благородный,  
И Брюс, и Боур, и Репнин...

Она родилась в 1714 году, за пять лет до смерти Шереметева. «Я осталась малолетна после отца моего... Однако я росла при вдовствующей матери моей во всяком довольстве, которая старалась о воспитании моем, чтоб ничего не упустить в науках,» — рассказывает княгиня. Но мать умерла, когда дочери шел 14-й год.

В 16 лет Наталья Борисовна стала невестой молодого князя Ивана Алексеевича Долгорукого. «Первая персона в нашем государстве был мой жених», — пишет княгиня. И она не преувеличивает. В короткое царствование юного Петра II (1727—1730) Долгорукие, а особенно семья обергофмейстера, члена Верховного тайного совета князя Алексея Григорьевича Долгорукого, стали необычайно могущественными. Именно они — более, чем кто-либо, добивались падения всесильного Меншикова и ссылки его в Березов вместе с сыном и двумя дочерьми (из которых Мария — бывшая невеста Петра II).

А. Г. Долгорукий решил выдать за царя свою дочь Екатерину. Он познакомил Петра II с красивой образованной княжней, и император сделал ей предложение. Это событие было воспринято Долгорукими с большим торжеством.

22-летний сын князя Иван Долгорукий, обер-камергер двора и майор Преображенского полка, был всесильным любимцем и самым близким другом Петра II. Они были неразлучны и проводили время в кутежах, забавах, особенно любя охоту. Некоторые современники отзываются об Иване Долгоруком как о человеке не злом и не корыстолюбивом, но достаточно легкомысленном.

Наталья Борисовна искренне привязалась к своему жениху, причем к ее чувству примешивалась и гордость его блестящим положением: «Думала, я первая счастливица в свете... При всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии... Я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонным...» В декабре 1729 года в Москве необычайно пышно прошло их обручение, на котором присутствовал сам император и его двор, русская знать и иностранные посланники.

Но судьба оказалась жестокой и к Долгоруким, и к Наталье Борисовне. «Мое благополучие и веселье долго ль продолжалось? Не более как от декабря 24 дня по 18 января...» Царь Петр II заболел оспой и в ночь на 18 января 1730 года, как раз назначенное для его свадьбы с княжней Екатериной, умер. Эта неожиданная смерть повергла Долгоруких в

страшное смятение: все, что созидалось путем политических интриг, происков, хитро продуманных планов — все рухнуло.

Записки Натальи Борисовны запечатлели картины печальной церемонии — погребения в Москве 11 февраля 1730 года Петра II. (Сын царевича Алексея был настроен против преобразований своего деда — Петра I. Он не захотел оставлять столицей Петербург и вместе со своим двором переехал в древнюю столицу русских царей — Москву).

И вот в России «сделалась коронная перемена»: на русский престол взошла Анна Иоанновна. Через несколько дней после похорон, 15 февраля, было другое событие — торжественный, «со звоном, с пушечной пальбой», въезд новой императрицы в Москву. «Престрашного была звору. Отвратное лицо имела: так была велика, когда между кавалерами идет, всех головою выше и чрезвычайно толста», — отметила (возможно, с предубеждением) Наталья Борисовна, увидев царицу.

Очень скоро девушка заметила резкую перемену в окружающих не только по отношению к Долгоруким, но и к ней. Былое преклонение и заискивание со стороны низкопоклонной знати сменилось пренебрежением и невниманием: «Куда девались искатели, друзья?.. Все меня оставили в угодность новым фаворитам». Родственники, предвидя падение Долгоруких, настойчиво советовали Наталье Борисовне отказать князю Ивану, но измена слову казалась ей бесчестной: «Честна ли это совесть, когда он был велик, так я с радостью за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему?»

В апреле 1730 года, состоялась грустная свадьба графини Шереметевой и князя Ивана Долгорукова, омраченная предчувствием близких несчастий. «Какая это разница — сговор и свадьба? «Там все кричали: Ах! как она счастлива! А тут провожают и плачут — знать, что я всем жалка была». И уже через три дня после свадьбы последовал указ о ссылке Долгоруких в их пензенские вотчины — за 800 верст от Москвы.

Жестокие гонения, обрушившиеся на Долгоруких после воцарения Анны Иоанновны, имели несколько причин.

Петр II не оставил завещания о преемнике. Когда мертвый император лежал в своих покоях, здесь же, во дворце, наполненном запахом ладана, спешно собрался Верховный тайный совет. В нем главенствующую роль играли князь Долгорукий.

«Верховники» решили избрать на русский престол племянницу Петра I курляндскую герцогиню Анну Иоанновну. Они надеялись, что эту незначительную особу можно будет легко забрать в руки. Но попытка ограничить власть новой императрицы «кондициями» оказалась неудачной.

И в дальнейшем Анна Иоанновна не терпела вообще всех «верховников», посягнувших, было, на неограниченность ее власти. Все они подверглись преследованиям.

Долгоруких также обвинили в присвоении ценностей из государственной казны, к чему князь Алексей Григорьевич при Петре II и в самом деле приложил руку. А потом последовало еще более страшное обвинение — в государственной измене.

Когда умирающий император-подросток метался в бреду, князь Алексей Григорьевич решил составить подложное завещание от имени царя. В нем Петр II, якобы, передавал престол своей «государыне-невесте». Подпись за царя под давлением своего корыстолюбивого и тщеславного отца легкомысленно поставил Иван Долгорукий.

Хотя подложный документ, видимо, был сразу же уничтожен, тем не менее на совещании «верховников» после смерти Петра II А. Г. Долгорукий заявил о праве его дочери на престол. Правда, члены совета, оше-

ломленные этим дерзким заявлением, с ним не согласились. Но у императрицы появились причины для преследования Долгоруких.

Да еще Анна Иоанновна хорошо помнила, как она, будучи малообеспеченной курляндской герцогиней (а по сути — всего лишь вдовой герцога), прожила 19 скудных лет в Митаве. Она писала занскивающие письма ко всем сильным лицам русского двора. При Петре II Иван Долгорукий однажды просил ее приближенного Бирона сыскать для царя породистую собаку. И весь двор Анны Иоанновны сбился с ног, подыскивая подходящего пса. Эти воспоминания о былых унижениях перед русской знатью были для императрицы неприятны. И теперь она была готова выместить свои прошлые обиды.

Когда Долгоруких ссылали, никто из родни не приехал проститься: боялись быть заподозренными в сочувствии к опальной семье.

Во время пути в отдаленные вотчины молоденькая женщина мужественно переносила трудности дороги по русской весенней распутице. Ее окружала большая, малознакомая и недружная семья, состоявшая из свекра, свекрови, мужа, трех его сестер и трех братьев.

Долгорукие проехали половину пути к месту ссылки, когда их догнал отряд солдат с офицером, чтобы вести их в Сибирь, в Березов. «Великий плач сделался в доме... Великая сделалась тревога... Боже мой, какой это ужас! Поставили у всех дверей часовых, примкнули штыки...»

Долгоруких усадили на подводы, и сначала они даже не знали, куда их везут. Потом уж офицер сообщил им по секрету о месте ссылки: «...От столицы четыре тысячи верст и больше, и там... под жестоким караулом содержать, к нам никого не допускать, ни нас никуда, кроме церкви; переписки ни с кем не иметь, бумаги и чернил нам не давать», — пишет Наталья Борисовна.

Долгоруких доставили в г. Касимов, а оттуда повезли водой из стругах сначала по Оке в Волгу, из Волги — вверх по Каме. До Касимова Наталью Борисовну провожала воспитательница — иностранка Мария Штауден, которой ее, умирая, поручила мать. Когда готовили струги, то на одном из них отгородили для молодых небольшое помещение вроде маленького чулана. Воспитательница несколько дней заботливо приводила его в порядок, затыкала щели, обивала стены. О тяжелом прощании с этим единственным близким человеком Наталья Борисовна вспоминает: «Ухватились мы друг другу за шею, и так руки мои замерли, и я не помню, как меня с нею растащили... Тогда я потеряла перло жемчужное, которое было у меня на руке, зная я его в воду опустила... да мне уже и не жаль было, не до него: жизнь тратится!»

Плавание на неустойчивом судне было трудным. То разразится гроза с ветром, «судно вертит с боку на бок; как гром грянет, то и попадают люди. Золовка меньшая очень боялась... плачет и кричит».

То станет дурно Наталье Борисовне: «Тогда выведут меня наверх на палубу и положат на ветру. И я до тех пор без чувства лежу, покамест погода утихнет...»

Долгоруких довели до Соликамска и здесь посадили на подводы. Очень труден был переезд через Уральские горы на лошадях, запряженных «гусем». Страшили усыпанные камнем узкие дороги, кручи, подъемы и спуски с высоких гор. «Эта каменная дорога, я думала, что у меня сердце оторвет; сто раз я просилась: дайте отдохнуть! Никто не имеет жалости; спешат как можно наши командиры... а надобно ехать по целому дню, с утра до ночи... Негде было останавливаться на ночлеги, негде обогреться и обсушиться в дождь. Хотя по дороге и встречались через каждые 40 верст маленькие домики для проезжающих, они не могли вместить большую семью: ...Одна только изба, а фамилия наша велика, все хотят по-

кою...» Да кроме того, с Долгорукими было несколько слуг и конвой солдат с офицером.

В конце августа Долгоруких привезли в Тобольск. Там они пробыли неделю, и солдаты сдали их другой команде. Прежнего мягкого конвойного офицера сменил новый — грубый и малообразованный. Он уже совершенно не церемонился с Долгорукими и относился к ним как к тяжёлым преступникам. Наталью Борисовну удивил его совсем не офицерский костюм: «Епанча солдатская на одну рубашку, да туфли на босу ногу...» Это был офицер тобольского гарнизона Шарыгин.

Когда для Долгоруких было приготовлено судно, чтобы везти их в Березов, несчастной семье пришлось пройти к пристани под вооружённым конвоем через весь Тобольск: «...Процессия изрядная была: за нами толпа солдат идет с ружьями, как за разбойниками. Я уже шла, вниз глаза опустив, не оглядываясь: смотрельщиков премножество по той улице, где нас везут».

Судно, на которое их посадили, оказалось скверным, дырявым, грязным дощаником. Оно было определено на слом, но так как Долгоруких боялись задерживать в Тобольске, то и отправили на таком, какое в Березове можно просто бросить.

Целый месяц плыли ссыльные от Тобольска до Березова. Наконец, 24 сентября их доставили в это убогое северное селение. А всего их тяжкий путь длился полгода. «Всего много было: великие страхи, громы, молнии, ветры чрезвычайные!»

Почти сразу же по приезде в Березов умерла, жестоко простудившись в дороге, старая княгиня Прасковья Юрьевна. Вскоре скончался и князь Алексей Григорьевич Долгорукий, когда-то близко стоявший к русскому престолу.

О жизни в Березове в «Записках» Натальи Борисовны говорится мало, мемуары остались незаконченными. Она отзываясь о Березове как о «маленьком пустом местечке, где с нуждою иметь можно пропитание». Нравы и обычаи березовских жителей — обыкновение есть сырую рыбу, ездить на собаках, носить оленьи кожи — ей решительно не понравились.

И жизнь и климат там были очень суровыми. «Избы кедровые, окончины ледяные вместо стекла; зима 10 месяцев или 8; морозы несносные, ничего не родится, ни хлеба, никакого фрукту — ни же капуста. Леса непроходимые да болота, хлеб привозят водою за тысячу верст. До такого местечка доехали, что ни пить, ни есть, ни носить нечего. Ничего не продают, ни же калача», — так описала княгиня неприветливый Березов.

Долгоруких поселили в деревянном остроге, где незадолго до них содержался Меншиков. Павший государственный деятель петровской эпохи к этому времени уже умер.

Острог был переделан из бедного северного монастыря, обитателей которого в свое время перевели в Кондинский монастырь. Приземистое деревянное здание было обнесено забором из толстых бревен и состояло из 4-х комнат, которых для большой семьи оказалось мало. Поэтому князя Ивана и его жену поместили в бывшем сарае, где сложили две печки. Привыкшим к роскоши, к золоту, серебру и хрусталу Долгоруким в Березове пришлось вести самое убогое существование.

Вместе со всей семьей Наталье Борисовне привелось выносить и голод, и жестокую зимнюю стужу, и отверженность, и унылое прозябание в этой далекой сибирской глуши.

Долгорукие постоянно находились под надзором солдат, которые сопровождали их даже в церковь. Правда, постепенно суровый режим для князя Ивана и его жены был несколько смягчен. Добродушный березовский воевода Бобровский разрешил им бывать в городе и общаться с бере-

зовскими жителями. Офицер Петров, сменивший Шарыгина, относился к ним более гуманно.

Тяжесть жизни для Натальи Борисовны смягчалась и материнством: в Березове у нее родилось трое сыновей (один из них вскоре после рождения умер). Любовь к детям стала живительной силой, поддерживавшей ее в жестоких невзгодах.

Мужа своего в своих «Записках» княгиня обычно называет «товарищем», «сострадальцем». Князь Иван вел себя в Березове довольно безалаберно, пил с купцами и чиновниками, был порой несдержан на язык. Но в «Записках» нет упрека ему. Всюду, где Наталья Борисовна упоминает о нем, чувствуется ее неизменная привязанность и теплота: «Я все в нем имела: и милостивого мужа, и отца, и учителя, и старателя о счастье моем. Подводя итог своей супружеской жизни, княгиня с большим нравственным удовлетворением отметила: «Во всех злополучиях я была своему мужу товарищ».

В 1738 году эта семья претерпела последнее и самое страшное крушение. Тобольский подъячий Тишин, обозленный тем, что бывшая царская невеста Екатерина Долгорукая отвергла его грубое волокитство, донес на них в Москву. Тишин писал о выпадах Долгоруких против правительства, о послаблениях им со стороны воеводы и охраны. За этот донос он был произведен в секретари и получил 600 рублей в награду.

В апреле 1738 года князя Ивана вдруг заключили в темную сырую землянку, приставили крепкий караул и никого к нему не допускали, даже жену. Она только вымолила разрешение подходить к землянке в глухую ночную пору, чтобы через часовой передавать мужу пищу.

А по доносу Тишина еще не все было сделано. В начале августа того года ночью к берегу тихо пристал дощаник. Князь Иван, его братья, воевода Бобровский, офицер Петров и еще несколько лиц были увезены. Все это было сделано так острожно, что Наталья Борисовна сначала и не знала о случившемся. А несколько дней спустя у ней родился второй сын...

О том, как восприняла бедная женщина тайный увоз мужа, рассказывает она сама, но уже не в «Памятных записках», а в записной книжке, содержащей отрывочные записи: «...Мне сказывают, что его же увезли. Что я делала? Кричала, билась, волосы на себе драла; кто ни подойдет встречу, всем валюсь в ноги, прошу со слезами: помилуйте, когда вы христиане, дайте только взглянуть на него и проститься. Не было милосердного человека, ни словом меня кто утешил, а только взяли меня и посадили в темнице и часового поставили».

И далее идут слова совсем в духе народного плача-причитания: «Отняли у меня жизнь мою, беспримерного моего милостивого отца и мужа, с кем я хотела свой век окончить, и в тюрьме ему была товарищ: эта черная изба, в которой я с ним жила, казалась мне веселее царских палат...»

Ивана Долгорукого доставили в Тобольск, посадили в тюрьму, в секретную камеру, заковали в кандалы. Потом его и всех других отправили в Петербург. Во время нового пересмотра дела Долгоруких вдруг всплыл зловещий вопрос о составлении ими подложного завещания от имени Петра II. Иван и трое других князей Долгоруких в 1739 году были подвергнуты зверской казни — «колесованию».

Наталья Борисовна узнала о смерти мужа только через несколько месяцев — из ответа на свое прошение императрице «соединиться» с ним, где бы он ни был.

Братьев князя Ивана, наказав кнутом, сослали на каторжные работы, сестер заточили в монастыри: старшую — бывшую царскую невесту — в очень бедный томский, где монахини жили мирским подаянием; вторую — в тюменский, третью — в верхотурский. Воевода Бобровский за свои пос-

лабления ссыльной семье был бит кнутом и сослан, майору Петрову отрубил голову...

В 1740 году императрица Анна Иоанновна позволила Долгорукой покинуть Березов, и княгиня вернулась в Москву осенью 1740 года (как раз в день смерти Анны Иоанновны). Восшедшая на престол Елизавета Петровна вернула из ссылки всех Долгоруких, кто еще остался жив.

О последующих годах жизни Наталья Борисовна рассказывала так: «Приехавши, в Москве три года скиталась по чужим дворам, и так бедственно вдовствующую жизнь препроводила, детей воспитала, сколько бед претерпела, нападков, разорения, нестроение домашнее, тому Бог свидетель».

Вырастив сыновей, Н. Б. Долгорукая уехала в Киев и там стала монахиней. Через несколько лет пребывания в монастыре она приняла схиму — высшую монашескую степень с особенно суровыми правилами. Передают, что перед этим она бросила в Днепр самую дорогую для нее вещь — обручальный перстень — в знак отвержения всего земного. В монастыре Наталья Борисовна и написала свои «Памятные записки».

К. Ф. Рылеев в своей думе рисует героиню перед пострижением и передает ее горькие размышления о своей жестокой судьбе. Рассказывает он и об эпизоде с перстнем, кинутым в Днепр: Глубокие симпатии декабриста к Наталье Борисовне несомненны. Он видит в ней жертву ненавистного ему произвола самодержавия. Его привлекает мужественность Долгорукой, те большие душевные силы, которые позволили этой женщине пережить все тяжелые испытания.

«Нежная ее любовь к несчастному своему супругу и непоколебимая твердость в страданиях увековечили ее имя», — отметил Рылеев в примечаниях к думе. Пострижение Долгорукой в монастырь в глазах поэта — драматический факт. Он явно сожалеет, что богатые духовные силы этой русской женщины угасли в монастырском прозябании:

Там дни свои в посте влача,  
Снедалась грустью безотрадной,  
И угасала, как свеча,  
Как пред иконой огонь лампадный

Умерла Н. Б. Долгорукая в 1771 году. В Киево-Печерской Лавре и сегодня можно видеть чугунную плиту на могиле той, которую впоследствии часто называли «знаменитой страдальницей XVIII века». Ее судьба — одна из страниц русской истории — заставляет пережить одну из былых человеческих драм.

СВЕТЛАНА МАНДРАШОВА

## ФАНТАЗЕР

В первый раз я увидел его мельком в гостях у друга, второй, к своему великому изумлению, обнаружил у себя в квартире. Еще в прихожей я почувствовал нечто необычное: об меня буквально стукались густые волны доброты, излучаемой кем-то в щедрых дозах. Я пошел по запаху этих волн и нашел его в моем кресле. Он сидел в расцвете бодрости и ждал меня.

— Привет,— сказал он,— садись, приятель. Я сел там, где стоял.

— Между прочим, меня зовут Иван Семенович,— сказал я.

— А меня Семен Иванович,— парировал он,— но не в этом деле. Я еду в Ригу, что привезти?

— Кому — мне?— удивился я.

— Ну не мне же.

— Спасибо, ничего. Редкий случай: у меня все есть.

— У тебя нет фантазии—это главное.

— Хорошо,— сказал я,— привези мне,— я показал на сына,— паровоз.

— Это какой паровоз? Обыкновенный? Который бегаёт и гудит?

— Вот именно: гудит и бегаёт.

— Сказано—сделано. Что еще?

— Спасибо. Ничего.

— Ничего — пустое место. Везти пустое место из Риги просто неразумно.

— Ну, ладно,— вздохнул я,— жена просит жирафа на шубу. Достанешь?

— Что за вопрос? Город закачается. С ума сойти можно от такой шубы. А еще что?

— Спасибо, все. Да и денег у меня больше нет.



— Деньги в рассрочку. Не стесняйся.

— Можно мне «Слона и Моську?»— робко вмешалась бабушка. Ей в детстве наш дедушка, тогда еще розовый мальчик, подарил эту книжку.

— Ну ладно,— сдался я,— мне бы портфель из крокодила. Неужели ты и натурального крокодила достать можешь?

— Ты еще не знаешь моих способностей. Редкие они у меня. Любую вещь на лету схватываю, но только не стилистику.

— Это какую стилистику?—поинтересовался я.

— Да ты не волнуйся, вечер—два посидишь—и курсовая готова. Мне не надо на «пятерку», хотя бы на жиденскую «четверочку».

— Но послушайте...—хотел было возразить я, но вовремя вспомнил, что возражать неудобно. Видя мою нерешительность, он подsunул мне еще одну курсовую, теперь уже по фразеологии родного языка. Кстати сказать, фразеология его языка и моего не имеют ничего общего.

— Ты, главное, почаще в эти книжечки заглядывай,—он подsunул мне учебники,—там все написано. Я сам сперва понятия не имел ни о какой стилистике, а теперь представляю. Так образно, издаleка. Ну, всего, я полетел.

И он полетел. А я взял его учебники и услышал звон кандалных цепей. Я вздохнул и раскрыл «Стилистику». Я убил на нее целый месяц, все свое свободное время. Не только ни в чем не повинная стилистика, но и все, что начиналось на «с», вызывало во мне глубокое отвращение. Потом я сел за «фразеологию».

Еще через месяц курсовые были готовы, и я впервые уснул кристально-чистым сном, ни один вампир в образе словесных сочетаний больше не гонялся за мной, зажав в кулак восклицательные знаки.

Поутру меня разбудила жирафа. Она просунула голову в форточку и смотрела на меня круглыми наивными глазами. Когда она потянулась губами к курсовой, я пришел в чувство.

— Осторожно!—завопил я.—Ходят тут всякие.

В ванной я нашел крокодила. К моему дому были проложены рельсы, по ним бежал и гудел паровоз. На открытой платформе стоял слон. Но больше всего меня потрясла Моська. Это мелкое черное кудлатое животное с таким воплем выскочило к моим ногам, что слон дрогнул.

Да, у Семена Ивановича богатая фантазия. Кстати, о нем. За несколько курсовых и одну дипломную работу он устроил весь мой зверинец в зоопарк. Правда, взамен привел тигра. Видно, в аспирантуру собирается.

СТАНИСЛАВ МАЛЬЦЕВ

## РАУЛЬ ФОМИЧ ТИПКИН И ДРУГИЕ

*(Из юмористической повести)*

### Личная ответственность

Очень правильно, что сейчас стали бороться за повышение личной ответственности. Да во пора! А то развелось у нас немало таких деятелей, которые боятся самый простой вопрос решить самостоятельно—все увязывают да согласовывают.

Далеко ходить не надо—расскажу вам совсем свежий случай. Работаю я, как вы знаете, в горпромкомбинате. Тапочки шьем. Должность у меня спокойная, работа—не пыльная. Тапочки проверяю и учитываю. Старушки—божьи одуванчики, шьют, а я считаю, кто как план выполняет.

И вот получилось так, что аккурат возле нового года оказался я у руля руководства. Директор в отпуске, зав. производством заболел, а остальные у нас все бабы, извиняюсь, в смысле женщины. Больше и некому руководить. Натурально мне звонок сверху—давай, Рауль Фомич, осуществляй руководство.

Поступила команда—надо выполнять. Сел я в директорский кабинет, сижу, руковожу. Все хорошо, дело идет. Тапочки мои старушки выдают на-гора один за другим. Годовой план досрочно выполнили—значит, премия светит. Правда, кое-какие безответственные личности говорят, что в магазинах тапочек наших уже запас на десять лет, и никто не покупает. Но это с одной стороны брехня, а с другой—не наше дело. Пушай торговля разворачивается.

И все было бы отлично, да вдруг заявляется ко мне в кабинет некая Марь Иванна. По фамилии Прокошкина. Вредная, я вам скажу, старушка. Вечно на собраниях выступает, руководство критикует. Не раз я предлагал ее сократить по возрасту лет.

И с ходу делает мне такое заявление:

— Новый год через два дня. Или забыли?

— Нет, отвечаю, не забыл.

— Все елки ставят.

— Елка—это хорошо. Народный обычай.

— Надо и нам елочку небольшую соорудить.

Вот тут-то я задумался. Конечно, ничего плохого нет, но все-таки... Как бы чего не вышло. Решил ее по-хорошему отговорить.

— Стоит ли, Марь Иванна? Возни-то сколько.

А она не отступает:

— Профсоюз на себя хлопоты все берет. И нам приятно, и детишкам радость. Утренник устроим.

Вижу—не отпихнуться мне. Настырная она женщина. — Ладно, говорю, не возражаю. Сейчас пойду в управление, получу разрешение, и будем действовать.

Представьте себе: недовольна.

— Какое еще разрешение? Елку купим, вечером нарядим и все.

Вот тут я ее и осадил:

— Вы, говорю, Марь Иванна, не были на руководящей работе, не знаете порядков. Такие мероприятия без согласования не проводят.

Можете себе представить—поворачивается она и уходит. И какие-то слова вполголоса произносит. Я, правда, не расслышал, но догадываюсь, что она там говорила.

Ну, ладно, напечатал я быстренько отношение, и в управление. Захожу к заместителю, подаю бумажку и на словах объясняю, что к чему.

— Думаем провести массовое мероприятие—елку для детишек.

Прочитал он бумажку, а ручку не берет.

— Раз решили—так и проводите.

— Визу вашу нужно.

— Какую тебе еще визу? Некогда мне, спешу на совещание.—

И из кабинета вышел.

Ну, думаю, хитер ты. Боишься на себя взять личную ответственность. Да и мы не лыком шиты. Пока резолюцию не получу—никакой елки не будет.

Пошел к главному инженеру. Сидит он, какую-то бумагу пишет.

— Некогда мне,—говорит.—Годовой отчет. Что у вас?

— Прошу разрешить провести елку.—И отношение ему поднос.

— Какую елку?— спрашивает он тихим голосом.— При чем тут я? Проводите, если хотите, хоть две.

— Резолюцию напишите, что разрешаете.

Вижу, снова он бумагу читает. И смотрит на нее, извиняюсь, как баран на новые ворота. А потом на меня взглянул и говорит:

— Идите, не мешайте работать.

Раз такое дело—вышел я в коридор. Вот, думаю, порядки в нашем родном управлении. Никто не хочет на себя ответственность взять. И ведь дело-то совсем пустяковое.

Захожу в приемную к начальнику. Все как полагается—стол, телефоны, секретарша сидит—блондинка крашенная. Книжку читает.

Объясняю ей, по какому важному делу пришел. Сбегала она в кабинет, потом меня туда запустила.

Прямо скажем—оробел я немного. Но все равно отношение на стол и на словах суть дела изложил.

Прочитал он его внимательно и спрашивает:

— Неужели вы сами не могли распорядиться? Ведь дело ясное.

— Никак нет, отвечаю, не в моей компетенции решать такие вопросы.

Понял я его сразу—тоже не хочет резолюцию писать. Одним словом, боится личной ответственности.

А он, представьте себе, берет ручку и говорит:

— Ну уж если вам так нужна моя виза—пожалуйста.

И на уголке пишет: «Разрешаю».

Ага, думаю, прижал я тебя. Не удалось увильнуть.

Поблагодарил, бумажку взял и—ходу.

Вышел на улицу—темно уже. Вот так-то с этими бюрократами целый рабочий день потерял из-за пустяковой резолюции.

Побежал скорее к себе—показать резолюцию Марь Иванне и отвязаться от нее.

Захожу, и как вы думаете, что я вижу? В самой большой комнате стоит елка. Огонечки горят, а женщины игрушки вешают. Поставили! Без всякого разрешения и согласования!

Подошел я к Марь Иванне:

— Как же так? Что за самодеятельность? Хорошо, я визу выбил. А если бы не разрешили? С кого бы потом стружку сняли? Ты знаешь, что никто отношение подписывать не хотел? Сколько мне пришлось ходить?

А она, можете представить, отвечает таким нехорошим голосом:

— Бюрократ ты, Рауль Фомич, вот погоди—скоро будет собрание, я тебе выдам!

И выдаст. Я ее знаю. Не первый раз. Снова я пострадаю за чужие грехи. Кто-то боится на себя ответственность взять, а я отдавайся.

Очень правильно сейчас во всех газетах пишут и на собраниях говорят о необходимости повышать личную ответственность. Давно пора.

## Верный способ

Сложная эта штука—подбор кадров. Не дай бог. Главное—свою систему надо иметь, чтобы без ошибки действовать.

Сижу я однажды за отолом, сон отличный вижу. Вдруг слышу—дверь хлопнула. Открыл глаза, а это директор наш, Иван Северьянович, товарищ Бубликов заходит.

Заходит, садится и говорит такие слова:

— Как быть, Рауль Фомич? Нет у нас агента по снабжению. Может, перейдешь на эту ответственную должность?

Ну, думаю, нашел дурака. Бегай целый день, как заведенный, а зарплата та же. И отвечаю ему спокойно.

— Нет, Иван Северьянович, не могу покинуть любимое производство.

Вздыхнул директор тяжело:

— Жаль, конечно, братъ человека на эту ответственную должность со стороны, да придется. Рекомендуют мне тут одного, хвалят очень всячески, придется братъ.

Тут я заинтересовался и спрашиваю:

— А кто рекомендует-то, надежные люди?

— Куда уж надежней—его непосредственные начальники.

— Э,—говорю я.— Тут дело нечистое. Раз они его нахваливают, не иначе—избавиться хотят.

Гляжу,—задумался Иван Северьянович. А я свою идею развиваю:

— Надо действовать наоборот. Братъ того, кого сильнее ругают. На него всегда наговаривать будут, чтобы мы отвязались.

— Диалектически ты мыслишь, Рауль Фомич,—отвечает директор.— Считай, что премия за мной. А я-то беру всех, кого мне посоветуют, оттого всяческие неприятности.

Возликовал тут я внутренне и продолжал:

— Рад стараться для родного предприятия. Есть у меня человек знакомый из соседней конторы. Пал Палыч зовут. Может, он согласится, я с ним поговорю.

А надо вам сказать, что я этого Пал Палыча знаю совсем мало. Встречаемся иногда и все. А уж фамилию я у него, понятно, и не спрашивал. Доподлинно мне только известно, что он пиво бочковое больше любит, а бутылочное не уважает.

Смотрю, Иван Северьянович сразу загорелся и за телефон:

— Сейчас, говорит, я все про него узнаю.

Слушаю я разговор и понимаю, что ругают Пал Палыча на все корки, он и такой, он и сякой.

Директор наш слушает и весь цветет от удовольствия, рот до ушей. Бросил он трубку и говорит:

— Беги, живее этого Пал Палыча ищи, характеристику они ему такую дали, что надо немедленно брать, пока не перехватили.

Пошел я Пал Палыча искать. Труда большого это мне не составило — в первой же пивной встретились.

Подробности опустим. Одним словом, он уже через чае был зачислен в штат.

А на другой день, после обеденного перерыва, только вернулся я за свой стол и, руки на животе сложил поудобнее, звонит директор. Где, мол, Пал Палыч?

Само-собой я ему спокойно—официально, отвечаю, что мне про то неизвестно. До вечера еще три раза звонили. Оказывается, тот утром взял под отчет полсотни и исчез.

Странное дело — все ко мне. А я при чем? Я даже его фамилию не знаю.

Пал Палыч этот, конечно, через два дня нашелся. Оказывается, он на радостях загулял маленько.

Нехороший он человек оказался, даже не пригласил. Так что я вовсе и не жалел, когда его уволили. Так ему и надо.

## Синекура

...Нет справедливости на свете, точно я говорю, сам за правду пострадал. Когда «погорел» я с тапочками в этом самом горпромкомбинате, а как—особая история, то остался без работы.

Ну, ладно, хожу, жду, когда какая-нибудь руководящая должность подвернется. Жду эту самую си-не-ку-ру! Это я в словаре иностранных слов вычитал—значит, работенка такая для вида. Делать ничего не надо, кроме как два раза в месяц в ведомости расписываться. Самый раз по мне.

И вот однажды стою я у киоска, пиво пью. Гляжу—Иван Петрович шествует. Вид у него отличный, лицо румяное, животик—будь здоров. Вообще сразу видно, что человек у хорошего дела.

— Где трудиться изволите?—спрашиваю,—Каким участком нашей жизни руководите?

— Поднимаю общественное питание!—отвечает он.

Ах ты, думаю, присосался куда! То-то кормить везде хуже стали, не иначе ты все это общественное питание объедаешь, везде пробы снимаешь.

— Ответственная работа,—говорю ему само собой,—важный участок. Завидую, сам с детства мечтал на этой ниве трудиться.

Намек, значит, тонкий делаю. А он—ни гу-гу, вроде не понимает.

Ну ладно, думаю, паразит, пей мою кровь. Взял бутылку «Экстры» и разговор у нас с ним пошел веселей. Одним словом, на другой день я уже трудился у Ивана Петровича ревизором-контролером.

Пошел я, значит, на свой первый объект. Зашел—боже ты мой! Грязно, раздевалка не работает, все в польтах за столами.

Выстоял чуть ли не час в кассу, получил чеки—и на раздачу. А там тоже очередь. И, можете себе представить, ни подноса, ни ложки-вилки нет. Все посетители бегают, подносы достают, ложки сами моют.

Одним словом, достал я все, что надо, сдвинул грязную посуду на столике, пристроился кое-как на уголке и начал питаться. Съел пару ложек щей и задумался. Опять обман. Ну и нашел должность! Не повезет, так не повезет. С такой синекурой через месяц язву желудка получишь.

Щи эти, само собой, я есть не стал, подвинул к себе блинчики с мясом и тычу вилкой. Не берет! Ткнул сильнее—вилка погнулась!

Кое-как расковырял я этот блинчик и что же вижу? Блинчик есть—мяса нет! Вот так номер!

Чай я уж пить не стал и спрашиваю уборщицу, она прямо тут веником шурует, пол подметает: «Где у вас книга жалоб содержится?».

А она сильнее веником махнула и отвечает равнодушно:

— Старая кончилась, а новую еще не дали.

Чихнул я от полноты чувств и пошел к директору.

Захожу—батюшки! Точь-в-точь Иван Петрович! Лицо—кровь с молоком, и животик на уровне.

— Чем недоволен?—спрашивает он меня.—Есть, есть еще у нас недостатки, мы их устраняем, но медленно.

Тут я сразу ему свой мандат под нос.

Гляжу—он весь расцвел. И кнопку звонка пальцем жмет. Официантка прибежала.

— Маша,—говорит он ей,—время обеденное, принеси-ка нам покушать.

Через три минуты на столе и заливное, и соляночка, и бифштекс. Смотрю—заведующий в сейф лезет и бутылочку коньяка достает.

Одним словом, пообедал я, как никогда. Ни в одном самолучшем ресторане так не ел.

После такого веселья какая уж тут работа! Пошел домой спать, а вечером стал справку сочинять.

Тут Семка так и взвился.

— Дядя Раулы!—Не подведи! Я тебя уже во всех бумагах провел! Да ты первым прибежишь, и приз тот вынешь! У тебя ноги вон какие—как у Меркурия.

Хотел я было его пустить нецензурным словом—какое он имеет право меня с лошадей сравнивать, да решил воспользоваться удобным моментом:

— Деньгами приз отдашь. А то хлопот с продажей много...

Ну ладно, одним словом, побежали мы втроем. Я как рванул—так сразу тех двоих обошел. Куда им до меня! Слышу—наши на трибуне кричат: «Давай, Рауль, жми!» Порядок, думаю.

Пробежал я один круг и чувствую—тяжело стало. Напрасно я две кружки пива выпил. Булькает оно у меня во внутренностях со страшной силой.

Однако бегу, шевелю ногами. И вдруг вижу—те оба мимо меня проскочили. Не иначе прознали, что Семка деньгами приз обещал отдать.

Поднажал было я, да где там. Они уже до ленточки добежали. Оркестр там дудит, им руки жмут и прочий всякий шум.

Ну, втравил меня Семка в историю. Я это ему попомню.

И вдруг слышу Семкин голос:

— Дядя Рауль! погоди!

Оглянулся, вижу бежит и что-то в руке держит.

— Тебе,—говорит,—третье призовое место присудили. И приз полагается. Разрешите торжественно вручить.

И сует мне сверток свой.

Хотел я было его с этим призом послать подальше, но потом, думаю, дай взгляну.

Развернул я бумагу. А там баба голая! Стоит, руками прикрылась.

А у Семки стыда нет:

— Это классика. Купальщица называется. Тебе на память.

Перевернул я «классику» вниз головой и вижу штампиком фиолетовым так аккуратно обозначено: «Цена после уценки один руб».

Пока все это я разглядывал, Семка, натурально, ноги в руки и смылся.

Хотел я с огорчения эту самую купальщицу об забор вдарить, да раздумал. Рупь—он тоже на земле не валяется.

Поставил я ее на этажерку и стоит она у меня до сих пор. Как только придешь подмокший вечерком, так супруга мне все ее в нос тычет: «Бесстыдник, что в квартире держишь». И все такое прочее.

Вот с тех пор я и отношусь ко всем спортсменам с недоверием.



— А ты тут не преувеличиваешь?—спросил Иван Петрович, когда прочитал мое сочинение. — Очень уж у тебя все распрескрасно.

— Никак нет,— отвечаю.— Сам ел, готовят там отменно и порции обильные.

— Такой и должна быть столовая нашей конторы,— говорит Иван Петрович,— действуй и дальше в том же духе.

В следующей столовой я уже был умнее. В очереди толкаться не стал, а сразу к директору. А дальше все как по нотам.

Не жизнь у меня началась, а разлили-малина. Одно слово—синекура.

И кончилось все исключительно из-за моей честности и правдивости. Пошел я однажды на очередную точку. Сую директору удостоверение, а сам поудобнее за столом устраиваюсь.

А директор, можете себе представить, вместо того, чтобы официантку вызвать, спрашивает:

— Что же вас интересует?

— Неплохо бы на первое соляночку, а на второе пельмешков.

— Пожалуйста. Проходите в зал, там все это есть в меню.

Тут меня словно водой холодной окатило. Ах, думаю, так! Ну, ладно. Попляшешь ты у меня.

Народу в столовой, правда, было не так чтоб уж очень, и на столах чисто. Солянка и пельмени, может быть, были и ничего, но, вы сами понимаете, я от обыкновенной пищи окончательно отвык.

Поел я кое-как и даже спать днем не стал. Сел и написал такую справку, что тому директору икалось, наверное, не раз.

А рано утром прибегает ко мне курьер и зовет к начальству.

Кое-как сполоснул я физиономию и бегом в контору.

— Товарищ Типкин,— говорит мне так официально Иван Петрович.— Что же это ты, Рауль Фомич, шельмуешь предприятия нашей системы? Чернишь нашу светлую действительность? Ведь в нашей конторе только передовые столовые. Нам, может, завтра знамя вручат, а ты...

Одним словом, загремел я с этой синекуры. Пострадал за правду, за справедливость.

## Призовое место

Откровенно говоря, не уважаю я этих самых спортсменов, нет, не уважаю. Носятся, бегают со своими мячами-шайбами, как шальные. Я и на стадион-то когда хожу на футбол, так ради пива. Оно всегда там свежее. Пока эти самые болельщики орут, у киоска—никого. Можно тихо—благородно пивка попить.

А ведь случилось раз так, что и я был спортсменом, бегал по стадиону, извините, без брюк.

Семка Морозов во всем виноват. Подходит он тогда ко мне и тихо, как чистый змей, заводит такую речь:

— Дядя Рауль! У нас завтра соревнования, бегать будем, давай я тебя запишу.

— Шагай, шагай мимо,—отвечаю я ему вежливо-культурно.— Не мешай мне трудиться.

Семка не отстает.

— А ведь приз будет...

Я, само-собой, заинтересовался. Спрашиваю:

— Что за приз? Барахло, поди, какое-нибудь.

— Нет, вещь что надо,— фотоаппарат «Зоркий-4».

Тут я совсем заинтересовался. За фотоаппарат можно и побегать. Продать его тоже нетрудно.

— А много бегать-то?—спрашиваю.

— Да ерунда совсем. Всего три раза вокруг футбольного поля.

— А не обманешь?—обратно спрашиваю я Семку.

Тот смеется:

— Что ты, дядя Рауль. Как можно. Да он у меня с собой.

Открывает он чемоданчик и достает этот самый «Зоркий».

Ничего не скажешь—хороша вещичка. Особенно футляр. Кожа коричневая, скрипит и спиртом пахнет.

— Ладно,—говорю,—пиши. Побегу. Только нельзя ли деньгами получить?

А Семка крутится как уж. «Там, дескать, видно будет».

В воскресенье пошел я на стадион, разделся, посмотрел на себя в зеркало и даже нехорошо мне стало. Стою, как в бане, голяком, в одних трусах, ноги какие-то кривые. Хотя очень может быть это у них там зеркало такое.

Вышел я на траву. Смотрю—еще двое каких-то в трусах тоже ходят.

— Это кто такие?—Сеньку спрашиваю.

А он, паразит, смеется:

— Это соперники твои, дядя Рауль. Они тоже побегут.

— Как так? «Зоркий» один, а нас трое?

А Сенька обратно смеется:

— Так ведь приз тому, кто первым прибежит.

Вот так-так! Значит мне этот приз свободно может и улыбнуться? Так зачем же я голяком бегать буду?

Повернулся я и пошел обратно в раздевалку.

— Куда ты, дядя Рауль?—забеспокоился Семка,— скоро старт.

— А ну тебя с твоим стартом. Бегай сам. Такого уговора не было, чтобы троем за одним фотоаппаратом бегать.

## СОДЕРЖАНИЕ

Роман Ругин. Огнедышащий край . . . . .	3
Анна Неркаги. Анико из рода Ного (главы из романа) . . . . .	7
Людмила Татьяничева. Тайга . . . . .	30
Таежный аэродром . . . . .	31
Нефтяной фонтан . . . . .	31
Город нефтяников . . . . .	32
Геннадий Сазонов. Волжские корни (очерк) . . . . .	33
Ростислав Филиппов. Стихи о въезде в Тюмень . . . . .	47
Раиса Ахматова. Бонек-Горбунок . . . . .	49
Кутби Киром. У памятника Ермаку . . . . .	50
Михаил Хонинов. Калмыцкий чай . . . . .	51
Лев Сорокин. Метель . . . . .	53
Анатолий Кукарский. Далеко от войны (повесть) . . . . .	55
Владимир Туркин. Мальчишкам из Горноправдинска . . . . .	114
Евгений Вдовенко. У Ермаковой заводи . . . . .	116
Ода Тюменской земле . . . . .	117
Вячеслав Кузнецов. «Внизу — снега, как синий воск...» . . . . .	119
Александр Бобров. «Над Васюганьем леденящий холод...» . . . . .	120
«У каждого должно быть дело...» . . . . .	120
«Я однолюб...» . . . . .	121
Юрий Надточий. Завитень (рассказ) . . . . .	122
Иван Истомин. Встань-трава (глава из второй книги романа «Живун») . . . . .	125
Николай Денисов. Портовый житель . . . . .	149
О шубе . . . . .	149
Разговор . . . . .	150
Стирала женщина . . . . .	151
В осеннем лесу . . . . .	151
«Русь старинная...» . . . . .	152
«Дымя соляркой и бензином...» . . . . .	153
Аршак Тер-Маркарьян. Баллада о коне . . . . .	154
«Три оленя...» . . . . .	155
«Живем мы в большом настоящем...» . . . . .	157
Воробей . . . . .	157
Илья Фоянков. Нефть . . . . .	158
Александр Говоров. А на улице мороз... . . . .	159
Дмитрий Ковалев. «Я живу с той поры, как в пещере...» . . . . .	161
«Рожь поднялась...» . . . . .	162
Владимир Нечволода. Земляника . . . . .	164
«Какие простыни у мамы...» . . . . .	165

«За туманами кони ржут»	166
«Девчонку полонили за Непрядвой...»	166
«Погладила встревоженные плечи...»	167
Юрий Зимин. Мы обживаем тундру (из северных очерков)	168
З. Черкасова. Переезд (рассказ)	176
Андрей Тарханов. Бубен	187
Купола Тобольска	188
Евгений Харланов. Месяц свадеб	189
У окна	190
«Сквозь дремоту услышу...»	190
Осень	191
Владимир Дагуров. Собаки бродят в Салехарде	192
Лето в тундре	192
Анатолий Васильев. Река (поэма)	194
Владимир Назин. Партийная рекомендация	202
Предошущение полета	203
Александр Гришин. «Во времени твоём — моём» (цикл стихов).	205
Борис Галазимов. Сузге (поиски и находки)	208
Георгий Первышин. Книголюб	220
Художник и Багет	220
Иван Ермаков. Ищи женщину (рассказ)	221
Леонид Лапцуй. Покинутый чум	227
Древняя сопка	228
«Давно мне на месте уже не сидится...»	229
Галина Слинкина. «Повстречались...»	230
Раиса Лыкосова. Летний снег (рассказ)	231
Юрий Старцев. Судьба рекорда (очерк)	243
Лев Давыдычев. Лично причастен	251
Юрий Афанасьев. Огромная щука (для детей)	261
Николай Недобежкин. Храбрый лебедь (рассказ-быль)	263
Анатолий Омельчук. Надежда на встречу (рассказ)	267
Виктор Хмелев. Рядовое дело (детективный рассказ)	267
Ольга Лагунова. Страницы истории Сибири в творчестве	
Д. Н. Мамина-Сябиряка	302
Дариса Веспалова. Наталья Долгорукая в Березове	309
Светлана Мандрашова. Фантазер (юмористический рассказ)	316
Станислав Мальцев. Рауль Фомич Типкин и другие	
(из юмористической повести)	318

Художник **Г. Бусыгин**,  
Технические редакторы **В. Хренов** и **Л. Баранов**.  
Корректор **Л. Назарова**.

Сдано в набор 20/IX-74 г. Подписано в печать 15.I-75 г.  
Формат бумаги 60×84/16. 20,5 физич. печ. листа, 19,165 усл. печ. листа,  
21,3 уч-изд. листа. РД 02211. Тир. 10000 экз. Зак. 10437.

Типография, уприздата. Тюмень, Первомайская, 11.  
Адрес издательства: 625000, Тюмень, Дом Советов, писательская  
организация.  
Телефоны: 6-51-01, 6-55-72.





НОВАЯ ЦЕНА

10 руб — коп.

104

Цена 75 коп.